This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 469498 DUPL

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES SCIENTIA VERITAS
1817

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XVI.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1907 ГОДЪ.

КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Г. Флоберъ. Искушеніе св. Антонія.
Ив. Бунинъ. Стихотворенія.
М. Горькій. Матъ.
Скиталецъ. Четверо.
Д. Айзманъ. Сердце Бытія.
Л. Андреевъ. Іуда Искаріотъ и другіе.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1907.

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

891.708
S3
v.16.

фія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ". Фонтанка, 86.

1123353-172

СОДЕРЖАНІЕ:

	Стр.
Г. Флоберъ. Искушеніе св. Антонія	1
Ив. Бунинъ. Стихотворенія	145
М. Горькій. Мать.	153
Скиталецъ. Четверо	223
Д. Айзманъ. Сердце Бытія	227
Л. Андреевъ. Іуда Искаріотъ и другіе	261

ГУСТАВЪ ФЛОБЕРЪ.

ИСКУШЕНІЕ СВЯТОГО АНТОНІЯ.

Съ французскаго.

Переводъ **Бориса Зайцева.**

Памяти моего друга

Альфреда Лепуаттвена,

скончавшагося

въ Кевилль-Шантъ-Д'Уазели.

3 апрѣля 1848.

I.

Ѳиваида, вершина горы, площадка, закругленная полумѣсяцемъ, которую замыкаютъ крупные камни.

Въ глубинѣ хижина Отшельника. Она сдѣлана изъ глины и тростника, съ плоской крышей, безъ двери. Внутри виденъ кувшинъ и черный хлѣбъ; по срединѣ, на подставкѣ изъ дерева, большая книга; кое-гдѣ по полу обрывки плетенья, двѣ-три цыновки, корзина, ножъ.

Въ десяти шагахъ отъ хижины воткнутъ въ землю высокій крестъ; а на другомъ концѣ площадки скривясь виситъ надъ пропастью старая пальма—гора подъ нею отвѣсна—и Нилъ образуетъ какъ бы озеро у ногъ утеса.

Справа и слѣва видъ ограничивается кольцомъ скалъ. А со стороны пустыни, какъ уступчатыя прибрежья моря, пролегаютъ одна за другой, все подымаясь, безконечныя параллельныя струи блѣдно-пепельнаго цвѣта; затѣмъ, надъ песками, совсѣмъ вдали, бѣлѣютъ мѣловою цѣпью ливійскія горы, слегка затуманенныя фіолетовыми парами. Передъ глазами садится солнце. На сѣверѣ небо жемчужнаго оттѣнка, а у зенита вытягиваются по голубому своду пурпурныя облака, разбросанныя какъ космы гигантской гривы. Эти огненные лучи темнѣютъ, полосы лазури принимаютъ перламутровую блѣдность; кустарники, камешки, земля, все теперь кажется твердымъ, какъ изъ бронзы; и въ воздухѣ плыветъ золотая пыль такая тонкая, что сливается съ дрожаніемъ свѣта.

СВЯТОЙ АНТОНІЙ

съ длинной бородой, длинными волосами и въ туникѣ изъ козьей шкуры, сидитъ, скрестивъ ноги, и работаетъ надъ цыновками. Когда солнце скрывается, онъ глубоко вздыхаетъ, оглядывая горизонтъ:

Еще одинъ день! еще день прошлаго! Прежде, однако, я не былъ такъ несчастенъ! Передъ концомъ ночи я начи-

налъ свои молитвы; затѣмъ сходилъ къ рѣкѣ за водой и взбирался по каменистой тропинкѣ съ мѣхомъ на плечѣ, напѣвая гимны. Потомъ развлекался уборкой своей хижины. Брался за инструменты; старался, чтобы цыновки были одинаковы и корзины легки; ибо ничтожнѣйшія мои дѣла казались мнѣ тогда обязанностями, въ которыхъ нѣтъ ничего труднаго

Въ опредѣленные часы я прекращалъ работу; и молясь съ простертыми руками, я ощущалъ какъ бы потокъ милосердія, изливавшійся съ высоты небесъ мнѣ въ сердце. Онъ изсякъ теперь. Почему?

Медленно проходитъ въ оградѣ скалъ.

Всѣ осуждали меня, когда я ушелъ изъ дому. Мать упала замертво, сестра издалека знаками звала вернуться; и та плакала, Аммонарія, это дитя, которое я встрѣчалъ каждый вечеръ у водоема, когда она пригоняла своихъ буйволовъ. Она бѣжала сзади за мной. На ногахъ у ней блестѣли въ пыли кольца, и туника, распахнувшись на бедрахъ, развѣвалась по воздуху. Старый аскетъ, уводившій меня, выкрикивалъ ей ругательства. Два нашихъ верблюда мчались безостановочно; и я навсегда покинулъ близкихъ.

Сначала я избралъ жилищемъ могилу одного Фараона. Но очарованіе вѣетъ въ этихъ подземныхъ дворцахъ, гдѣ темнота какъ будто гуще отъ древняго куренія ароматовъ. Изъ глубины саркофаговъ, я слышалъ, раздавался жалобный голосъ, который звалъ меня; или, вдругъ, передо мной оживали отвратительныя сцены, изображенныя на стѣнахъ; и я бѣжалъ къ берегу Краснаго моря, въ разрушенную крѣпость. Тамъ я жилъ въ обществѣ скорпіоновъ, ползавшихъ среди камней, а надъ головой моей постоянно кружили въ голубомъ небѣ орлы. Ночью меня царапали когтями, щипали клювами, касались мягкими крыльями; и страшные демоны, завывая мнѣ въ уши, опрокидывали меня на землю. Разъ даже мнѣ подали помощь люди одного каравана, шедшаго въ Александрію, потомъ увели съ собой.

Тогда я захотѣлъ учиться у добраго старца Дидима. Хотя

онъ былъ слѣпъ, никто не зналъ Писанія лучше его. Когда урокъ кончался, онъ просилъ мою руку, чтобы пройтись. Я сопровождалъ его на Панеумъ, откуда виденъ маякъ и открытое море. Затѣмъ мы возвращались черезъ гавань, сталкиваясь съ людьми всѣхъ народностей до киммерійцевъ въ медвѣжьихъ шкурахъ и гимнософистовъ Ганга, измазанныхъ коровьимъ пометомъ. А на улицахъ постоянно происходили стычки: евреи отказывались платить налоги, или мятежники пробовали изгнать римлянъ. Кромѣ того, городъ полонъ еретиковъ, послѣдователей Манеса, Валентина, Василида, Арія— всѣ они пристаютъ со спорами и стараются переубѣдить.

Ихъ разсужденія приходятъ по временамъ мнѣ на память. Какъ ни стараешься не обращать на нихъ вниманія, это смущаетъ.

Я удалился въ Кольцимъ; и мое покаяніе было такъ велико, что я не боялся больше Бога. Нѣкоторые соединились вокругъ меня, чтобы сдѣлаться анахоретами. Ненавидя нелѣпости гностиковъ и умствованія философовъ, я составилъ имъ правило общежитія. Мнѣ присылали отовсюду посланія. Приходили издалека посмотрѣть на меня.

Между тѣмъ народъ истязалъ исповѣдниковъ, и жажда мученичества привлекла меня въ Александрію. Гоненіе прекратилось три дня назадъ.

Когда я возвращался, волна людей задержала меня у храма Сераписа. Это, говорили мнѣ, правитель хочетъ дать послѣдній примѣръ. Посреди портика, на солнцѣ, была привязана къ колоннѣ голая женщина; два солдата стегали ее ремнями; при каждомъ ударѣ все тѣло ея корчилось. Она обернулась, ротъ ея былъ раскрытъ;—и надъ толпой, подъ длинными волосами, закрывавшими ей лицо, мнѣ померещилась Аммонарія...

Однако... эта была выше... и прекраснѣе... непостижимо!

Проводитъ рукою по лбу.

Нѣтъ! нѣтъ! не хочу объ этомъ думать!

Въ другой разъ Аѳанасій позвалъ меня поддержать его противъ аріанъ. Все ограничилось бранью и издѣвательствами.

Но съ тѣхъ поръ на него стали клеветать, онъ лишился каѳедры, бѣжалъ. Гдѣ онъ теперь? ничего не знаю! Вѣдь такъ мало заботятся сообщать мнѣ новости. Всѣ ученики оставили меня, даже Иларіонъ.

Ему было лѣтъ пятнадцать, когда онъ пришелъ; и умъ его былъ такъ пытливъ, что поминутно онъ задавалъ мнѣ вопросы. Затѣмъ внимательно выслушивалъ;—и когда я ему приказывалъ, онъ безропотно приносилъ мнѣ что нужно, проворнѣе козленка и притомъ съ такой веселостью, что улыбнулся бы даже патріархъ. Это былъ сынъ для меня!

Небо красно, земля совершенно черна. Подъ порывами вѣтра подымаются полосы песку, какъ огромные саваны, потомъ ниспадаютъ. Внезапно въ просвѣтѣ облаковъ пролетаютъ птицы трехугольнымъ отрядомъ, похожимъ на кусокъ металла, у котораго трепещутъ только края.

Антоній смотритъ на нихъ.

Ахъ, какъ мнѣ хотѣлось бы съ ними!

Сколько разъ глядѣлъ я такъ, съ завистью, на длинные корабли, паруса которыхъ напоминаютъ крылья, особенно когда они увозили вдаль тѣхъ, кого я принималъ у себя! Что за часы я проводилъ съ ними! какъ раскрывались сердца! Интереснѣе всѣхъ для меня былъ Аммонъ; онъ разсказывалъ мнѣ о своей поѣздкѣ въ Римъ, о катакомбахъ, Колизеѣ, благочестіи знатныхъ женщинъ, тысячи разныхъ исторій!.. и я не хотѣлъ ѣхать съ нимъ! Откуда во мнѣ упорство продолжать такую жизнь? Я хорошо бы сдѣлалъ, если бъ остался у нитрійскихъ монаховъ, они вѣдь умоляли меня. Они живутъ въ отдѣльныхъ келіяхъ, однако сообщаются между собой. Въ воскресенье труба сзываетъ ихъ въ церковь, гдѣ висятъ три плетки; ими наказываютъ преступниковъ, воровъ и пролазъ, ибо уставъ у нихъ строгъ.

Тѣмъ не менѣе они не отказываются отъ нѣкоторыхъ удобствъ. Вѣрные приносятъ имъ яйца, плоды и даже инструменты для вытаскиванія занозъ изъ ногъ. Вокругъ Писпери есть виноградники, у Пабенцевъ плотъ для поѣздокъ за провизіей.

Но я лучше служилъ бы ближнимъ, будучи просто свя-

щенникомъ. Помогаешь бѣднымъ, совершаешь таинства, пользуешься вліяніемъ въ семействахъ.

Впрочемъ, не всѣ міряне осуждены, и отъ меня самого зависѣло стать... напримѣръ... грамматикомъ, философомъ. Въ моей комнатѣ стоялъ бы тростниковый глобусъ, въ рукахъ у меня были бы дощечки, вокругъ молодые люди, а на двери, какъ вывѣска, лавровый вѣнокъ.

Но въ такихъ успѣхахъ слишкомъ много гордости! Ремесло солдата лучше. Я былъ крѣпокъ и смѣлъ,—достаточно, чтобы тянуть канаты машинъ, пробираться сумрачными лѣсами, входить со шлемомъ на головѣ въ дымящіеся города!.. Ничто не мѣшало мнѣ, также, пріобрѣсти за деньги должность сборщика пошлинъ гдѣ-нибудь у моста; и путешественники разсказывали бы мнѣ о приключеніяхъ, показывая въ своей поклажѣ любопытныя вещицы...

Александрійскіе кущы плаваютъ въ дни праздниковъ по рѣкѣ у Канопы и пьютъ вино изъ чашечекъ лотоса подъ грохотъ тамбуриновъ, отъ которыхъ дрожатъ кабачки по берегу! На той сторонѣ обстриженныя конусомъ деревья защищаютъ отъ южнаго вѣтра мирныя помѣстья. Крыша высокаго дома опирается на тонкія колонки, частыя какъ палочки рѣшетки; а хозяинъ, растянувшись на длинномъ сидѣньи, видитъ сквозь эти промежутки всѣ свои поля вокругъ отгоняльщиковъ птицъ въ хлѣбахъ, давильню, куда собираютъ виноградъ, быковъ, которые молотятъ. Дѣти его играютъ на полу, жена наклоняется обнять его.

Въ бѣлесоватой тьмѣ ночи вдѣсь и тамъ появляются острыя морды съ прямыми ушами и сверкающими глазами. Антоній направляется къ нимъ. Камешки скатываются, звѣри убѣгаютъ. Это стая шакаловъ.

Остался только одинъ; упираясь двумя лапами, онъ выгнулся дугой и наклонилъ голову, въ позѣ полной недовѣрія.

Какъ онъ красивъ! мнѣ бы хотѣлось ласково погладить его по спинѣ.

Свиститъ, чтобы вернуть его. Шакалъ исчезаетъ.

А! онъ уходитъ къ другимъ! Какое одиночество! Какая скука!

Смѣясь съ горечью.

Прекрасное существованіе — вить на огнѣ пальмовыя палки для посоховъ, дѣлать корзины, плести цыновки и получать взамѣнъ всего этого отъ Номадовъ хлѣбъ, ломающій тебѣ зубы! О, я несчастный! Неужели не будетъ конца? Лучше ужъ смерть! Я не могу больше! Довольно! довольно!

Топаетъ ногой и быстрымъ шагомъ проходитъ среди скалъ, потомъ запыхавшись пріостанавливается, рыдаетъ и ложится на землю, бокомъ.

Ночь тиха; мерцаютъ безчисленныя звѣзды; слышно только пощелкиваніе тарантуловъ.

Двѣ перекладины креста бросаютъ на песокъ тѣнь; плачущій Антоній замѣчаетъ ее.

Неужели я такъ слабъ, о Боже! Мужества, пріободримся!

Входитъ въ свою хижину, разгребаетъ засыпанный уголь, зажигаетъ факелъ и втыкаетъ его въ подставку изъ дерева, стараясь освѣтить большую книгу.

Если я раскрою... Дѣянія Апостоловъ?.. да! на удачу!

„И видитъ отверстое небо и сходящій къ нему нѣкоторый сосудъ, какъ бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; въ немъ находились всякія четвероногія земныя, звѣри, пресмыкающіяся и птицы небесныя. И былъ гласъ къ нему: встань, Петръ, заколи и ѣшь“.

Значитъ, Господь желалъ, чтобы его Апостолъ вкушалъ ото всего? тогда какъ я..

Склоняетъ голову на грудь. Шелестъ страницъ, которыми играетъ вѣтеръ, заставляетъ его поднять голову, и онъ читаетъ:

„И избивали Іудеи всѣхъ враговъ своихъ, побивая мечемъ, умерщвляя и истребляя, и поступали съ непріятелями своими по своей волѣ“.

Слѣдуетъ исчисленіе людей, убитыхъ ими: семьдесятъ пять тысячъ. Но они столько вынесли! Кромѣ того, ихъ враги были врагами истиннаго Бога. И какъ они, должно быть, наслаждались местью, умерщвляя идолопоклонниковъ! Городъ, конечно, былъ полонъ мертвыхъ! Они валялись у входовъ въ сады, по лѣстницамъ, на такой высотѣ въ комнатахъ,

что двери не могли отворяться!.. Но вѣдь это я погружаюсь въ мысли объ убійствѣ и крови!

Открываетъ книгу въ другомъ мѣстѣ.

„Тогда царь Навуходоносоръ палъ на лице свое и поклонился Даніилу“.

А! это хорошо! Всевышній прославляетъ своихъ пророковъ больше царей; между тѣмъ этотъ жилъ среди празднествъ, всегда опьяненный наслажденіями и гордостью. Но Богъ, въ наказаніе, обратилъ его въ звѣря. Онъ ходилъ на четверенькахъ!

Антоній смѣется; и дѣлая движеніе руками, переворачиваетъ страницы книги. Глаза его останавливаются на слѣдующей фразѣ:

„Езекія, выслушавъ посланныхъ, показалъ имъ кладовыя свои, серебро и золото, и ароматы и масти дорогія, и весь оружейный домъ свой и все, что находилось въ сокровищницахъ его“.

Воображаю... представьте себѣ отборнѣйшіе камни, бриллианты, дарики, сложенные въ кучу до потолка. Человѣкъ, которому принадлежитъ такая груда, уже не похожъ на остальныхъ. Перебирая ее, онъ думаетъ, что у него въ рукахъ плодъ безчисленнаго множества усилій и какъ бы жизнь народовъ, которую онъ вобралъ и можетъ излить. Заботы объ этомъ полезны и для царей. Мудрѣйшій изъ всѣхъ нихъ не пренебрегалъ ими. Корабли его привозили ему слоновой кости, обезьянъ... Однако, гдѣ же это?

Быстро перелистываетъ.

А! вотъ: *„Царица Савская, услышавши о славѣ Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками“.*

Чѣмъ надѣялась она его искусить? Діаволъ очень хотѣлъ искусить Іисуса! Но Іисусъ восторжествовалъ, такъ какъ былъ Богъ, а Соломонъ, быть можетъ, благодаря магическому знанію. Оно возвышенно, это знаніе! Ибо міръ,—такъ объяснялъ мнѣ одинъ философъ,—составляетъ цѣлое, всѣ части котораго вліяютъ другъ на друга, какъ органы одного тѣла. Нужно только знать природную любовь и ненависть вещей, затѣмъ воспользоваться этимъ. Значитъ, можно было бы измѣнить то, что кажется непреложнымъ порядкомъ?

Вдругъ двѣ тѣни, обрисованныя сзади него перекладинами креста, выдвигаются впередъ. Онѣ образуютъ какъ бы два большихъ рога; Антоній вскрикиваетъ:

На помощь, Боже!

Тѣнь возвращается на свое мѣсто.

А!.. это было видѣніе! и только! Напрасно мучаю я свой духъ! Что мнѣ дѣлать!.. что!

Садится и скрещиваетъ руки.

Однако... какъ будто вблизи былъ кто-то... Но зачѣмъ бы ему приходить? Впрочемъ, развѣ я не знаю его хитростей? Я отвергъ чудовищнаго пустынника, который смѣясь предлагалъ мнѣ маленькіе теплые хлѣбцы, кентавра, старавшагося посадить меня себѣ на спину,—и того чернаго ребенка среди песковъ, который былъ очень красивъ и сказалъ мнѣ, что называется духомъ блуда.

Антоній въ волненіи ходитъ взадъ и впередъ.

Вѣдь по моему повелѣнію выстроены эти сотни святыхъ обителей, гдѣ столько монаховъ во власяницахъ подъ козьими шкурами, что изъ нихъ можно бы набрать войско! Я исцѣлялъ издалека больныхъ; я изгонялъ бѣсовъ; я переплылъ рѣку, полную крокодиловъ; императоръ Константинъ написалъ мнѣ три письма; Валакій, плюнувшій на мои посланія, былъ растерзанъ своими лощадьми; когда я снова появился въ Александріи, народъ дрался, чтобы меня видѣть, и Аѳанасій провожалъ меня до дороги. Но и какіе подвиги! Вотъ уже болѣе тридцати лѣтъ я безпрерывно стенаю въ пустынѣ! Я носилъ у пояса восемьдесятъ фунтовъ бронзы, какъ Евсевій, я подставлялъ свое тѣло укусамъ насѣкомыхъ, какъ Макарій, я пятьдесятъ три ночи не закрывалъ глазъ какъ Пахомій; и у тѣхъ, кого казнятъ, кого терзаютъ клещами и жгутъ, быть можетъ, менѣе заслугъ, ибо моя жизнь сплошное мученичество!

Антоній стихаетъ.

Поистинѣ, чья скорбь по глубинѣ могла бы равняться моей! Добрыхъ сердецъ все меньше. Мнѣ не приносятъ больше ничего. Мой плащъ изношенъ. У меня нѣтъ сандалій, даже чашки,—ибо я роздалъ бѣднымъ и семьѣ все свое

имущество, до послѣдняго обола. Вѣдь только на инструменты, необходимые для моей работы, мнѣ нужно сколько-нибудь денегъ. О! немного! совсѣмъ немного! Я былъ бы бережливъ.

Никейскіе Отцы, въ пурпурныхъ одѣяніяхъ, держались какъ маги на тронахъ вдоль стѣнъ; и ихъ угощали на пиру, ихъ осыпали почестями, особенно Пафнутія, такъ какъ онъ кривъ и хромаетъ со временъ гоненія Діоклетіана! Императоръ нѣсколько разъ поцѣловалъ ему вытекшій глазъ; какая глупость! Впрочемъ, на Соборѣ были такіе нечестивцы! Епископъ Скиѳіи, Ѳеоѳилъ, этотъ Іоаннъ изъ Персіи; пастухъ Спиридонъ! Александръ былъ слишкомъ старъ. Аѳанасію надо было быть ласковѣе съ аріанами, чтобы добиться уступокъ!

Развѣ они сдѣлали бы это! Они не хотѣли меня слушать! Тотъ, что возражалъ мнѣ, высокій молодой человѣкъ съ завитой бородой, спокойно бросалъ свои лукавыя возраженья; и пока я искалъ словъ, они со злобой смотрѣли на меня, лая какъ гіены. О, почему я не могу заставить Императора изгнать ихъ всѣхъ, нѣтъ лучше бить, раздавить, видѣть ихъ муки. Я самъ очень мучусь!

Ослабѣвая, прислоняется къ хижинѣ.

Слишкомъ много постовъ! силы мои уходятъ. Если бы мнѣ отвѣдать... хоть кусочекъ мяса.

Полузакрываетъ глаза, въ томленіи.

А! мяса... гроздь винограда!.. кислаго молока, что дрожитъ на блюдѣ!..

Но что со мной? Что со мной? Я чувствую, мое сердце переполнено, какъ море, вздувающееся передъ бурей. Безконечная слабость овладѣваетъ мной, и теплый воздухъ доноситъ какъ бы ароматъ волосъ. Нѣтъ ли тутъ женщинъ?

Поворачивается къ небольшой тропинкѣ между скалъ.

Вотъ отсюда онѣ появляются, покачиваясь на своихъ носилкахъ въ черныхъ рукахъ евнуховъ. Онѣ сходятъ на землю и, соединяя руки въ кольцахъ, колѣнопреклоняются. Онѣ разсказываютъ мнѣ о своихъ горестяхъ. Ихъ сжигаетъ жажда нечеловѣческой страсти; онѣ мечтаютъ о смерти, ви-

дятъ во снѣ Божества, которыя зовутъ ихъ; и края ихъ одеждъ касаются моихъ ногъ. Я ихъ отталкиваю. „О, горюютъ онѣ, подожди! Что намъ дѣлать?“ Всѣ покаянья хороши для нихъ. Онѣ просятъ тягчайшихъ,—участвовать въ моемъ, жить со мной.

Уже давно я не видалъ ихъ! Быть можетъ, онѣ сейчасъ появятся? Почему бы и нѣтъ? А вдругъ... я услышу сейчасъ въ горахъ колокольчики муловъ? Какъ будто...

Антоній забирается на утесъ надъ тропинкой и, наклоняясь, вперяетъ взоръ въ темноту.

Да! тамъ, въ самомъ низу, движется что-то, точно путники, сбившіеся съ дороги. Она вонъ тамъ! Они заблудятся!

Зоветъ:

Здѣсь! Сюда! сюда!

Эхо повторяетъ: сюда! сюда!

Пораженный, онъ опускаетъ руки.

Какой позоръ! О, бѣдный Антоній!

И тотчасъ же слышится шопотъ: „Бѣдный Антоній!“

Кто тамъ? Отвѣчай!

Вѣтеръ звенитъ, проносясь въ расщелинахъ скалъ; и въ этихъ неясныхъ звукахъ онъ различаетъ ГОЛОСА, какъ будто говоритъ воздухъ. Они низки и вкрадчивы, свистящи.

ПЕРВЫЙ.

Хочешь ты женщинъ?

ВТОРОЙ.

Большія груды серебра, быть можетъ?

ТРЕТІЙ.

Блестящій мечъ?

ОСТАЛЬНЫЕ.

— Весь народъ боготворитъ тебя!

— Довѣрься!

— Ты ихъ погубишь, конечно, ты ихъ погубишь!

Въ то же время предметы измѣняются. На краю утеса старая пальма съ короной желтыхъ листьевъ становится торсомъ женщины, склонившейся надъ пропастью и длинные волосы которой колеблются.

АНТОНІЙ

оборачивается къ своей хижинѣ; и скамья, на которой лежитъ большая книга съ крупными черными буквами, кажется ему кустомъ, покрытымъ ласточками.

Это факелъ, конечно, производитъ игру свѣта... Погасимъ его!

Тушитъ, настаетъ глубокая темнота.

И вотъ проплываетъ въ воздухѣ лужица воды, потомъ блудница, уголъ храма, фигура воина, колесница съ парой сѣлыхъ коней, которые упрямятся.

Эти образы являются порывисто, толчками, выдѣляясь на фонѣ ночи какъ живопись пурпуромъ по эбену.

Ихъ движеніе ускоряется. Они мелькаютъ съ головокружительной скоростью. По временамъ они пріостанавливаются и постепенно блѣднѣютъ, таютъ; или уносятся, и сейчасъ же появляются другіе.

Антоній закрываетъ глаза.

Ихъ все больше, они окружаютъ его, осаждаютъ. Невыразимый ужасъ овладѣваетъ имъ; и онъ чувствуетъ только жгучее сдавливаніе въ груди. Несмотря на шумъ въ головѣ, онъ ощущаетъ великое молчаніе, отдѣляющее его отъ міра Онъ пробуетъ говорить; немыслимо! Какъ будто общая связь частей въ его духѣ распадается; и, не сопротивляясь болѣе, Антоній падаетъ на циновку.

II.

И вотъ большая тѣнь, прозрачнѣе обыкновенной и окаймленная по краямъ другими тѣнями, очерчивается на землѣ.

Это Діаволъ; онъ облокотился на крышу хижины и держитъ у себя подъ крыльями, какъ гигантская летучая мышь, кормящая дѣтенышей,—Семь Смертныхъ Грѣховъ, уродливыя головы которыхъ видны неясно.

Антоній, попрежнему закрывъ глаза, блаженствуетъ въ бездѣйствіи и вытягивается во весь ростъ на циновкѣ.

Она кажется ему все мягче и мягче,—какъ будто ее набиваютъ шерстью; она растетъ, становится постелью, постель лодкой; вода плещется у его боковъ.

Справа и слѣва подымаются двѣ полоски черной земли, выше которой возлѣланныя поля и кое-гдѣ сикоморы. Вдали слышны звуки барабановъ, бубенчиковъ и пѣнья. Это

отправляются въ Канопу спать въ храмѣ Сераписа, чтобъ видѣть сны. Антоній знаетъ объ этомъ; — и подгоняемый вѣтромъ, онъ скользитъ между двухъ береговъ канала. Надъ нимъ свѣшиваются листья папирусовъ и красные цвѣты нимфей, крупнѣе человѣка. Онъ растянулся на днѣ лодки; сзади бѣжитъ по водѣ весло. Время отъ времени налетаетъ теплый вѣтерокъ, и шуршатъ тонкіе тростники. Ропотъ маленькихъ волнъ смолкаетъ. Имъ овладѣваетъ дремота. Во снѣ онъ видитъ себя египетскимъ пустынникомъ.

Тогда онъ стремительно вскакиваетъ.

Я видѣлъ сонъ?.. все было такъ отчетливо, что даже не вѣрится. Языкъ мой пылаетъ! Я жажду!

Входитъ въ свою хижину и наугадъ шаритъ повсюду.

Полъ влаженъ... Развѣ шелъ дождь? Однако! осколки! разбитый кувшинъ... а мѣхъ?

Находитъ его.

Пустъ! совершенно пустъ!

Чтобы сойти къ рѣкѣ, мнѣ надо по крайней мѣрѣ три часа, а ночь такъ непроглядна, что я не найду дороги. Голодъ мучитъ меня. Гдѣ же хлѣбъ?

Проискавъ долго, находитъ корку не больше яйца.

Какъ? неужели шакалы съѣли его? О, проклятіе!

И въ бѣшенствѣ онъ бросаетъ хлѣбъ на землю.

Лишь только онъ дѣлаетъ это движеніе, показывается столъ, покрытый яствами.

Виссонная скатерть, въ бороздкахъ, какъ повязки сфинкса, отливаетъ свѣтлыми волнами. На ней огромные куски мяса, большія рыбы, птицы въ перьяхъ, четвероногія въ шкурахъ, плоды оттѣнка человѣческаго тѣла; а глыбы бѣлаго льда и сосуды фіолетоваго хрусталя сверкаютъ огнями. Антоній замѣчаетъ посреди стола дымящагося всѣми порами кабана, съ поджатыми лапами и полузакрытыми глазами;—и мысль о возможности съѣсть этого страшнаго звѣря необычайно радуетъ его. Затѣмъ, тутъ совершенно неизвѣстныя для него кушанья, темное рубленое мясо, заливныя золотого цвѣта, рагу, гдѣ плаваютъ грибы, какъ ненюфары на прудахъ, пирожныя, легкія какъ облака.

И въ ароматѣ всего этого онъ ощущаетъ соленый запахъ Океана, свѣжесть фонтановъ, великое благоуханіе лѣсовъ. Ноздри его раздуваются; изо рта течетъ слюна; онъ твер-

дить себѣ, что этого хватитъ на годъ, на десять лѣтъ, на всю жизнь!

По мѣрѣ того какъ расширенные глаза его перебѣгаютъ съ блюда на блюдо, прибавляются новыя, образуя пирамиду, углы которой сползаютъ. Вина начинаютъ течь, рыбы трепещутъ, кровь въ кушаньяхъ бурлитъ, мякоть плодовъ тянется впередъ, какъ уста влюбленныхъ; и столъ выростаетъ ему по грудь, по подбородокъ—на немъ, прямо передъ его глазами, всего одна тарелка и хлѣбъ. Онъ хочетъ взять его. Появляются другіе хлѣбы.

Какъ!.. все это мнѣ...

Отступаетъ.

Вмѣсто одного получилось столько! Да это чудо, то самое, что сотворилъ Спаситель!

Для чего? Ахъ, развѣ все остальное болѣе понятно? О, дьяволъ, прочь, прочь!

Ударяетъ ногой по столу. Столъ исчезаетъ.

И нѣтъ ничего? Невѣроятно!

Вздыхаетъ полной грудью.

О, искушеніе было сильно. Но какъ я избавился отъ него!

Подымаетъ голову и спотыкается о звонкій предметъ.

Что такое?

Наклоняется.

Однако! чаша! вѣроятно, кто-нибудь, путешествуя, потерялъ ее. Ничего удивительнаго...

Слюнитъ палецъ и третъ.

Блеститъ! металлъ! Но я не различаю...

Зажигаетъ свой факелъ и разсматриваетъ чашу.

Она изъ серебра, украшена выпуклыми овалами по краю, на ея днѣ медаль.

Подбрасываетъ медаль щелчкомъ ногтя.

Эта монета стоитъ... отъ семи до восьми драхмъ; не больше! Ну что же! Я бы свободно могъ купить себѣ на нее овечью шкуру.

Отблескъ факела освѣщаетъ чашу.

Не можетъ быть! золотая! да... вся изъ золота!

На днѣ оказывается еще монета, крупнѣе. Подъ ней онъ замѣчаетъ много другихъ.

Но на это можно купить... трехъ быковъ... участокъ земли

Чаша теперь полна золотыми монетами.

Вотъ какъ! сто рабовъ, солдаты, цѣлая толпа..

Выпуклости по краю, отдѣляясь, образуютъ жемчужное ожерелье.

Противъ такой драгоцѣнности не устояла бы и жена Императора!

Встряхнувъ, Антоній поддѣваетъ соскользнувшее ожерелье на руку. Онъ держитъ чашу въ лѣвой, а правой подымаетъ факелъ, чтобы лучше освѣтить ее. Какъ влага, льющаяся изъ бассейна, ожерелье струится сплошными волнами,—образуя на пескѣ небольшой холмикъ,—алмазы, карбункулы и сапфиры въ перемежку съ крупными золотыми монетами, на которыхъ изображены цари.

Какъ? статеры, сикли, дарики, аріандики! Александръ, Димитрій, Птоломеи, Цезарь! но, ни у кого изъ нихъ не было столько! Все въ моей власти! нѣтъ больше страданій! и эти лучи, что ослѣпляютъ меня! О, сердце мое разорвется! Какъ это дивно! еще, еще, безъ конца! Сколько бы я ни бросалъ ихъ въ море, мнѣ останется все же. Зачѣмъ растрачивать? Я сберегу все; никому не скажу; вырою себѣ въ скалѣ комнату, которая будетъ выстлана изнутри бронзовыми плитами;—и приходя туда, я съ наслажденіемъ буду погружать свои ступни въ кучи золота; я запущу въ него руки, какъ въ мѣшки съ зерномъ. Я хотѣлъ бы натереть имъ лицо, спать на немъ!

Выпускаетъ факелъ, чтобы обнять груду, и падаетъ ничкомъ на землю.

Подымается. Ничего нѣтъ.

Что случилось?

Если я былъ мертвъ все это время, то это адъ! адъ, безнадежный!

Дрожитъ всѣми членами.

Значитъ, я проклятъ? О, нѣтъ! Я самъ виноватъ! я поддаюсь на всѣ уловки! Кто можетъ быть глупѣе и подлѣй? Мнѣ нужно бичеваніе, нѣтъ, лучше совсѣмъ лишиться тѣла! Слишкомъ долго я воздерживаюсь! Я чувствую потребность мстить, разить, убивать! какъ-будто въ моей душѣ стадо дикихъ звѣрей. Я бы хотѣлъ, ударами сѣкиры, въ толпѣ... А-а, кинжалъ!..

Бросается на замѣченный ножъ. Ножъ выскальзываетъ изъ его руки, и Антоній остается прислоненнымъ къ стѣнѣ своей хижины; огромный ротъ его раскрытъ, онъ неподвиженъ,—въ каталепсіи.

Все вокругъ исчезаетъ.

Онъ какъ будто въ Александріи, на Панеумѣ, искусственномъ холмѣ въ центрѣ города, на который ведетъ лѣстница улиткой.

Прямо предъ нимъ лежитъ озеро Мареотисъ, направо море, налѣво поля,—а непосредственно внизу масса плоскихъ крышъ, перерѣзанныхъ съ юга на сѣверъ и съ востока на западъ двумя улицами, которыя пересѣкаются и образуютъ по всей своей длинѣ цѣпь портиковъ съ коринѳскими капителями. Дома, возвышающіеся надъ этой двойной колоннадой, снабжены цвѣтными стеклами въ окнахъ. У нѣкоторыхъ снаружи большія деревянныя клѣтки, гдѣ продуваетъ вѣтеръ.

Монументы различной архитектуры тѣснятся одни около другихъ. Египетскіе пилоны господствуютъ надъ греческими храмами. Обелиски встаютъ какъ копья изъ-за зубцовъ краснаго кирпича. На площадяхъ виднѣются Гермесы съ заостренными ушами и Анубисы съ собачьей головой. Антоній различаетъ мозаики во дворахъ и развѣшенные на балкахъ потолковъ ковры.

Онъ охватываетъ однимъ взглядомъ два порта (Большой Портъ и Эвность); оба они круглы, какъ цирки, и ихъ раздѣляетъ молъ, связывающій Александрію съ утесистымъ островкомъ, гдѣ подымается четырехугольная башня маяка, высотой въ пятьсотъ локтей и съ девятью этажами; на вершинѣ ея груды дымящагося угля.

Главные порты разрѣзаны малыми внутренними. Молъ съ обоихъ концовъ переходитъ въ мостъ на колоннахъ изъ мрамора, водруженныхъ въ море. Подъ нимъ проплываютъ корабли; и тяжелыя габары, нагруженныя товаромъ, таламежныя барки въ рѣзьбѣ изъ слоновой кости, гондолы съ тентами, триремы и биремы, суда всѣхъ родовъ, проходятъ или останавливаются у набережныхъ.

Вокругъ Большого Порта непрерывный рядъ царскихъ построекъ: дворецъ Птоломеевъ, Музей, Посидіонъ, Цезареумъ, Тимоніонъ, гдѣ укрывался Маркъ-Антоній, Сома съ могилою Александра;—а на другомъ концѣ города, за Эв-

ностомъ, видны въ предмѣстьѣ фабрики хрусталя, ароматовъ и папирусовъ.

Толкаясь снуютъ бродячіе торговцы, носильщики, погонщикиословъ. Кое-гдѣ въ толпѣ жрецъ Озириса со шкурой пантеры на плечѣ, римскій солдатъ въ бронзовомъ шлемѣ, много негровъ. У порога лавочекъ останавливаются женщины, работаютъ ремесленники; и скрипѣнье возовъ разгоняетъ птицъ, подбирающихъ по землѣ обрѣзки мяса и остатки рыбъ.

На однообразную бѣлизну домовъ накинута узоромъ улицъ какъ бы черная сѣтка. Рынки, полные овощей, выглядятъ зелеными букетами, сушильни красильщиковъ цвѣтными пластинками, золотые орнаменты на фронтонахъ храмовъ сіяющими точками, — и все это заключено въ овальную ограду сѣроватыхъ стѣнъ, подъ сводомъ голубого неба, вблизи неподвижнаго моря.

Но толпа замираетъ и всѣ смотрятъ на западъ, откуда движутся огромные вихри пыли.

Это идутъ монахи Онваиды въ козьихъ шкурахъ, вооруженные дубинами, и рыча воинственный религіозный гимнъ съ припѣвомъ:

„Гдѣ они? гдѣ они?“

Антоній соображаетъ, что они явились избивать аріанъ.

Улицы сразу пустѣютъ, и мелькаютъ только ноги.

Теперь Пустынники уже въ городѣ. Ихъ страшныя палки, унизанныя гвоздями, вращаются какъ стальныя солнца. Слышенъ грохотъ разбиваемыхъ вещей въ домахъ. Наступаютъ промежутки молчанія. Потомъ снова дикіе крики.

По всему городу въ смятеніи кишитъ испуганный народъ.

Въ рукахъ у многихъ пики. По временамъ двѣ группы сталкиваются, сливаются въ одну; и эта масса скользитъ по каменнымъ плитамъ, разстраивается, таетъ. Но каждый разъ люди съ длинными волосами появляются вновь.

Надъ углами зданій вьются струйки дыма. У дверей соскакиваютъ щеколды. Рушатся части стѣнъ. Падаютъ архитравы.

Антоній встрѣчаетъ поочередно всѣхъ своихъ враговъ. Онъ вспоминаетъ тѣхъ, кого забылъ; прежде чѣмъ убивать, онъ мучитъ ихъ. Вспарываетъ животы, рѣжетъ, колетъ, тащитъ старцевъ за бороды, давитъ дѣтей, добиваетъ раненыхъ.

Мстятъ также за роскошь; неумѣющіе читать рвутъ книги; другіе бьютъ, уничтожаютъ статуи, картины, мебель, ящички, тысячи изящныхъ предметовъ, которыхъ употребленія не знаютъ и за это еще больше ненавидятъ. По временамъ они останавливаются, переводя духъ, и снова начинаютъ.

Жители, укрывшись во дворахъ, трепещутъ. Женщины подымаютъ къ небу заплаканные глаза и обнаженныя руки. Чтобы тронуть Пустынниковъ, онѣ обнимаютъ имъ колѣна; тѣ отталкиваютъ ихъ; и кровь брызжетъ къ потолку, стекаетъ полосами со стѣнъ, струится по обезглавленнымъ трупамъ, наполняетъ акведуки, образуетъ на полу большія красныя лужи.

Антоній вымокъ въ ней по колѣна; она повсюду вокругъ него; онъ облизываетъ ея капельки со своихъ губъ и вздрагиваетъ отъ наслажденія, чувствуя ее на всемъ своемъ тѣлѣ подъ волосяной туникой, которая напитана ею.

Наступаетъ ночь. Страшный шумъ смолкаетъ.

Пустынники исчезли.

Вдругъ на внѣшнихъ галлереяхъ вокругъ девяти этажей маяка Антоній замѣчаетъ черныя полоски—какъ будто усѣвшіеся вороны. Онъ бѣжитъ туда и оказывается на вершинѣ.

Большое мѣдное зеркало, обращенное къ открытому морю, отражаетъ корабли на горизонтѣ.

Антоній съ любопытствомъ разглядываетъ ихъ; и по мѣрѣ того какъ онъ смотритъ, число ихъ растетъ.

Они толпятся въ заливѣ, имѣющемъ форму полумѣсяца. Сзади, на мысу, лежитъ новый городъ римской архитектуры съ каменными куполами, коническими крышами, розовымъ и голубымъ мраморомъ и массой мѣди въ завиткахъ капителей, на верхахъ домовъ и въ углахъ карнизовъ. Надъ нимъ господствуетъ лѣсъ кипарисовъ. Цвѣтъ моря зеленѣе, воздухъ прохладнѣе. Вдали на горахъ виденъ снѣгъ.

Антоній разыскиваетъ дорогу, какъ вдругъ къ нему подходитъ человѣкъ и говоритъ: „Иди, тебя ждутъ“.

Онъ пересѣкаетъ форумъ, входитъ во дворъ, нагибается у двери; и передъ нимъ фасадъ дворца, украшенный восковой группой, на которой Императоръ Константинъ повергаетъ дракона. Внутри порфирнаго бассейна видна ра-

ковина изъ золота, полная фиставекъ. Проводникъ говоритъ ему, что ихъ можно брать. Онъ беретъ.

Далѣе, онъ затерывается въ переходахъ комнатъ.

На мозаичныхъ стѣнахъ изображены полководцы, подносящіе на ладони Императору взятые города. И повсюду колонны изъ базальта, рѣшетки серебряной филигранной работы, кресла слоновой кости, вышитые жемчугомъ обои. Свѣтъ льется со сводовъ, Антоній идетъ дальше. Вѣютъ теплыя испаренія; по временамъ онъ слышитъ осторожную поступь сандалій. Стоящіе въ преддверьяхъ стражи,—похожіе на автоматовъ,—держатъ на плечахъ серебряные въ позолотѣ жезлы.

Наконецъ, онъ попадаетъ въ залу, перегороженную въ глубинѣ гіацинтовой занавѣсью. Складки расходятся и открываютъ Императора, который сидитъ на тронѣ, въ фіолетовой туникѣ, и обутъ въ красные полусапоги съ черными шнурами.

Жемчужная діадема опоясываетъ его волосы въ правильныхъ завиткахъ. У него тяжелыя вѣки, прямой носъ, хмурое и обрюзглое лицо. Въ углахъ балдахина надъ его головой сидятъ четыре золотыхъ голубя, а у трона два эмалевыхъ льва на заднихъ лапахъ. Голуби начинаютъ ворковать, львы рычатъ, Императоръ поводитъ глазами, Антоній приближается; и тотчасъ, безъ предваренія, они вступаютъ въ бесѣду. Въ Антіохіи, Эфесѣ и Александріи разграблены храмы и статуи боговъ обращены въ горшки и котлы; Императоръ весело смѣется. Антоній укоряетъ его за терпимость къ новаціанамъ Императоръ раздражается; новаціане, аріане, мелетіане,—все это ему надоѣло. Между тѣмъ онъ въ восторгѣ отъ господствующей церкви: когда христіане смѣщаютъ епископовъ, которые зависятъ отъ пяти-шести лицъ, достаточно подкупить только ихъ, чтобы привлечь всѣхъ остальныхъ на свою сторону. Онъ самъ не разъ тратилъ на это значительныя суммы. Но онъ ненавидитъ отцовъ Никейскаго Собора.

„Посмотримъ ихъ!“ Антоній слѣдуетъ за нимъ. И они незамѣтно оказываются на террасѣ.

Подъ нею ипподромъ, наполненный народомъ, а надъ нимъ портики, гдѣ прогуливаются остальные зрители. Въ центрѣ арены вытянулась узкая площадка, по длинѣ которой стоитъ маленькій храмъ Меркурія, статуя Константина, три свившіяся бронзовыя змѣи, у одного конца большія деревянныя яйца, на другомъ семь дельфиновъ хвостами кверху.

Позади Императорскаго павильона, вплоть до перваго этажа церкви, всѣ окна которой усѣяны женщинами, выстроились рядами Префекты палатъ, Начальники дворцовой стражи, Патриціи. Направо трибуна голубыхъ, налѣво зеленыхъ, внизу пикетъ солдатъ, а на уровнѣ арены рядъ коринескихъ арокъ образуетъ входы въ клѣтки.

Бѣга скоро начнутся, выравниваютъ лошадей. Высокіе султаны надъ ихъ ушами раскачиваются по вѣтру какъ деревья; и упрямясь, они дергаютъ колесницы, похожія на раковины, которыми правятъ возничіе въ разноцвѣтныхъ одеждахъ съ узкими у кистей и широкими въ плечахъ рукавами, съ голыми ногами, въ бородахъ, и съ подстриженными на лбу волосами, какъ принято у гунновъ.

Антонія сначала оглушаетъ гулъ голосовъ. Сверху до низу онъ видитъ только подкрашенныя лица, пестрыя одѣянія, блестки золотыхъ издѣлій; а песокъ арены, совершенно бѣлый, сверкаетъ какъ зеркало.

Императоръ разговариваетъ съ нимъ. Онъ повѣряетъ ему важныя секретныя свѣдѣнія, признается въ убійствѣ сына Криспа, даже совѣтуется о своемъ здоровьѣ.

Между тѣмъ Антоній замѣчаетъ рабовъ въ глубинѣ клѣтокъ. Это отцы Никейскаго Собора, жалкіе, въ отрепьяхъ. Мученикъ Пафнутій чиститъ гриву одному коню, Ѳеоѳилъ моетъ ноги другому, Іоаннъ раскрашиваетъ копыта третьему, Александръ подбираетъ въ корзину навозъ.

Антоній проходитъ среди нихъ. Они стоятъ вереницей, умоляютъ вступиться, цѣлуютъ ему руки. Всѣ свистятъ имъ; и онъ безконечно радъ ихъ униженію. Вотъ онъ уже изъ первыхъ при дворѣ, повѣренный Императора, высшій сановникъ! Константинъ возлагаетъ ему на голову свою діадему. Антоній принимаетъ ее, нисколько не удивляясь этой чести.

И вдругъ изъ темноты выступаетъ огромная зала, освѣщенная золотыми канделябрами

Колонны, наполовину теряясь въ сумракѣ — настолько онѣ высоки—тянутся цѣпью съ внѣшней стороны столовъ, которые идутъ до горизонта,—гдѣ видны въ свѣтломъ туманѣ громады лѣстницъ, ряды аркадъ, колоссы, башни и позади неясный очеркъ дворца; надъ нимъ высятся кедры, выдѣляясь во мглѣ болѣе темными массами.

Гости, въ вѣнкахъ изъ фіалокъ, опираются локтями на очень низкія ложа. Вдоль обоихъ этихъ рядовъ льютъ вино, наклоняя амфоры;—а совсѣмъ въ глубинѣ, въ одиночествѣ,

съ тіарою на головѣ и унизанный карбункулами, ѣстъ и пьетъ царь Навуходоносоръ

Справа и слѣва отъ него кадятъ курильницами жрецы въ остроконечныхъ шапочкахъ, выстроившись въ два ряда. Внизу по землѣ ползаютъ плѣнные цари, безъ рукъ и ногъ, и онъ бросаетъ имъ грызть кости; еще ниже сидятъ его братья съ повязками на глазахъ—всѣ они слѣпы.

Протяжный стонъ идетъ изъ глубины эргастуловъ. Нѣжные и тихіе звуки водяного органа чередуются съ хорами голосовъ; и за дверьми чувствуется безпредѣльный городъ, океанъ людей, волны которыхъ бьютъ о стѣны.

Бѣгаютъ рабы, нося блюда. Снуютъ женщины, предлагая напитки; подъ тяжестью хлѣбовъ трещатъ корзины; и дромадеръ, навьюченный мѣхами въ дырочкахъ, проходитъ взадъ и впередъ, точа вервену для освѣженія пола.

Укротители приводятъ львовъ. Плясуньи съ волосами въ сѣткахъ ходятъ на рукахъ и пышутъ пламенемъ изъ ноздрей; фокусники негры кривляются, голые мальчики бросаютъ другъ въ друга комья снѣга, которые плющатся, падая на свѣтлую серебряную посуду. Гулъ голосовъ такъ грозенъ, что напоминаетъ бурю, и надъ пиромъ стоитъ туманъ,—столько тамъ мяса и испареній. По временамъ искра съ большого факела, подхваченная вѣтромъ, пронизываетъ ночь, какъ падучая звѣзда.

Царь отираетъ рукой ароматы съ лица. Онъ ѣстъ изъ священныхъ сосудовъ, потомъ бьетъ ихъ; и мысленно онъ исчисляетъ свои флоты, свои войска, свои народы. Черезъ минуту, изъ каприза, онъ сожжетъ свой дворецъ съ гостями. Онъ собирается снова выстроить башню въ Вавилонѣ и свергнуть Бога.

Антоній издали прочитываетъ на его лбу всѣ эти мысли. Онѣ овладѣваютъ имъ—и онъ становится Навуходоносоромъ.

Тотчасъ же наступаетъ пресыщеніе отъ излишествъ и крови; и его охватываетъ желаніе пресмыкаться въ ничтожествѣ. При этомъ, униженіе того, что ужасаетъ людей, есть оскорбленіе ихъ духа, новый способъ одурачить ихъ; а такъ какъ нѣтъ ничего гаже дикаго звѣря, Антоній становится на столѣ на четвереньки и ревetъ какъ быкъ.

Вдругъ онъ чувствуетъ боль въ рукѣ, камешекъ случайно оцарапалъ ее — и передъ нимъ снова его хижина. Ограда скалъ пустынна. Сіяютъ звѣзды. Все тихо.

Еще разъ я обманулся! Откуда эти искушенія? Ихъ порождаютъ возмущенія плоти. О, я несчастный!

Вбѣгаетъ въ хижину, беретъ связку веревокъ съ металлическими крючьями на концахъ, обнажается до пояса, и поднимаетъ глаза къ небу.

Прими мое раскаяніе, о Боже! не отринь его, если оно слабо. Сдѣлай его острымъ, долгимъ, безпредѣльнымъ! Пора, къ дѣлу!

Наноситъ себѣ мощный ударъ.

Ой!.. нѣтъ! нѣтъ! не надо жалости!

Принимается снова.

О! каждый ударъ рветъ мнѣ кожу, разсѣкаетъ члены. Какъ это адски жжетъ!

Ахъ! это не такъ страшно! дѣлаютъ же другіе. Мнѣ даже кажется...

Перестаетъ.

Еще, трусъ, еще! Отлично! отлично! руки, спину, грудь, животъ, всюду! Свищите бичи, грызите меня, раздирайте меня! Пусть капли моей крови брызнутъ до звѣздъ, пусть кости мои затрещатъ, обнажатся нервы! Тисковъ сюда, дыбу, топленаго свинцу! Мученики не такъ еще страдали! не правда ли, Аммонарія?

Тѣнь роговъ Дьявола появляется вновь.

Быть можетъ, меня привязали бы къ колоннѣ рядомъ съ тобой, лицомъ къ лицу, у тебя передъ глазами! Я отвѣчалъ бы на твои вопли стонами, и наши муки слились бы, наши души соединились.

Съ яростью хлещетъ себя.

Вотъ тебѣ еще! еще!.. Но какой-то трепетъ пробѣгаетъ по мнѣ. Какая боль! Какое наслажденіе! какъ будто поцѣлуи. Мой мозгъ истаеваетъ! умираю!

И онъ видитъ передъ собой трехъ всадниковъ верхомъ на онаграхъ, въ зеленыхъ платьяхъ, съ лилиями въ рукахъ и похожихъ другъ на друга.

Антоній оборачивается и видитъ еще трехъ всадниковъ, на такихъ же онаграхъ, въ томъ же положеніи.

Онъ отступаетъ. Тогда онагры всѣ сразу подвигаются на шагъ и начинаютъ тереться объ него мордами, стараясь укусить его одежду. Слышны голоса: „Сюда, сюда, здѣсь!“ И въ расщелинахъ горы показываются значки, головы верблюдовъ въ уздечкахъ изъ краснаго шелку, навьюченные

поклажей мулы, и женщины въ желтыхъ покрывалахъ сидятъ по-мужски на пѣгихъ лошадяхъ.

Измученныя животныя ложатся, рабы бросаются къ тюкамъ, развертываютъ узорные ковры, раскладываютъ по землѣ блестящіе предметы.

Потряхивая пучкомъ страусовыхъ перьевъ на лобной повязкѣ, приближается бѣлый слонъ въ попонѣ изъ золотой сѣтки.

На его спинѣ, въ подушкахъ голубой шерсти, скрестивъ ноги, полузакрывъ глаза и слегка покачивая головой, сидитъ женщина, такъ ослѣпительно одѣтая, что сіяетъ лучами вокругъ. Всѣ падаютъ ницъ, слонъ подгибаетъ колѣна и

соскальзывая по его плечу, сходитъ на ковры и направляется къ святому Антонію.

Платье изъ золотой парчи, все въ правильныхъ сборкахъ жемчуга, агатовъ и сапфировъ, стягиваетъ ей станъ узкимъ корсажемъ, который отдѣланъ разноцвѣтными нашивками, изображающими двѣнадцать знаковъ Зодіака. Она въ очень высокихъ башмакахъ—изъ нихъ одинъ черный и усѣянъ серебряными звѣздами съ полумѣсяцемъ,—а другой, бѣлый, покрытъ крапинками золота съ солнцемъ въ серединѣ.

Широкіе рукава, убранные изумрудами и птичьими перьями, обнажаютъ маленькую округлую руку съ эбеновымъ браслетомъ у кисти, а пальцы унизаны перстнями и оканчиваются такими острыми ногтями, что похожи на иглы.

Плоская золотая цѣпь, проходя подъ подбородкомъ, восходитъ вдоль щекъ, обвиваетъ спиралью прическу, напудренную голубой пудрой; затѣмъ, спускаясь, касается плечъ и прикрѣпляется къ брильянтовому скорпіону, который удлиняетъ язычекъ между ея грудей. Двѣ огромныхъ блѣдныхъ жемчужины оттягиваютъ ей уши. Вѣки ея по краямъ подкрашены чернымъ. На лѣвой щекѣ отъ природы темное пятнышко; и она дышетъ съ усиліемъ, какъ будто ее стѣсняетъ платье.

На ходу она помахиваетъ зеленымъ зонтикомъ съ ручкой изъ слоновой кости, на которомъ висятъ алые колокольчики;—и двѣнадцать курчавыхъ негритятъ несутъ ея длинный шлейфъ, а обезьяна поддерживаетъ его конецъ и по временамъ приподымаетъ.

О, прекрасный отшельникъ! прекрасный отшельникъ! сердце мое замираетъ!

Топая ногой отъ нетерпѣнія, я набила себѣ мозоли на пяткѣ и сломала одинъ ноготь! Я высылала пастуховъ, которые стояли на горахъ, приложивъ ладонь къ глазамъ, и охотниковъ, что выкрикивали твое имя по лѣсамъ, и соглядатаевъ, обошедшихъ всѣ дороги, спрашивая каждаго: „гдѣ онъ?“

По ночамъ я плакала, отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Мои слезы подъ конецъ промыли два отверстія въ мозаикѣ, какъ всплески моря на скалахъ, ибо я люблю тебя! О, очень люблю!

Прикасается къ его бородѣ.

Улыбнись же, прекрасный отшельникъ! Улыбнись! Я очень весела, увидишь! Я играю на лирѣ, я пляшу какъ пчела, и я знаю милліонъ исторій одна другой забавнѣе.

Ты не повѣришь, что за длинный путь мы совершили. Взгляни на онагровъ у зеленыхъ скороходовъ, они мертвы отъ усталости!

Онагры растянулись на землѣ, не двигаясь.

Три великихъ луны они бѣжали съ одинаковой скоростью, держа въ зубахъ камешекъ, чтобы разсѣкать воздухъ, все время вытянувъ хвостъ, не разгибая колѣнъ, все время вскачь. Такихъ нѣтъ больше! Они достались мнѣ отъ дѣдушки по матери, царя Сагариля, сына Якшаба, сына Яараба, сына Кастана. Ахъ, если бъ они были живы, мы запрягли бы ихъ въ носилки и быстро возвратились бы домой! Но... что съ тобой?.. о чемъ ты думаешь?

Всматривается въ него.

О, когда ты будешь моимъ мужемъ, я тебя разодѣну, я надушу тебя, остригу.

Антоній неподвиженъ, въ остолбенѣніи, блѣденъ какъ мертвецъ.

Ты какъ будто грустенъ; тебѣ жаль своей хижины? Но я все бросила для тебя, — даже царя Соломона, а онъ вѣдь очень мудръ, у него двадцать тысячъ боевыхъ колесницъ и чудная борода!

Я привезла тебѣ свадебные подарки. Выбирай.

Прохаживается между рядами рабовъ и товаровъ.

Вотъ генисаретскій бальзамъ, ладанъ съ мыса Гардефанъ, смолы, киннамона и сильфій, очень вкусный въ соусахъ. Тамъ внутри есть вышивки Ассура, слоновая кость съ Ганга, пурпуръ Элизы; а въ этомъ ящикѣ со снѣгомъ бурдюкъ халибона—это вино хранятъ царямъ Ассиріи,—и его пьютъ цѣльнымъ изъ рога единорога. Вотъ ожерелья, застежки, сѣточки, зонты, золотая пудра Ваасы, касситеросъ изъ Тартесса, голубое дерево изъ Пандіо, бѣлые мѣха изъ Исседоніи, карбункулы съ острова Палезимонда, и зубочистки изъ волосъ тахаса,—вымершаго звѣря, котораго выкапываютъ изъ земли. Эти подушки изъ Эмата, а эта бахрома съ плаща—изъ Пальмиры. На этомъ вавилонскомъ коврѣ есть... но подойди же! Подойди же!

Тянетъ святого Антонія за рукавъ. Онъ противится. Она продолжаетъ:

Эта тонкая ткань, что потрескиваетъ и даетъ искорки, когда трогаешь, знаменитый желтый холстъ отъ кущовъ Бактріи. Имъ нужно сорокъ три переводчика для путешествія. Я закажу тебѣ изъ него платья, которыя ты надѣнешь дома.

Отстегните крючки отъ футляра изъ сикоморы и дайте мнѣ шкатулку слоновой кости, что виситъ на загривкѣ у моего слона!

Изъ ящика вытаскиваютъ что-то круглое, завернутое въ покрывало и подаютъ маленькій ларчикъ, покрытый чеканкой.

Хочешь ты щитъ Джіанъ-бенъ-Джіана, воздвигнувшаго Пирамиды? Вотъ онъ! Онъ составленъ изъ семи кожъ дракона, лежащихъ другъ на другѣ, скрѣпленныхъ алмазными винтами, и нѣкогда ихъ пропитали желчью отцеубійцы. На немъ съ одной стороны изображены всѣ войны, что велись съ изобрѣтенія оружія, а съ другого, всѣ войны, что произойдутъ до конца міра. Молнія отскакиваетъ отъ него, какъ пробковый шарикъ. Я надѣну его тебѣ на руку, и ты пойдешь съ нимъ на охоту.

А если бъ ты зналъ, что у меня въ маленькомъ ящикѣ!

Поверни его, попробуй открыть! Это никому не удастся; обними меня; я тебя научу.

Беретъ святого Антонія за обѣ щеки; онъ отталкиваетъ ее.

Въ ту ночь самъ царь Соломонъ терялъ голову. Наконецъ, мы заключили договоръ. Онъ всталъ, и выходя на цыпочкахъ...

Дѣлаетъ пируэтъ.

Ахъ! Ахъ, прекрасный отшельникъ! Тебѣ не узнать этого! тебѣ не узнать этого!

Потряхиваетъ зонтикомъ, всѣ колокольчики котораго звенятъ.

И у меня много всякихъ другихъ вещей, взгляни! У меня есть сокровища въ галлереяхъ, гдѣ теряешься, какъ въ лѣсу. Мои зимніе дворцы изъ чернаго мрамора, а лѣтніе сплетены изъ тростниковъ. Посреди озеръ величиною съ море у меня есть острова, круглые какъ серебряная монета, усѣянные жемчугомъ, и ихъ прибрежія звучатъ при всплескахъ теплыхъ волнъ, набѣгающихъ на песокъ. Рабы съ моихъ кухонъ берутъ пернатыхъ изъ моихъ птичниковъ и ловятъ рыбу въ моихъ садкахъ. Рѣзчики непрерывно вырѣзаютъ мои изображенія на твердыхъ камняхъ, задыхающіеся литейщики льютъ мои статуи, изготовители ароматовъ смѣшиваютъ сокъ растеній съ уксусами и приготовляютъ тѣста. Мои портнихи кроятъ мнѣ матеріи, ювелиры дѣлаютъ драгоцѣнности, искусныя женщины изобрѣтаютъ для меня прически, и прилежные мастера заливаютъ мои украшенія кипящей смолой, охлаждая ее опахалами. Моихъ служанокъ хватило бы на цѣлый гаремъ, евнуховъ на цѣлое войско. У меня есть войска, у меня есть народы! У меня въ пріемной гвардія карликовъ съ трубами слоновой кости на спинахъ.

Антоній вздыхаетъ.

У меня есть упряжки газелей, четверни слоновъ, сотни паръ верблюдовъ, и кобылы съ такой длинной гривой, что путаются въ ней, когда скачутъ, и стада съ такими огромными рогами, что нужно вырубать лѣса, гдѣ они должны пастись. У меня въ садахъ бродятъ жирафы и достаютъ

мордами до края моей террасы, когда я отдыхаю послѣ обѣда.

Усѣвшись въ раковину, которую везутъ дельфины, я прогуливаюсь по гротамъ, слушая какъ падаютъ капли со сталактитовъ. Я плыву въ край алмазовъ, гдѣ мои друзья маги предлагаютъ мнѣ на выборъ лучшіе; затѣмъ я выхожу на землю и возвращаюсь домой.

Она пронзительно свиститъ,—и большая птица, спускаясь съ неба, садится на верхушку ея прически, съ которой осыпается голубая пудра.

Ея опереніе, оранжеваго цвѣта, состоитъ какъ бы изъ металлическихъ чешуекъ. Маленькая головка съ серебрянымъ хохолкомъ выглядитъ человѣческимъ лицомъ. У ней четыре крыла, ястребиныя лапы и огромный павлиній хвостъ, который она распускаетъ за собой кольцомъ.

Она хватаетъ клювомъ зонтикъ Царицы, покачивается слегка, стремясь къ равновѣсію, потомъ топорщитъ перья и остается неподвижной.

Благодарю, прекрасный Симоргъ-анка! ты указалъ мнѣ, гдѣ скрывался возлюбленный! Благодарю, благодарю, посланникъ моего сердца!

Онъ крылатъ, какъ желаніе. Онъ облетаетъ міръ въ теченіе дня. Вечеромъ онъ возвращается; садится у ногъ моего ложа, разсказываетъ мнѣ, что видѣлъ, о моряхъ съ рыбами и кораблями, проплывавшими внизу, о великихъ безлюдныхъ пустыняхъ, что созерцалъ съ высоты неба, о посѣвахъ, что склонялись по полямъ, и о растеніяхъ на развалинахъ покинутыхъ городовъ.

Въ томленіи ломаетъ руки.

О, если бъ ты захотѣлъ, если бъ ты захотѣлъ!.. У меня есть павильонъ на мысѣ по срединѣ перешейка, между двухъ океановъ. Онъ выложенъ стеклянными пластинками, устланъ черепаховыми чешуйками, и открытъ четыремъ вѣтрамъ неба. Съ верху мнѣ видно, какъ возвращаются мои флоты и взбираются на холмъ народы съ тяжестями на плечахъ. Мы спали бы на пуху нѣжнѣе облаковъ, пили бы прохладные напитки, наполняя ими плоды, и мы смотрѣли бы на солнце сквозь изумруды! Идемъ!

Антоній отступаетъ. Она приближается и говоритъ съ раздраженіемъ:

Какъ? ни богатая, ни завлекающая, ни влюбленная? Тебѣ мало всего этого? ты хочешь сладострастную, жирную, съ хриплымъ голосомъ, огненными волосами и пышнымъ тѣломъ? Предпочитаешь ты холодную, какъ кожа змѣй, или большіе черные глаза, мрачнѣе таинственныхъ пещеръ? смотри, вотъ мои!

Антоній, противъ воли, смотритъ.

Всѣ тѣ, кто попадался на твоей дорогѣ, начиная съ дѣвушки на перекресткѣ, что поетъ подъ фонаремъ, до патриціанки, роняющей лепестки розъ съ высоты носилокъ, все, что ты видѣлъ, всѣ образы твоихъ желаній — требуй ихъ! Я не женщина, я міръ. Мои одежды только чтобы падать, и ты найдешь во мнѣ лѣстницу тайнъ!

Антоній скрежещетъ зубами.

Положивъ свой палецъ на мое плечо, ты ощутишь какъ бы потоки пламени во всемъ существѣ. Обладаніе малѣйшей частью моего тѣла дастъ тебѣ больше живой радости, чѣмъ покореніе имперіи. Приблизь же губы! У моихъ поцѣлуевъ вкусъ плода, который растаетъ въ твоемъ сердцѣ! О! какъ ты забудешься сейчасъ среди моихъ волосъ, вдыхая мою грудь, плѣняясь моимъ станомъ и въ пламени моихъ зрачковъ, въ моихъ объятіяхъ, въ вихрѣ...

Антоній дѣлаетъ крестное знаменіе.

Ты презираешь меня! прощай!

Удаляется, плача, затѣмъ возвращается:

Никакихъ колебаній? а я такъ прекрасна!

Смѣется, и обезьяна, поддерживающая конецъ ея шлейфа, приподымаетъ его.

Ты раскаешься, прекрасный отшельникъ, будешь вздыхать! ты соскучишься! а мнѣ смѣшно! тра-та-та-та! ха-ха-ха-ха!

Уходитъ, закрывъ лицо руками, подпрыгивая на одной ногѣ.

Мимо святого Антонія тянутся рабы, лошади, дромадеры, слонъ, служанки, вновь навьюченные мулы, негритята, обезьяна, зеленые скороходы съ лиліями въ рукахъ;— и Царица Савская удаляется, захлебываясь въ судо-

рожныхъ стонахъ; это похоже на рыданіе или на хохотъ.

III.

Послѣ ея ухода Антоній замѣчаетъ ребенка на порогѣ своей хижины.

Это кто-нибудь изъ слугъ Царицы, думаетъ онъ.

Ребенокъ этотъ ростомъ не больше карлика, но коренастъ какъ Кабиръ, кривобокъ, жалкаго вида. Его неимовѣрно большая голова покрыта сѣдыми волосами; и онъ дрожитъ подъ плохой туникой, держа въ рукѣ свертокъ папируса.

Свѣтъ луны, на которую набѣжало облако, падаетъ на него.

АНТОНІЙ

наблюдаетъ за нимъ издали съ жуткимъ чувствомъ.

Кто ты?

РЕБЕНОКЪ

отвѣчаетъ:

Твой прежній ученикъ Иларіонъ!

АНТОНІЙ.

Ложь! Иларіонъ уже много лѣтъ живетъ въ Палестинѣ.

ИЛАРІОНЪ.

Я вернулся оттуда! да, конечно, это я!

АНТОНІЙ

приближается и разсматриваетъ его.

Но его лицо сіяло, какъ заря, было открыто, радостно. А ты мраченъ и старъ.

ИЛАРІОНЪ.

Долгій трудъ истомилъ меня!

АНТОНІЙ.

И голосъ не тотъ. Въ немъ есть что-то леденящее.

ИЛАРІОНЪ.

Это потому, что я питался горькимъ!

АНТОНІЙ.

А сѣдые волосы?

ИЛАРІОНЪ.

Я столько страдалъ!

АНТОНІЙ.

въ сторону:

Возможно ли?

ИЛАРІОНЪ.

Я не былъ такъ далеко, какъ ты предполагаешь. Отшельникъ Павелъ посѣтилъ тебя въ этомъ году, въ мѣсяцѣ шебарѣ Ровно двадцать дней назадъ Номады принесли тебѣ хлѣба. Позавчера ты просилъ матроса достать тебѣ три шила.

АНТОНІЙ.

Ему извѣстно все!

ИЛАРІОНЪ.

Знай притомъ, что я и не покидалъ тебя никогда. Но ты подолгу совсѣмъ не замѣчаешь меня.

АНТОНІЙ.

Какъ такъ? Правда, въ головѣ моей такой туманъ! Въ особенности сегодня ночью...

ИЛАРІОНЪ.

Предстали всѣ Смертные Грѣхи. Но ихъ жалкія козни рушатся предъ такимъ Святымъ какъ ты.

АНТОНІЙ.

О, нѣтъ! нѣтъ! Ежеминутно я поддаюсь слабости! Почему я не изъ тѣхъ, чьи души всегда безтрепетны и духъ твердъ,— какъ великій Аѳанасій, напримѣръ.

ИЛАРІОНЪ.

Его незаконно рукоположили семь епископовъ!

АНТОНІЙ.

Что же изъ этого? если его доблесть...

ИЛАРІОНЪ.

Ну, полно! гордецъ, жестокій, вѣчно въ происках, и, наконецъ, изгнанъ за корыстолюбіе.

АНТОНІЙ.

Клевета!

ИЛАРІОНЪ.

Ты не будешь отрицать, что онъ хотѣлъ соблазнить Евстафія, хранителя приношеній?

АНТОНІЙ.

Дѣйствительно, говорятъ.

ИЛАРІОНЪ.

Онъ изъ мести сжегъ домъ Арсенія!

АНТОНІЙ.

Увы!

ИЛАРІОНЪ.

На Никейскомъ Соборѣ онъ сказалъ, говоря объ Іисусѣ: „человѣкъ Господа".

АНТОНІЙ.

О, это богохульство!

ИЛАРІОНЪ.

Впрочемъ, онъ такъ ограниченъ, что сознается въ непониманіи природы Слова.

АНТОНІЙ

улыбаясь отъ удовольствія:

Въ самомъ дѣлѣ, его умъ не очень... возвышенъ.

ИЛАРІОНЪ.

Если бы его мѣсто занялъ ты, это было бы большимъ счастьемъ и для твоихъ братьевъ и для тебя. Жизнь вдали отъ всѣхъ нехороша.

АНТОНІЙ.

Напротивъ! Человѣкъ, будучи духомъ, долженъ бѣжать земного тлѣна. Всякое дѣйствіе принижаетъ его. Я желалъ бы совсѣмъ не касаться земли,—даже подошвами ногъ!

ИЛАРІОНЪ.

Ты лицемѣръ и удаляешься въ пустыню, чтобы полнѣй предаться чрезмѣрности своихъ желаній! Ты отказываешься отъ мяса, бань, вина, рабовъ и почестей; но вѣдь взамѣнъ воображеніе доставляетъ тебѣ пиры, ароматы, голыхъ женщинъ и рукоплесканія толпы! Цѣломудріе твое только болѣе тонкій развратъ, а презрѣніе къ міру безсильная злоба на него! Это-то и дѣлаетъ всѣхъ васъ такими унылыми—быть можетъ еще и сомнѣнія. Обладаніе истиной даетъ радость. Развѣ Христосъ былъ печаленъ? Онъ шествовалъ среди друзей, отдыхалъ въ тѣни маслины, шелъ къ мытарю, умножалъ

чаши, прощая грѣшницѣ, исцѣляя всѣ скорби. Ты же сострадаешь только собственному убожеству. Какъ будто угрызеніе совѣсти и дикое безуміе руководитъ тобой, — ты способенъ отвергнуть даже ласку пса, улыбку ребенка.

АНТОНІЙ

разражается рыданьями:

Довольно! довольно! ты слишкомъ взволновалъ мое сердце!

ИЛАРІОНЪ.

Стряхни насѣкомыхъ со своихъ лохмотьевъ! Выйди изъ этой грязи! Твой Богъ не Молохъ, который требуетъ въ жертву тѣла!

АНТОНІЙ.

Однако, страданіе благословенно. Херувимы склоняются, чтобы пріобщиться крови исповѣдниковъ.

ИЛАРІОНЪ.

Тогда восхищайся Монтанистами! они превосходятъ всѣхъ другихъ.

АНТОНІЙ.

Но вѣдь мучениковъ создаетъ истинность ученія!

ИЛАРІОНЪ.

Какъ могутъ они доказать его правду, одинаково свидѣтельствуя и въ пользу заблужденія?

АНТОНІЙ.

Замолчи, ехидна!

ИЛАРІОНЪ.

Это, можетъ быть, не такъ трудно. Увѣщанія друзей, радость, что оскорбляешь народъ, данная клятва, нѣкоторое опьяненіе, тысячи обстоятельствъ помогаютъ имъ.

Антоній удаляется отъ Иларіона. Тотъ слѣдуетъ за нимъ.

Притомъ, этотъ способъ умирать влечетъ большія неудобства. Діонисій, Кипріанъ и Григорій уклонились отъ него. Петръ Александрійскій осудилъ его, и Эльвирскій соборъ...

АНТОНІЙ

затыкаетъ уши.

Не слушаю больше!

ИЛАРІОНЪ

возвышая голосъ:

И вотъ ты впадаешь въ свой обычный грѣхъ—лѣность. Невѣжество есть пѣна гордости. Говорятъ: „Я убѣжденъ, къ чему спорить?“ и презираютъ учителей, философовъ, преданіе, даже текстъ Закона, котораго не знаютъ. Ты думаешь, что мудрость у тебя въ рукахъ?

АНТОНІЙ.

Я всегда ее слышу! Ея гремящія слова наполняютъ мнѣ голову.

ИЛАРІОНЪ.

Усилія понять Бога скорѣе тронутъ его, чѣмъ твои истязанія. Въ насъ цѣнна только жажда Истины. Одна Религія не объясняетъ всего; и разрѣшеніе вопросовъ, которыхъ ты не признаешь, можетъ сдѣлать ее неприступнѣе и выше. Итакъ, для ея спасенья, надо общаться съ ея чадами — иначе Церковь, союзъ вѣрныхъ, стала бы пустымъ звукомъ,— и выслушивать всѣ доводы, не гнушаясь ничѣмъ и никѣмъ. Волшебникъ Валаамъ, поэтъ Эсхилъ и Сивилла Кумская пророчествовали о Спасителѣ. Діонисій Александрійскій получилъ съ Небесъ повелѣніе читать всѣ книги. Святой Климентъ повелѣваетъ поощрять письменность грековъ. Гермасъ былъ обращенъ призракомъ женщины, которую нѣкогда любилъ.

АНТОНІЙ.

Какая властная рѣчь! Мнѣ кажется, что ты становишься выше...

Дѣйствительно, тѣло Иларіона все увеличивается; и Антоній, чтобы не видѣть его больше, закрываетъ глаза.

ИЛАРІОНЪ.

Успокойся, добрый отшельникъ!

Сядемъ вотъ здѣсь, на этомъ большомъ камнѣ, — какъ прежде, когда при первомъ проблескѣ дня я привѣтствовалъ тебя и называлъ „ясной звѣздой утра“; а ты сейчасъ же начиналъ свои поученія. Они не окончены. Луна достаточно свѣтла. Я слушаю.

Вынимаетъ изъ-за пояса очиненную тростинку; и скрестивъ на землѣ ноги, со свиткомъ папируса въ рукѣ, подымаетъ взоръ на святого Антонія, который сидитъ рядомъ, попрежнему склонивъ голову.

Послѣ минутнаго молчанія Иларіонъ продолжаетъ:

Слово Божіе, не правда ли, подтверждено намъ чудесами? Однако, ихъ производили маги Фараона; могутъ производить и другіе обманщики; при этомъ можно впасть въ заблужденіе. Итакъ, что же такое чудо? Событіе, которое кажется намъ какъ бы внѣ природы. Но знаемъ ли мы все ея могущество? и изъ того, что нѣчто обыденное не удивляетъ насъ, слѣдуетъ ли, что мы его понимаемъ?

АНТОНІЙ.

Это неважно! нужно вѣрить Писанію!

ИЛАРІОНЪ.

Святой Павелъ, Оригенъ и многіе другіе понимали его не дословно; но если объяснять аллегоріями, оно дѣлается достояніемъ немногихъ и очевидность истины теряется. Какъ быть?

АНТОНІЙ.

Положиться на Церковь!

ИЛАРІОНЪ.

Значитъ, Писаніе безполезно?

АНТОНІЙ.

Ничуть! хотя въ Ветхомъ Завѣтѣ, правда, есть... неясности... Зато Новый сіяетъ чистымъ свѣтомъ.

ИЛАРІОНЪ.

Однако, у Матѳея ангелъ благовѣстія является Іосифу, а у Луки—Маріи. Помазаніе Іисуса женщиною происходитъ по первому евангелисту въ началѣ его общественнаго служенія, а по тремъ остальнымъ незадолго до смерти. Напитокъ, предлагаемый на Голгоѳѣ, у Матѳея уксусъ съ желчью, у Марка вино и мирра. По Лукѣ и Матѳею, апостолы не должны брать ни серебра, ни сумы, даже обуви и посоха; у Марка, напротивъ, Іисусъ не позволяетъ имъ имѣть ничего кромѣ обуви и посоха. Я теряюсь!

АНТОНІЙ

съ изумленіемъ:

Въ самомъ дѣлѣ... въ самомъ дѣлѣ...

ИЛАРІОНЪ.

Касаясь кровоточивой, Іисусъ обернулся, говоря: „Кто прикоснулся ко мнѣ?“ Значитъ, Онъ не зналъ, кто до него дотронулся? Это противорѣчитъ всевѣдѣнію Іисуса. Если гробницу охраняли стражи, женщинамъ не нужно было заботиться о помощи, чтобъ поднять камень этой гробницы. Значитъ, отсутствовали стражи, или святыя жены не были тамъ. Въ Эммаусѣ онъ вкушаетъ со своими учениками и даетъ имъ осязать свои раны. Это человѣческое тѣло, матеріальный предметъ, вѣсомый, и однако онъ проходитъ сквозь стѣны. Развѣ это возможно?

АНТОНІЙ.

Нужно было бы много времени, чтобы тебѣ отвѣтить!

ИЛАРІОНЪ.

Зачѣмъ сходитъ на него Святой Духъ, разъ онъ Сынъ? Для чего ему крещеніе, если онъ Слово? Какъ могъ Дьяволъ искушать его, Бога?

Развѣ эти мысли никогда тебя не посѣщали?

АНТОНІЙ.

О, да!.. часто! Заглушенныя или бѣснуясь, онѣ живутъ въ моемъ сознаніи. Я сокрушаю ихъ, онѣ приходятъ вновь, душатъ меня; и по временамъ мнѣ кажется, что я проклятъ.

ИЛАРІОНЪ.

Тогда тебѣ не для чего служить Богу?

АНТОНІЙ.

Я всегда жажду обожать Его!

Послѣ долгаго молчанія

ИЛАРІОНЪ

продолжаетъ:

Но внѣ догмы намъ дана полная свобода исканій. Хочешь ли ты знать іерархію Ангеловъ, магическую силу Чиселъ, смыслъ зародышей и метаморфозъ?

АНТОНІЙ.

Да, да! мысль моя рвется изъ тюрьмы. Мнѣ кажется, что напрягая силы я смогу. По временамъ даже, на мгновеніе, я какъ бы отдѣляюсь отъ земли; затѣмъ, снова падаю!

ИЛАРІОНЪ.

Тайна, которую ты ищешь, хранится мудрыми. Они живутъ въ далекой странѣ, сидятъ подъ гигантскими деревьями, въ бѣлыхъ одеждахъ и спокойны какъ Боги. Ихъ питаетъ теплый воздухъ. Леопарды ходятъ вокругъ по лужайкамъ. Журчанье ручьевъ и ржаніе единороговъ сливается съ ихъ голосами. Ты ихъ услышишь; и ликъ Невѣдомаго откроется тебѣ!

АНТОНІЙ

вздыхая:

Путь дологъ, а я старъ!

ИЛАРІОНЪ.

О! знающіе люди не такъ рѣдки! Есть даже совсѣмъ близко отъ тебя, здѣсь!—Идемъ!

IV.

И передъ Антоніемъ огромная базилика.

Изъ глубины падаетъ удивительный свѣтъ, какъ бы отъ многоцвѣтнаго солнца. Онъ освѣщаетъ безконечное множество людскихъ головъ, которыя наполняютъ нефъ и переливаются между колоннъ, къ дальнимъ угламъ,—гдѣ въ деревянныхъ отдѣленіяхъ видны алтари, ложа, цѣпочки изъ маленькихъ голубыхъ камней и изображенныя на стѣнахъ созвѣздія.

Въ толпѣ, кое-гдѣ, останавливаются группы. Мужчины, стоя на скамьяхъ, проповѣдуютъ, поднявъ палецъ; другіе молятся, скрестивъ руки, лежатъ на полу, поютъ гимны или пьютъ вино; за однимъ столомъ вѣрные совершаютъ вечерю; мученики распеленываютъ части тѣла, показывая раны; старцы, опершись на посохи, разсказываютъ о своихъ странствіяхъ.

Среди нихъ есть германцы, обитатели Ѳракіи и Галліи, Скиѳіи и Индіи—со снѣгомъ на бородахъ, перьями въ во-

лосахъ, иглами въ бахромахъ одеждъ, съ почернѣвшими отъ пыли сандаліями и сожженной солнцемъ кожей. Мелькаютъ всевозможныя одежды, пурпурные плащи и платья изо льна, расшитые далматики, военные шерстяные плащи, матросскія шапочки, митры епископовъ. Глаза у всѣхъ сверкаютъ. Они похожи на палачей или на евнуховъ.

Иларіонъ подвигается впередъ среди нихъ. Всѣ привѣтствуютъ его. Антоній, прижимаясь къ его плечу, наблюдаетъ за ними. Онъ замѣчаетъ много женщинъ. Нѣкоторыя одѣты по-мужски, съ остриженными волосами; ему становится жутко.

ИЛАРІОНЪ.

Это христіанки, обратившія своихъ мужей. Впрочемъ, женщины всегда за Іисуса, даже язычницы, доказательство— Прокула, жена Пилата и Поппея, любовница Нерона. Не бойся! впередъ!

Безпрерывно появляются новые.

Ихъ все больше, они раздваиваются, легкіе какъ тѣни, производя сильный шумъ, гдѣ сливается рычанье бѣшенства, стоны любви, гимны и брань.

АНТОНІЙ

тихо:

Чего они хотятъ?

ИЛАРІОНЪ.

Господь сказалъ: „Я буду говорить вамъ еще о многомъ“. Они знаютъ это многое.

И онъ толкаетъ его къ золотому трону съ пятью ступенями, гдѣ, окруженный девяносто пятью учениками, которые умащены масломъ, худы и очень блѣдны, возсѣдаетъ пророкъ Манесъ,—прекрасный какъ архангелъ, неподвижный какъ статуя, въ индійскомъ одѣяніи, съ карбункулами въ заплетенныхъ волосахъ; въ лѣвой его рукѣ книга съ рисунками, подъ правой глобусъ. На рисункахъ изображены созданія, дремавшія въ хаосѣ. Антоній наклоняется, чтобы взглянуть.

МАНЕСЪ

поворачиваетъ свой глобусъ; и соразмѣряя слова съ лирой, которая звучитъ кристально, произноситъ:

Земля небесная у высшаго предѣла, земля смертная у

низшаго предѣла. Ее поддерживаютъ два ангела, Спленди-тененсъ и Омофоръ съ шестью лицами.

На вершинѣ самаго высокаго неба пребываетъ безстрастное Божество; ниже, лицомъ къ лицу, Сынъ Божій и Князь тьмы.

Когда тьма приблизилась къ его царству, Богъ извлекъ изъ своей сущности силу, которая произвела перваго человѣка; и онъ надѣлилъ его пятью свойствами. Но демоны тьмы отняли у него одну часть, и эта часть—душа.

Есть только одна душа—разлитая повсюду, какъ воды рѣки, у которой много рукавовъ. Это она вздыхаетъ въ вѣтрѣ, скрежещетъ въ мраморѣ подъ пилой, воетъ голосомъ моря; и она плачетъ молочными слезами, когда срываютъ листья смоковницы.

Души, покинувъ этотъ міръ, переселяются на звѣзды, которыя одушевлены.

АНТОНІЙ

смѣется.

Какая безсмысленная выдумка!

ЧЕЛОВѢКЪ

безъ бороды и суроваго вида:

Почему?

Антоній хочетъ отвѣчать. Но Иларіонъ шепчетъ ему, что этотъ человѣкъ великій Оригенъ; а

МАНЕСЪ

продолжаетъ:

Сначала онѣ останавливаются на лунѣ, гдѣ очищаются. Затѣмъ восходятъ къ солнцу.

АНТОНІЙ

тихо:

Не знаю... что намъ мѣшаетъ... вѣрить въ это.

МАНЕСЪ.

Цѣль всякаго созданія есть освобожденіе небеснаго луча, заключеннаго въ матеріи. Онъ улетаетъ съ большей легкостью въ запахахъ, пряностяхъ, ароматѣ стараго вина, въ легкихъ вещахъ, которыя похожи на мысли. Но дѣйствія жизни задерживаютъ его. Убійца возродится въ тѣлѣ се-

лефа, умерщвляющій животное станетъ этимъ животнымъ; если ты сажаешь виноградную лозу, ты будешь связанъ ея вѣтвями. Питаніе заглушаетъ его. Итакъ, воздерживайтесь! поститесь!

ИЛАРІОНЪ.

Они умѣренны, какъ ты видишь!

МАНЕСЪ.

Его много въ мясѣ, меньше въ травахъ. Впрочемъ, Чистые, благодаря своимъ заслугамъ, лишаютъ растительность этой свѣтоносной части и она восходитъ къ своему очагу. Животныя, размножаясь, заточаютъ ее въ тѣлѣ. Итакъ, бѣгите женщинъ!

ИЛАРІОНЪ.

Удивляйся ихъ воздержанію!

МАНЕСЪ.

Или, лучше, дѣлайте такъ, чтобы онѣ были безплодны.— Для души лучше пасть на землю, чѣмъ изнывать въ тѣлесныхъ путахъ!

АНТОНІЙ.

О, мерзость!

ИЛАРІОНЪ.

Что значитъ рядъ этихъ гнусностей? Вѣдь Церковь же сдѣлала изъ брака таинство!

САТУРНИНЪ

въ сирійской одеждѣ:

Онъ питаетъ прискорбный строй жизни! Отецъ, желая наказать мятежныхъ ангеловъ, приказалъ имъ создать міръ. Христосъ явился, чтобы Богъ іудеевъ, который былъ однимъ изъ этихъ ангеловъ...

АНТОНІЙ.

Ангелъ? Онъ! Творецъ!

КЕРДОНЪ.

Развѣ онъ не желалъ убить Моисея, обмануть своихъ пророковъ, соблазнить народы, распространить ложь и идолопоклонство?

МАРКІОНЪ.

Конечно, Творецъ не есть истинный Богъ!

СВЯТОЙ КЛИМЕНТЪ АЛЕКСАНДРІЙСКІЙ.

Матерія вѣчна!

ВАРДЕСАНЪ,

одѣтый вавилонскимъ магомъ:

Она была произведена Семью планетными Духами.

ГЕРНІАНЪ.

Ангелы создали души!

ПРИСЦИЛЛІАНЪ.

Дьяволъ создалъ міръ!

АНТОНІЙ

отскакиваетъ назадъ:

О, ужасъ!

ИЛАРІОНЪ

поддерживая его:

Ты слишкомъ скоро отчаиваешься! Ты плохо понимаешь ихъ ученіе. Вотъ нѣкто, воспринявшій его отъ Ѳеодата, друга святого Павла. Выслушай его!

И по знаку Иларіона выступаетъ

ВАЛЕНТИНЪ

въ туникѣ изъ серебристой ткани; у него хриплый голосъ и острый черепъ:

Міръ есть созданіе безумнаго Бога.

АНТОНІЙ

опускаетъ голову.

Созданіе безумнаго Бога!..

Послѣ долгаго молчанія:

Какимъ образомъ?

ВАЛЕНТИНЪ.

Совершеннѣйшее изъ существъ, Эоновъ, Бездна, почивала въ лонѣ Глубины съ Мыслью. Изъ ихъ союза возникъ Умъ, подругой котораго стала Истина.

Умъ и Истина породили Слово и Жизнь, тѣ, въ свою очередь, Человѣка и Церковь;—и это составляетъ восемь Эоновъ!

Считаетъ по пальцамъ.

Слово и Истина произвели десять другихъ Эоновъ, то-есть пять паръ. Человѣкъ и Церковь—двѣнадцать другихъ, и между ними Параклета и Вѣру, Надежду и Милосердіе, Совершенство и Мудрость, Софію.

Совокупность этихъ тридцати Эоновъ составляетъ Плэрому, или Всебытіе Бога. Такимъ образомъ, какъ эхо голоса, который удаляется, какъ струйки улетающаго благоуханія, какъ свѣтъ заходящаго солнца, постепенно понижаются Могущества, исшедшія отъ Начала.

Но Софія, желая познать Отца, устремилась за предѣлы Плэромы; — и тогда Слово создало другую пару, Христа и Святого Духа, который соединилъ между собой Эоны; и всѣ вмѣстѣ они дали Іисуса, цвѣтокъ Плэромы.

Между тѣмъ, порывъ Софіи къ бѣгству оставилъ въ пустотѣ ея образъ, дурную сущность, Ахарамоеъ. Спаситель сжалился надъ нею, освободилъ ее отъ страстей; — и изъ улыбки освобожденной Ахарамоеъ родился свѣтъ; ея слезы обратились въ воды, ея скорбь произвела черную матерію. Ахарамоеъ стала матерью Деміурга, сотворившаго міры, небеса и Дьявола. Онъ обитаетъ гораздо ниже Плэромы, даже не замѣчая ее, такъ что считаетъ себя истиннымъ Богомъ, и повторяетъ устами своихъ пророковъ: „Нѣтъ иного Бога, кромѣ меня!“ Затѣмъ онъ создалъ человѣка, и бросилъ ему въ душу духовныя сѣмена; это была Церковь, отблескъ другой Церкви, обитавшей въ Плэромѣ.

Ахарамоеъ, въ нѣкій день, достигнувъ высшей области, соединится со Спасителемъ; огонь, скрытый въ мірѣ, уничтожитъ всю матерію, пожретъ самъ себя, и люди, сдѣлавшись чистыми духами, обручатся съ ангелами!

ОРИГЕНЪ.

Тогда Демонъ будетъ побѣжденъ, и начнется Царство Божіе!

Антоній сдерживаетъ крикъ; и тотчасъ его беретъ за локоть

ВАСИЛИДЪ.

Высшее Существо съ безконечными излученіями называется Абраксасъ, а Спаситель со всѣми своими добродѣте-

лями Каулакау, иначе линія надъ линіей, прямизна надъ прямизной.

Силу Каулакау получаютъ съ помощью нѣкоторыхъ словъ, написанныхъ на этомъ халцедонѣ, чтобы облегчить память.

И онъ показываетъ у себя на шеѣ камешекъ, на которомъ вырѣзаны причудливыя строки.

Тогда ты будешь перенесенъ въ Невидимое; и ставъ выше закона, ты будешь презирать все, даже добродѣтель.

Мы же, Чистые, мы должны бѣжать страданія, по примѣру Каулакау.

АНТОНІЙ.

Какъ? а крестъ?

ЭЛКЕСАИТЫ

въ гіацинтовыхъ платьяхъ отвѣчаютъ ему:

Скорбь, ничтожество, проклятіе и угнетеніе нашихъ отцовъ уничтожены благодаря пришествію посланнаго!

Можно отрицать Христа низшаго, человѣка-Іисуса; но нужно поклоняться другому Христу, родившемуся въ его лицѣ изъ-подъ крыла Голубицы.

Почитайте бракъ! Духъ Святой Женскаго рода!

Иларіонъ исчезъ; и Антоній, тѣснимый толпой, оказывается передъ

КАРПОКРАТІАНАМИ,

которые расположились съ женщинами на багряныхъ подушкахъ:

Прежде чѣмъ возвратиться къ Единому, ты пройдешь черезъ рядъ условій и дѣйствій. Чтобы избавиться отъ мрака, исполняй отнынѣ его дѣла! Супругъ скажетъ сейчасъ супругѣ: „Окажи милость брату“, и она поцѣлуетъ тебя.

НИКОЛАИТЫ

сидятъ вокругъ дымящагося кушанья:

Это идоложертвенное мясо; попробуй! Отступничество дозволено, когда сердце чисто. Насыщай тѣло тѣмъ, чего оно требуетъ. Старайся истощить его распутствомъ! Пруникосъ, мать Неба, погрязала въ безстыдствахъ.

Съ

МАРКОСІАНЪ

въ золотыхъ кольцахъ струится бальзамъ:

Приди къ намъ, чтобы соединиться съ Духомъ!

Приди къ намъ, чтобы испить безсмертія!

И одинъ изъ нихъ показываетъ ему, за пологомъ, тѣло человѣка съ головой осла. Это изображеніе Саваоѳа, отца Дьявола. Въ знакъ ненависти онъ плюетъ на него.

Другой открываетъ очень низкое ложе, усыпанное цвѣтами и говоритъ:

Сейчасъ исполнятся духовные браки.

У третьяго хрустальная чаша, онъ взываетъ; въ ней появляется кровь.

А! вотъ она! вотъ она! кровь Христова!

Антоній отскакиваетъ. Но его обрызгиваютъ водой изъ какого-то чана.

ГЕЛЬВИДІАНЕ

бросаются туда, головой внизъ и бормочутъ:

Человѣкъ, возрожденный крещеніемъ, безгрѣшенъ!

Затѣмъ онъ проходитъ вблизи большого огня, гдѣ грѣются адамиты, совершенно голые, подражая райской чистотѣ; и онъ сталкивается съ

МЕССАЛІАНАМИ

которые валяются на землѣ, въ полудремотѣ, оцѣпенѣвъ:

О! дави насъ, если хочешь, мы не двинемся! Трудъ есть грѣхъ, всякое занятіе скверна!

За ними отвратительные

ПАТЕРНІАНЕ

мужчины, женщины и дѣти, всѣ вмѣстѣ на кучѣ грязи, подымаютъ противныя лица, испачканныя виномъ:

Низшія части тѣла, созданныя Дьяволомъ, ему и принадлежатъ. Пейте, ѣшьте, распутничайте!

ЭТІЙ.

Преступленія суть потребности, которыя ниже взгляда Бога!

Но вдругъ изъ ихъ толпы выскакиваетъ

МУЖЧИНА

въ карѳагенскомъ плащѣ, со связкой ремней въ рукѣ; и стегая безъ разбору направо и налѣво, бѣшено кричитъ:

А! лгуны, разбойники, симоніане, еретики и демоны! черви школъ, подонки ада! Этотъ, Маркіонъ—матросъ изъ Синопа, отлученный за кровосмѣшеніе; Карпократа изгнали какъ

мага; Этій укралъ свою любовницу, Николай продавалъ жену; а Манесъ, называющій себя Буддой, и имя котораго Кубрикъ, былъ заживо ободранъ остріемъ тростника, такъ что его ссохшаяся кожа качается на воротахъ Ктезифона!

АНТОНІЙ

узнаетъ Тертулліана, и бросается къ нему.

Учитель! ко мнѣ! ко мнѣ!

ТЕРТУЛЛІАНЪ

продолжая:

Разбивайте иконы! закрывайте лица дѣвушекъ! Молитесь, поститѣсь, плачьте, умерщвляйте плоть! прочь философію! прочь книги! послѣ Іисуса знаніе безполезно!

Никого нѣтъ; и Антоній видитъ вмѣсто Тертулліана женщину, которая сидитъ на каменной скамьѣ.

Она рыдаетъ, прислонивъ голову къ колоннѣ, съ распущенными волосами, поникнувъ тѣломъ въ темной длинной одеждѣ.

Затѣмъ, они оказываются рядомъ, вдалекѣ отъ толпы;— и настаетъ молчаніе, необычайный миръ, какъ въ лѣсахъ, когда замираетъ вѣтеръ и листья сразу затихаютъ.

Женщина эта прекрасна, хотя поблекла и мертвенной блѣдности. Они глядятъ другъ на друга; и глаза ихъ обмѣниваются какъ бы волнами мыслей, тысячами старыхъ, неясныхъ, глубокихъ чувствъ. Наконецъ,

ПРИСЦИЛЛА

произноситъ:

Я была въ послѣднемъ отдѣленіи бань, и дремала подъ шумъ улицъ.

Вдругъ я услышала возгласы. Кричали: „Это магъ! это Дьяволъ!“ И толпа остановилась передъ нашимъ домомъ, противъ храма Эскулапа. Я поднялась на рукахъ до высоты отдушины.

На перистилѣ храма стоялъ человѣкъ съ желѣзнымъ ошейникомъ на шеѣ. Онъ бралъ угли съ жаровни и проводилъ себѣ на груди широкія полосы, взывая: „Іисусъ, Іисусъ!“ Народъ говорилъ: „Это не дозволено! побьемъ его камнями!“ А онъ продолжалъ. Это было неслыханно, очаровательно. Широкіе какъ солнце цвѣты вращались передъ моими глазами, и я слышала въ пространствахъ звонъ золотой арфы.

День угасъ. Перекладины выскользнули изъ моихъ рукъ, тѣло ослабло, и когда онъ увелъ меня въ свой домъ...

АНТОНІЙ.

Но о комъ ты говоришь?

ПРИСЦИЛЛА.

О Монтанѣ, разумѣется!

АНТОНІЙ.

Его нѣтъ въ живыхъ.

ПРИСЦИЛЛА.

Неправда!

ГОЛОСЪ.

Нѣтъ, Монтанъ живъ!

Антоній оборачивается; и рядомъ съ нимъ, на скамьѣ, съ другой стороны, сидитъ вторая женщина—бѣлокурая, и еще блѣднѣе, съ припухшими вѣками, какъ будто она долго плакала. Не дожидаясь вопроса, она говоритъ:

МАКСИМИЛЛА.

Мы возвращались изъ Тарса горами, какъ вдругъ, на поворотѣ дороги, увидѣли человѣка подъ смоковницей.

Онъ кричалъ издали: „Остановитесь“. И онъ обрушился на насъ съ бранью. Сбѣжались рабы. Онъ разразился смѣхомъ. Лошади заупрямились. Всѣ меделянки зарычали.

Онъ стоялъ. Потъ стекалъ по его лицу. Вѣтеръ хлопалъ его плащемъ.

Называя насъ по именамъ, онъ осуждалъ тщету нашей жизни, позоръ нашихъ тѣлъ;—и онъ подымалъ кулакъ въ сторону дромадеровъ, ибо подъ нижней челюстью у нихъ висятъ серебряные колокольчики.

Его неистовство вливало ужасъ въ мое сердце; но это была какъ бы страсть, которая баюкала, опьяняла.

Сначала приблизились рабы. „Господинъ, сказали они, животныя устали“; потомъ подошли женщины: „Намъ страшно“, и рабы удалились. Потомъ дѣти заплакали: „Мы голодны!“. И такъ какъ женщины не получили отвѣта, онѣ исчезли.

А онъ говорилъ. Я почувствовала, что около меня есть

кто-то. Это былъ мужъ; я слушала другого. Онъ ползъ между камнями, восклицая: „Ты покидаешь меня?“ и я отвѣтила: „Да! уйди!“—и пошла за Монтаномъ.

АНТОНІЙ.

За евнухомъ!

ПРИСЦИЛЛА.

А, это удивляетъ тебя, грубое сердце! Однако, Магдалина, Іоанна, Марѳа и Сусанна не раздѣляли ложа Спасителя. Души, еще лучше чѣмъ тѣла, могутъ соединяться въ страсти. Чтобы сохранить чистою Эвстолію, епископъ Леонтій изувѣчилъ себя,—любя больше свою любовь, чѣмъ полъ. Притомъ это не моя вина; нѣкій духъ принуждаетъ меня къ этому; Сотасъ не могъ меня излѣчить. А между тѣмъ онъ жестокъ! Что мнѣ за дѣло! Я послѣдняя изъ пророчицъ; и послѣ меня настанетъ конецъ свѣта.

МАКСИМИЛЛА.

Онъ осыпалъ меня подарками. Впрочемъ кто любитъ его съ такой силой,—и кого онъ любитъ такъ?

ПРИСЦИЛЛА.

Ложь! меня!

МАКСИМИЛЛА.

Нѣтъ, меня!

Онѣ дерутся.

Между ихъ плечъ показывается голова негра.

МОНТАНЪ

въ черномъ плащѣ, который застегивается двумя костями мертвеца:

Успокойтесь, мои голубицы! Неспособные къ земному счастью, мы живемъ, благодаря этому союзу, въ полнотѣ духовной. За вѣкомъ Отца вѣкъ Сына; и я предвѣщаю третій —Параклета. Его свѣтъ сошелъ на меня въ тѣ сорокъ ночей, когда Іерусалимъ небесный блисталъ на небѣ надъ моимъ домомъ въ Пепузѣ.

Ахъ, какъ вы кричите въ томленіи, когда бичи хлещутъ васъ! какъ ваши страждущіе члены предлагаются моимъ ласкамъ! какъ изнемогаете вы на моей груди отъ неосу-

ществляемой любви! она такъ сильна, что открыла вамъ міры; и вы можете теперь видѣть души.

Антоній дѣлаетъ жестъ удивленія.

ТЕРТУЛЛІАНЪ,

вновь появившійся рядомъ съ Монтаномъ:

Безъ сомнѣнія, такъ какъ у души есть тѣло,—то, у чего нѣтъ тѣла, не существуетъ.

МОНТАНЪ.

Чтобы утончить ее, я предписалъ много истязаній, три поста въ годъ, и на каждую ночь молитвы, при которыхъ закрываютъ ротъ,—изъ опасенія чтобы дыханіе, улетая, не помутняло мысль. Нужно воздерживаться отъ вторыхъ браковъ, а лучше вообще отъ брака! Съ женщинами грѣшили ангелы.

АРХОНТИКИ

во власяницахъ изъ конскаго волоса:

Спаситель сказалъ: „Я пришелъ разрушить дѣло Женщины".

ТАТІАНИТЫ

во власяницахъ изъ камыша:

Дерево зла это она! Одежды изъ шкуръ вотъ наше тѣло.

И, подвигаясь все въ томъ же направленіи, Антоній встрѣчаетъ

ВАЛЕЗІАНЪ,

распростертыхъ по полу, съ кровавыми пятнами подъ туникой, въ нижней части живота.

Они предлагаютъ ему ножъ:

Дѣлай какъ Оригенъ и какъ мы! Или ты боишься боли, трусъ? Или тебя удерживаетъ любовь къ плоти, лицемѣръ?

И пока онъ смотритъ какъ они дергаются, вытягиваясь на спинѣ, въ лужахъ крови, мимо проходятъ

КАИНИТЫ,

у которыхъ волосы завязаны гадюкой; они выкликаютъ ему:

Слава Каину! Слава Содому! слава Іудѣ!

Каинъ создалъ племя сильныхъ. Содомъ ужаснулъ землю своею карой; и благодаря Іудѣ Богъ спасъ міръ!—Да, Іуда! безъ него нѣтъ смерти и нѣтъ искупленія!

Они исчезаютъ въ ватагѣ

ЦИРКУМЦЕЛЛІОНОВЪ

одѣтыхъ въ волчьи шкуры, въ вѣнкахъ изъ терновника, съ желѣзными палицами.

Давите плодъ! возмущайте источникъ! топите дѣтей! Грабьте богатаго, который счастливъ, который много ѣстъ! Бейте бѣднаго, который завидуетъ попонѣ осла, пиру собаки, гнѣзду птицы и страдаетъ, что другіе не такъ ничтожны какъ онъ.

Мы, Святые, чтобы приблизить конецъ свѣта, отравляемъ, жжемъ, убиваемъ!

Спасеніе только въ мукѣ. Мы создаемъ себѣ муку. Мы срываемъ клещами кожу со своихъ головъ, мы ложимся подъ плугъ, бросаемся въ пасть печей!

Долой крещеніе! долой евхаристію! долой бракъ! проклятіе всему!

И вотъ повсюду въ базиликѣ безумства удваиваются.

Аудиты мечутъ стрѣлами въ Дьявола; Коллиридиты бросаютъ къ потолку голубыя покрывала; Аскиты простираются передъ бурдюкомъ; Маркіониты помазываютъ мертвеца масломъ. Женщина рядомъ съ Апеллесомъ, чтобы лучше изъяснить его ученіе, показываетъ круглый хлѣбецъ въ бутылкѣ; другая раздаетъ среди Сампсеянъ пыль со своихъ сандалій какъ просфору. На ложѣ Маркосіанъ, устланномъ розами, обнимаются двое любовниковъ.

Циркумцелліоны умерщвляютъ другъ друга, Валезіане хрипятъ, Вардесанъ поетъ, Карпократъ танцуетъ, Максимилла и Присцилла громко вадыхаютъ;—а лжепророчица изъ Каппадокіи, вся голая, облокотясь на льва и потрясая тремя факелами, выкрикиваетъ Страшный Призывъ.

Колонны колеблются, какъ стволы деревьевъ, амулеты на шеяхъ Ересіарховъ перекрещиваются огненными линіями, созвѣздія въ часовняхъ движутся и стѣны разступаются подъ плескомъ толпы, каждая голова которой—стремительная, ревущая волна.

Между тѣмъ,—изъ нѣдръ этихъ криковъ раздается при взрывахъ смѣха пѣснь, гдѣ снова слышится имя Христа.

Это люди изъ простонародья, всѣ они бьютъ въ ладоши, соблюдая тактъ. Среди нихъ

АРІЙ

въ одеждѣ дьякона.

Безумцы, возстающіе на меня, берутся объяснить безсмысленное; и чтобы погубить ихъ совершенно, я сочинилъ небольшія пѣсенки, которыя такъ забавны, что ихъ знаютъ наизусть на мельницахъ, въ кабачкахъ и гаваняхъ.

Тысячу разъ нѣтъ! Сынъ не совѣченъ Отцу, и не единосущенъ! Иначе онъ не сказалъ бы—„Отче, да минуетъ меня чаша сія!—Что ты называешь меня благимъ? Никто не благъ, какъ только одинъ Богъ.—Восхожу къ Богу моему и Богу вашему!“ и другихъ словъ, указывающихъ, что онъ созданъ. Это видно, кромѣ того, изъ всѣхъ его названій: агнецъ, пастырь, родникъ, мудрость, сынъ человѣческій, пророкъ, добрый путь, краеугольный камень!

САВЕЛЛІЙ.

Я же утверждаю, что оба они одно.

АРІЙ.

Антіохійскій соборъ установилъ обратное.

АНТОНІЙ.

Что же такое Слово?.. Кто былъ Іисусъ?

ВАЛЕНТИНІАНЕ.

Супругъ раскаявшейся Ахарамоеъ!

СИѲІАНЕ.

Симъ, сынъ Ноя!

ѲЕОДОТІАНЕ.

Мельхиседекъ!

МЕРИНТІАНЕ.

Онъ былъ просто человѣкъ!

АПОЛЛИНАРИСТЫ.

Онъ принялъ его видъ! онъ притворно страдалъ.

МАРКЕЛЪ АНКИРСКІЙ.

Это проявленіе Отца!

ПАПА КАЛИКСТЪ.

Отецъ и Сынъ два образа единаго Бога!

МЕТОДІЙ.

Онъ былъ сначала въ Адамѣ, затѣмъ въ человѣкѣ!

КЕРИѲЪ.

И онъ воскреснетъ!

ВАЛЕНТИНЪ.

Немыслимо,—тѣло его небесно!

ПАВЕЛЪ САМОСАТСКІЙ.

Онъ сталъ Богомъ только послѣ крещенія!

ГЕРМОГЕНЪ.

Его жилище—солнце!

И всѣ ересіархи окружаютъ Антонія, который плачетъ, закрывъ лицо руками. Къ нему подходитъ

ІУДЕЙ

съ красной бородой, испятнанной проказой кожей, и дико смѣется:

Его душа была душой Исава! Онъ страдалъ беллерофонтовой болѣзнью; а его мать, продавщица ароматовъ, отдалась Пантеру, римскому солдату, на снопахъ маиса, вечеромъ во время жатвы.

АНТОНІЙ

быстро подымаетъ голову, молча оглядываетъ ихъ; затѣмъ, надвигаясь прямо на нихъ:

Ученые, маги, епископы и діаконы, люди и призраки, прочь! прочь! Всѣ вы обманъ!

ЕРЕСІАРХИ.

Наши мученики больше мученики чѣмъ твои, наши молитвы труднѣе, порывы любви выше, восторги такъ же долги.

АНТОНІЙ.

Но нѣтъ откровенія! нѣтъ доказательствъ!

Тогда всѣ потрясаютъ въ воздухѣ свитками папируса, деревянными дощечками, кусками кожи, полосами тканей;— и, толкая другъ друга, кричатъ:

КЕРИНѲІАНЕ.

Вотъ Евангеліе іудеевъ!

МАРКІОНИТЫ.

Евангеліе Господа!

МАРКОСІАНЕ.

Евангеліе Евы!

ЭНКРАТИТЫ.

Евангеліе Ѳомы!

КАИНИТЫ.

Евангеліе Іуды!

ВАСИЛИДЪ.

Трактатъ о присоединенной душѣ!

МАНЕСЪ.

Пророчество Баркуфа!

Антоній отбивается, выскальзываетъ отъ нихъ;—и замѣчаетъ въ углу, совсѣмъ въ тѣни

СТАРЫХЪ ЕВІОНИТОВЪ,

изсохшихъ какъ муміи, съ угасшимъ взоромъ, бѣлыми бровями.

Они говорятъ дрожащимъ голосомъ:

Мы знали его, да, и мы знали сына плотника! Онъ былъ намъ ровесникомъ, мы жили на той же улицѣ. Онъ забавлялся лѣпкой маленькихъ птицъ изъ грязи и не боялся остраго края абаки; помогалъ работать отцу, или сматывалъ матери клубки крашеной шерсти. Затѣмъ совершилъ путешествіе въ Египетъ, откуда вывезъ великія тайны. Мы были въ Іерихонѣ, когда онъ встрѣтился съ пожирателемъ саранчи. Они бесѣдовали вполголоса, такъ что нельзя было ничего услышать. Но съ этого именно времени онъ нашумѣлъ въ Галилеѣ и на его счетъ стали разсказывать много басенъ.

Подрагивая продолжаютъ:

Мы знали его, да, и мы! мы знали его!

АНТОНІЙ.

Ахъ, говорите еще! еще! Какое было у него лицо?

ТЕРТУЛЛІАНЪ.

Дикаго и отталкивающаго вида;—ибо онъ былъ обремененъ всѣми грѣхами, всѣми скорбями и всѣми уродствами міра.

АНТОНІЙ.

О, нѣтъ, нѣтъ! Мнѣ кажется, напротивъ, что весь его обликъ имѣлъ нечеловѣческую прелесть.

ЕВСЕВІЙ КЕСАРІЙСКІЙ.

Въ Панеадѣ, передъ старой лачугой, въ чащѣ травъ, есть каменная статуя, воздвигнутая, какъ утверждаютъ, кровоточивой. Но время изъѣло ей лицо, и дожди испортили надпись.

Изъ группы Карпократіанъ выходитъ женщина.

МАРЦЕЛЛИНА.

Нѣкогда я была діакониссой въ Римѣ, въ маленькой церкви, и показывала вѣрнымъ серебряные образки Св. Павла, Гомера, Пиѳагора и Іисуса Христа.

У меня сохранился только Христовъ.

Пріоткрываетъ плащъ.

Хочешь его?

ГОЛОСЪ.

Онъ вновь появляется, самъ, когда мы зовемъ его. Пора! Приди!

И Антоній чувствуетъ на своемъ плечѣ грубую руку, которая уводитъ его.

Онъ всходитъ по совершенно темной лѣстницѣ;—и пройдя много ступенекъ, оказывается передъ дверью.

Тогда тотъ, кто ведетъ его (быть можетъ, Иларіонъ? онъ этого не знаетъ), говоритъ другому на ухо: „Сейчасъ придетъ Господь", — и ихъ вводятъ въ комнату съ низкимъ потолкомъ, безъ убранства.

Прежде всего его поражаетъ—прямо передъ глазами—длинная куколка кроваваго цвѣта, съ головой человѣка, откуда льются лучи и со словомъ К н у ф и с ъ, опоясывающимъ ее греческими буквами. Она возвышается надъ колонной, помѣщенной посреди пьедестала. На другихъ стѣнахъ комнаты медальоны полированнаго желѣза изображаютъ головы животныхъ,—льва, быка, орла, собаки, и даже осла!

Глиняныя свѣтильни, висящія подъ этими изображеніями, слабо мерцаютъ. Сквозь отверстіе въ стѣнѣ Антоній видитъ лунный свѣтъ вдали на волнахъ, и различаетъ даже ихъ мѣрный, слабый плескъ, вмѣстѣ съ глухимъ шорохомъ судна, которое трется килемъ о камешки мола.

Мужчины, на корточкахъ, спрятавъ лица подъ плащи, издаютъ по временамъ подавленные, какъ бы лающіе звуки. Женщины дремлютъ, закрывъ лицо руками, которыя опираются на колѣна; онѣ такъ закутаны покрывалами, что ихъ можно принять за ворохи одеждъ вдоль стѣнъ. Рядомъ съ ними полуголыя дѣти, облѣпленныя паразитами, съ безсмысленнымъ видомъ глядятъ на свѣтильни; и никто ничего не дѣлаетъ; ждутъ чего-то.

Говорятъ вполголоса о своихъ семьяхъ, сообщаютъ другъ другу средства отъ болѣзней. Многіе отплываютъ на разсвѣтѣ, такъ какъ преслѣдованія становятся невыносимы.

Язычниковъ, однако, не трудно обмануть: „Они думаютъ, глупцы, что мы почитаемъ Кнуфисъ".

Но одинъ изъ братьевъ, внезапно вдохновившись, становится передъ колонной, гдѣ лежитъ хлѣбъ, который возвышается надъ корзиной съ укропомъ и кирказономъ. Остальные заняли свои мѣста, и стоя образуютъ три параллельныя линіи.

ВДОХНОВЛЕННЫЙ

развертываетъ свитокъ, испещренный цилиндрами, и начинаетъ:

На мракъ сошелъ лучъ Слова, и раздался неистовый крикъ, походившій на голосъ свѣта.

ВСѢ

отвѣчаютъ, покачиваясь:

Кири элейсонъ!

ВДОХНОВЛЕННЫЙ.

Человѣкъ, затѣмъ, былъ созданъ безчестнымъ Богомъ Израиля при помощи—

перебирая медальоны:

Астофая, Орая, Саваоѳа, Адонаи, Элои, Яо!

И онъ пребывалъ въ грязи, мерзкій, слабый, безобразный, безъ мысли.

ВСѢ

жалобно:

Кири элейсонъ!

ВДОХНОВЛЕННЫЙ.

Но Софія, сострадая, оживила его частицей своей души.

Тогда, видя что человѣкъ такъ прекрасенъ, Богъ былъ охваченъ гнѣвомъ. Онъ заключилъ его въ свое царство, запретивъ ему древо познанія.

А та еще разъ помогла ему! Она послала змѣя, который посредствомъ многихъ уловокъ заставилъ его преступить этотъ законъ злобы.

И человѣкъ, вкусивши знанія, понялъ небесное.

ВСѢ

съ силой:

Кири элейсонъ!

ВДОХНОВЛЕННЫЙ.

Но Іабдалаоеъ, чтобъ отомстить, низринулъ человѣка въ матерію, и съ нимъ змѣя!

ВСѢ

очень тихо:

Кири элейсонъ!

Затихаютъ и молчатъ.

Запахи гавани смѣшиваются въ тепломъ воздухѣ съ копотью свѣтиленъ. Ихъ фитили, потрескивая, тухнутъ; кружатся длинные москиты. Антоній хрипитъ въ тоскѣ; онъ ощущаетъ какъ бы нѣчто чудовищное, что разлито вокругъ, ужасъ передъ надвигающимся преступленіемъ.

ВДОХНОВЛЕННЫЙ,

пристукивая пяткой, щелкая пальцами, потрясая головой, неистовымъ темпомъ поетъ гимнъ, подъ звонъ кимваловъ и пронзительной флейты:

Явись! Явись! Явись! покинь свою пещеру! Быстрый, что бѣжишь безъ ногъ, ловецъ, что хватаешь безъ рукъ!

Въ извивахъ, какъ рѣки, кругообразный, какъ солнце, черный съ золотыми пятнами, какъ небо усыпанное звѣздами! Похожій на обвивы лозы и спирали внутренностей!

Нерожденный! пожиратель земли! вѣчно юный! прозорливецъ! чтимый въ Эпидаврѣ! Добрый къ людямъ! излѣчившій царя Птоломея, воиновъ Моисея, и Главка сына Миноса!

Явись! Явись! Явись! покинь свою пещеру!

ВСѢ

повторяютъ:

Явись! Явись! Явись! покинь свою пещеру!

Однако никого нѣтъ.

Что это значитъ? Что съ нимъ?

Начинаютъ совѣщаться, предлагаютъ средства.

Старикъ приноситъ глыбу дерну. Тогда въ корзинѣ что-то подымается. Зелень колеблется, цвѣты падаютъ — и показывается голова пиѳона.

Онъ медленно ползетъ по краю хлѣба, какъ живое кольцо вокругъ неподвижнаго диска, затѣмъ развертывается, удлиняется; онъ громаденъ и значительнаго вѣса. Чтобы не дать ему коснуться пола, мужчины поддерживаютъ его грудью, женщины головами, дѣти ладонями;—и его хвостъ, проходя сквозь отверстіе въ стѣнѣ, тянется безъ конца, до дна моря. Кольца его развертываются, комната наполняется ими; они сдавливаютъ Антонія.

ВѢРНЫЕ,

впиваясь губами въ его кожу, вырываютъ другъ у друга хлѣбъ, который онъ откусилъ.

Это ты! это ты!

Вознесенный сначала Моисеемъ, сокрушенный Езекіей, возстановленный Мессіей Онъ пилъ тебя въ струяхъ крещенія; но ты покинулъ его въ саду Оливъ и онъ почувствовалъ тогда всю свою слабость.

Изогнутый на перекладинѣ креста, надъ его головой, пуская слюну на терновый вѣнецъ, ты видѣлъ его смерть.— Ибо ты не Іисусъ, нѣтъ, ты Слово! ты Христосъ!

Антоній лишается чувствъ отъ ужаса и падаетъ на щепки передъ своей хижиной, гдѣ мягко теплится факелъ, выскользнувшій изъ его рукъ.

Отъ этого сотрясенія глаза его раскрываются; и передъ нимъ Нилъ, струистый и свѣтлый въ серебрѣ луны, какъ огромная змѣя среди песковъ;—видѣнія не прекращаются, такъ что онъ и не покидалъ Офитовъ; они окружаютъ его, зовутъ, везутъ пожитки, сходятъ къ гавани. Онъ отплываетъ съ ними.

Проходитъ неопредѣленное время.

И вотъ надъ нимъ сводъ темницы. Рѣшетки передъ глазами выглядятъ черными линіями на голубомъ фонѣ;— а справа и слѣва, въ тѣни, плачутъ и молятся люди, которыхъ ободряютъ и утѣшаютъ стоящіе вокругъ нихъ.

За стѣнами чувствуется гулъ толпы и роскошь лѣтняго дня.

Пронзительные голоса предлагаютъ арбузы, воду, напитки со льдомъ, набитыя сѣномъ подушки для сидѣнья По временамъ гремятъ рукоплесканія. Слышно, какъ ходятъ надъ головой.

Вдругъ раздается долгій ревъ, могучій, замогильный, какъ шумъ воды въ акведукѣ.

И онъ видитъ передъ собой, за рѣшеткой другой клѣтки, шагающаго льва,—затѣмъ рядъ сандалій, голыя ноги и пурпурную бахрому. Выше, симметрично расширяясь, идутъ круги зрителей, отъ самаго нижняго, заключающаго арену, до наивысшаго, гдѣ укрѣплены шесты, поддерживающіе гіацинтовый навѣсъ, который натянутъ въ воздухѣ на верев-

кахъ. Лѣстницы, сходясь къ центру, прорѣзаютъ на равныхъ разстояніяхъ эти огромныя каменныя кольца. Ступени теряются подъ массой сидящихъ—всадниковъ, сенаторовъ, солдатъ, плебеевъ, весталокъ и куртизанокъ,—въ шерстяныхъ капюшонахъ, шелковыхъ облаченіяхъ, желтыхъ туникахъ, съ украшеніями изъ драгоцѣнныхъ камней, султанами изъ перьевъ, ликторскими связками; и все это кишитъ, кричитъ, оглушаетъ его шумомъ и неистовствомъ, какъ огромный кипящій котелъ. Посреди арены, на жертвенникѣ, дымится въ сосудѣ ладанъ.

Люди, которые окружаютъ его—христіане, приговоренные къ растерзанію. На мужчинахъ красные плащи жрецовъ Сатурна, женщины въ повязкахъ Цереры. Друзья дѣлятъ между собой остатки ихъ одеждъ, кольца. Чтобы проникнуть въ тюрьму, говорятъ они, пришлось потратить много денегъ. Ну что же, они останутся до конца.

Среди утѣшающихъ Антоній замѣчаетъ лысаго человѣка въ черной туникѣ, лицо котораго ему откуда-то уже знакомо; онъ поучаетъ о ничтожествѣ міра и блаженствѣ избранныхъ. Антоній охваченъ любовью. Онъ жаждетъ случая отдать свою жизнь за Спасителя, и ему кажется, что самъ онъ тоже одинъ изъ этихъ мучениковъ.

Но кромѣ фригійца съ длинными волосами, который поднялъ руки кверху, всѣ печальны. Старикъ рыдаетъ на скамейкѣ, а молодой человѣкъ мечтаетъ стоя, склонивъ голову.

СТАРИКЪ,

отказывавшійся платить передъ статуей Минервы, на углу перекрестка, смотритъ на товарищей, какъ бы говоря взглядомъ:

Вы должны были бы помочь мнѣ! Сообщества добиваются иногда, чтобы ихъ оставили въ покоѣ. Многіе изъ васъ запаслись даже подложными свидѣтельствами, что жертвы принесены.

Спрашиваетъ:

Развѣ не Петръ Александрійскій установилъ, какъ нужно поступать, когда поколебленъ мученіями?

Продолжаетъ про себя:

Ахъ, это очень тяжело въ мои годы! немощи дѣлаютъ меня такимъ слабымъ! Однако, я могъ бы еще прожить до слѣдующей зимы!

Воспоминаніе о маленькомъ садикѣ умиляетъ его;—и онъ смотритъ въ сторону жертвенника.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ,

который дракой нарушилъ празднество Аполлона, бормочетъ:

А вѣдь только отъ меня зависѣло—убѣжать въ горы!

— Солдаты схватили бы тебя,

произноситъ одинъ изъ братьевъ.

— О, я поступилъ бы какъ Кипріанъ; я бы отрекся; и во второй разъ былъ мужественнѣй, я увѣренъ!

Затѣмъ онъ думаетъ о безконечныхъ дняхъ предстоявшей жизни, о всѣхъ радостяхъ, которыхъ онъ не узнаетъ;—и онъ смотритъ въ сторону жертвенника.

Но

ЧЕЛОВѢКЪ ВЪ ЧЕРНОЙ ТУНИКѢ

подбѣгаетъ къ нему:

Какой позоръ! Какъ, ты, избранная жертва? Всѣ эти женщины смотрятъ на тебя, подумай только! И потомъ Господь по временамъ творитъ чудеса. Піоній окаменилъ руки своихъ палачей, кровь Поликарпа гасила пламя костра.

Оборачивается къ старику:

Отецъ, отецъ! ты долженъ наставить насъ своею смертью. Откладывая ее, ты конечно допускаешь нѣкій дурной поступокъ, который погубитъ плодъ добрыхъ. Кромѣ того, могущество Господа безконечно. Быть можетъ, твой примѣръ обратитъ сейчасъ же весь народъ.

А напротивъ, въ клѣткѣ, быстрой поступью безостановочно шагаютъ взадъ и впередъ львы. Самый большой вдругъ посмотрѣлъ на Антонія, зарычалъ—и паръ идетъ изъ его пасти.

Женщины сбились около мужчинъ.

УТѢШИТЕЛЬ

переходитъ отъ одного къ другому.

Что сказали бы вы, что сказалъ бы ты, если бъ тебя изжарили на желѣзныхъ пластинахъ, четвертовали лошадьми, если бъ твое тѣло, обмазанное медомъ, выставили насѣкомымъ! Ты же умрешь какъ охотникъ, на котораго врасплохъ напали въ лѣсу.

Антоній предпочелъ бы все это ужаснымъ дикимъ звѣрямъ; онъ какъ будто чувствуетъ ихъ зубы, ихъ когти, слышитъ какъ хрустятъ его кости въ ихъ челюстяхъ.

Въ темницу входитъ беллуарій; мученики трепещутъ.

Только одинъ фригіецъ, который молится въ сторонѣ, безстрастенъ. Онъ сжегъ три храма; и онъ подвигается впередъ, поднявъ руки, раскрывъ губы, обративъ взоръ къ небу, ничего не видя, какъ сомнамбула.

УТѢШИТЕЛЬ

восклицаетъ:

Назадъ! назадъ! Вами овладѣетъ духъ Монтана.

ВСѢ

отступаютъ съ криками:

Проклятіе Монтанисту!

Ругаютъ его, плюютъ, порываются бить.

Раздраженные львы кусаютъ себѣ гривы. Чернь воетъ: „Звѣрей! звѣрей!“

Мученики, разражаясь рыданьями, обнимаются. Имъ предлагаютъ чашу одуряющаго вина. Они быстро передаютъ ее изъ рукъ въ руки.

У двери клѣтки другой беллуарій ждетъ знака. Она отворяется; выходитъ левъ.

Онъ пересѣкаетъ арену длинными косыми шагами. За нимъ вереницей появляются другіе львы, затѣмъ медвѣдь, три пантеры, леопарды. Они разбредаются какъ стадо по лугу.

Раздается щелканіе бича. Христіане трепещутъ—и, чтобы прекратить это, братья подталкиваютъ ихъ. Антоній закрываетъ глаза.

Открываетъ ихъ. Но вокругъ тьма.

Скоро она проясняется; и онъ видитъ сухую усѣянную бугорками равнину, какія бываютъ вокругъ покинутыхъ каменоломенъ.

Кустарники пробиваются кое-гдѣ между плитъ, лежащихъ вровень съ землей; и бѣлые призраки, туманнѣе облаковъ, склоняются надъ ними.

Скользя появляются другіе. Изъ-подъ длинныхъ покрываловъ блестятъ глаза. По небрежности походки и аромату отъ нихъ Антоній узнаетъ патриціанокъ. Есть и

мужчины, но низшаго происхожденія, у нихъ простыя и грубыя лица.

ОДНА ИЗЪ ЖЕНЩИНЪ

глубоко вздыхая:

Ахъ, какъ хорошъ воздухъ холодной ночи среди гробницъ! Я такъ утомлена нѣгой ложъ, суетой дня, тягостью зноя!

Служанка вынимаетъ изъ холщеваго мѣшка факелъ и зажигаетъ его. Вѣрныя зажигаютъ отъ него свои факелы, и втыкаютъ ихъ на могилахъ.

Трепещущая

ЖЕНЩИНА.

О! наконецъ, и я здѣсь! Какъ скучно быть женою язычника!

ДРУГАЯ.

Посѣщенія тюремъ, разговоры съ братьями, все подозрительно нашимъ мужьямъ! — И даже надо скрываться, когда дѣлаешь знаменіе креста; они примутъ это за магическое заклинаніе.

ТРЕТЬЯ.

У меня были постоянныя ссоры съ мужемъ; я не допускала надруганій надъ своимъ тѣломъ, какъ требовалъ онъ;—и чтобы отомстить, онъ донесъ, что я христіанка.

ЧЕТВЕРТАЯ.

Помните ли вы Люція, прекраснаго юношу, котораго тащили за пятки позади колесницы, какъ Гектора, отъ Эсквилинскихъ воротъ до Тибурскихъ холмовъ;—и по обѣимъ сторонамъ дороги кусты были испачканы кровью! Я собрала съ нихъ капли. Вотъ онѣ!

Отнимаетъ отъ груди совершенно черную губку, осыпаетъ ее поцѣлуями, затѣмъ бросается на плиты съ криками:

О, мой возлюбленный, мой возлюбленный!

МУЖЧИНА.

Нынче ровно три года, какъ умерла Домицилла. Она была побита камнями въ глубинѣ рощи Прозерпины. Я собралъ ея кости, которыя сіяли какъ свѣтлячки въ травѣ. Теперь земля укрываетъ ихъ!

Бросается на могилу

О моя невѣста! моя невѣста!

И ОСТАЛЬНЫЕ

по всей равнинѣ:

О сестра! О братъ! О дочь! О мать!

Они стоятъ на колѣняхъ, поддерживая головы ладонями, или простершись на землѣ съ вытянутыми руками;—и груди ихъ чуть не разрываются отъ сдерживаемыхъ рыданій. Глядя на небо они молятъ:

Сжалься надъ его душой, о Боже! Она изнываетъ въ пріютѣ тѣней; благоволи принять ее въ Воскресеніи, чтобы она наслаждалась твоимъ свѣтомъ!

Или уставившись взоромъ въ плиты, бормочутъ:

Успокойся, не страдай! Я принесла тебѣ вина, мяса!

ВДОВА.

Вотъ кисель, приготовленный мною по его вкусу, здѣсь много яицъ и двойная порція муки! Мы примемся сейчасъ за него вмѣстѣ, какъ прежде, не правда ли?

Взявъ немного, подноситъ къ губамъ; и внезапно разражается дикимъ, безумнымъ смѣхомъ.

Другія, какъ и она, гложутъ что-то, пьютъ. Разсказываютъ другъ другу исторіи своихъ мучениковъ; горе разгорается, возліянія учащаются. Глаза, омоченные слезами, останавливаются другъ на другѣ. Они бормочутъ въ опьяненіи и отчаяньи; мало-по-малу ихъ руки соприкасаются, губы сближаются, покрывала пріоткрываются, и они соединяются на могилахъ среди чашъ и факеловъ.

Небо начинаетъ блѣднѣть. Туманъ увлажняетъ ихъ одежды; — и, какъ будто не зная другъ друга, они расходятся разными дорогами въ разныя стороны.

Солнце блистаетъ; трава стала выше, равнина преобразилась.

И Антоній отчетливо видитъ сквозь бамбуки лѣсъ колоннъ голубовато-сѣраго цвѣта. Это стволы деревьевъ, идущихъ отъ одного ствола. Отъ каждой ихъ вѣтви спускаются новыя вѣтви, врастая въ землю; и въ цѣломъ всѣ эти горизонтальныя и вертикальныя линіи, безконечно переплетаясь, напоминаютъ чудовищную змѣю, лишь мѣстами на ней маленькія фиги съ черноватой листвой, какъ у сикоморы.

Онъ замѣчаетъ черезъ ихъ раздвилины кисти желтыхъ цвѣтовъ, фіолетовые цвѣты, и папортники, похожіе на птичьи перья. Подъ самыми нижними вѣтками видны кое-гдѣ рога буйвола или блестящіе глаза антилопы; висятъ попугаи, порхаютъ бабочки, ползаютъ ящерицы, жужжатъ мухи; и среди молчанія слышно какъ бы біеніе глубокой жизни.

У входа въ лѣсъ на чемъ-то въ родѣ костра виднѣется странный предметъ—человѣкъ, обмазанный коровьимъ пометомъ, весь голый, изсохшій какъ мумія; его суставы образуютъ узлы на оконечностяхъ костей, которыя кажутся палками. Въ ушахъ вдѣты связки раковинъ, лицо длинное, съ ястребинымъ носомъ. Лѣвая рука вытянута въ воздухѣ, онѣмѣла, жестка какъ колъ;—и онъ стоитъ здѣсь столько времени, что птицы свили гнѣздо въ его волосахъ.

Въ четырехъ углахъ его костра горятъ четыре огня. Солнце свѣтитъ прямо въ лицо. Онъ созерцаетъ его своими огромными глазами;—и не глядя на Антонія произноситъ:

Брахманъ съ береговъ Нила, что ты скажешь объ этомъ?

Пламя вырывается со всѣхъ сторонъ изъ-подъ бревенъ; а

ГИМНОСОФИСТЪ

продолжаетъ:

Похожій на единорога, я погрузился въ одиночество. Я жилъ въ деревѣ, которое позади.

Дѣйствительно, толстый стволъ смоковницы образуетъ естественное углубленіе размѣромъ съ человѣческое тѣло.

И я питался цвѣтами и плодами, такъ строго соблюдая заповѣдь, что скрывалъ свою ѣду даже отъ собакъ.

Такъ какъ жизнь происходитъ отъ грѣха, грѣхъ отъ желанія, желаніе отъ ощущенія, ощущеніе отъ прикосновенія,—я избѣгалъ всякаго дѣйствія, всякаго прикосновенія; и—неподвижный какъ могильный памятникъ, испуская дыханіе черезъ ноздри, сосредоточивъ взглядъ на своемъ носу и созерцая эѳиръ въ своемъ духѣ, міръ въ своихъ членахъ, луну въ своемъ сердцѣ,—я думалъ осущности великой Души, откуда безостановочно истекаютъ, какъ искорки пламени, начала жизни.

Я позналъ, наконецъ, верховную Душу во всѣхъ существахъ, всѣ существа въ верховной Душѣ;—и мнѣ удалось ввести въ нее свою душу, въ которую я ввелъ свои чувства.

Я получаю знаніе прямо съ неба, какъ птица Чатака, которая утоляетъ жажду лишь въ струяхъ дождя.

Благодаря же тому, что я позналъ все, ничего не существуетъ для меня больше.

Для меня теперь нѣтъ надежды, нѣтъ скорби, нѣтъ счастья, нѣтъ добродѣтели, ни дня, ни ночи, ни тебя, ни меня, совершенно ничего.

Страшныя лишенія сдѣлали меня могущественнѣе Силъ. Напряженіе моей мысли можетъ убить сто царскихъ сыновей, свергать боговъ, опрокинуть міръ.

Онъ произноситъ все это монотоннымъ голосомъ.

Листья вокругъ свертываются. Крысы на землѣ убѣгаютъ.

Онъ медленно склоняетъ взоръ на пламя, которое все растетъ и прибавляетъ:

Я возненавидѣлъ форму, возненавидѣлъ воспріятіе, возненавидѣлъ даже само знаніе,—ибо мысль не переживаетъ мимолетнаго событія, отъ котораго происходитъ, и умъ только призракъ, какъ и остальное.

Все, что родилось, погибнетъ, все, что мертво, должно ожить; существа, исчезнувшія нынѣ, найдутъ себѣ убѣжище въ еще несозданныхъ утробахъ, и вновь появятся на землѣ, чтобы въ печали служить другимъ созданіямъ.

Но, такъ какъ я влачилъ безчисленное множество жизней, подъ видомъ боговъ, людей и животныхъ, я отказываюсь отъ странствія, я не желаю больше этой тягости! Я покидаю грязное пристанище своего тѣла, грубо сдѣланнаго изъ мяса, краснаго отъ крови, покрытаго безобразной кожей, полнаго нечистотъ;—и въ награду я отхожу, наконецъ, къ успокоенію въ бездонной глубинѣ абсолютнаго, въ Уничтоженіи.

Пламя подымается ему до груди,—затѣмъ охватываетъ всего. Голова выступаетъ какъ бы сквозь отверстіе въ стѣнѣ. Вытаращенные глаза попрежнему смотрятъ.

АНТОНІЙ

встаетъ.

Факелъ на полу поджегъ древесныя стружки; и пламя подпалило ему бороду.

Съ крикомъ онъ затаптываетъ огонь;—и вотъ осталась только груда пепла:

Гдѣ же Иларіонъ? Онъ сейчасъ былъ здѣсь. Я его видѣлъ.

О, нѣтъ, не можетъ быть, я заблуждаюсь! Почему?.. Право, это было явственнѣе моей хижины, этихъ камней, песку. Я схожу съ ума. Спокойствіе! Гдѣ я былъ? что произошло?

Ахъ, гимнософистъ! Эта смерть въ обычаѣ у индійскихъ мудрецовъ. Каланосъ сжегъ себя передъ Александромъ; другой сдѣлалъ то же во времена Августа. Какую нужно имѣть ненависть къ жизни! А можетъ быть, ихъ толкаетъ гордость?.. Все равно, это безтрепетность мучениковъ!.. Что касается ихъ, я вѣрю теперь всему, что мнѣ говорили о распущенности, которую они порождаютъ.

А передъ этимъ? Да, вспоминаю! толпа ересіарховъ... Какіе крики! какіе глаза! Но почему столько излишествъ плоти и заблужденій духа?

Всѣми этими путями они мнятъ достичь Бога! По какому праву мнѣ проклинать ихъ, разъ я самъ колеблюсь въ вѣрѣ? Когда они удалились, я былъ, быть можетъ, ближе къ ней. Все это было похоже на вихрь; не было времени отвѣтить. Сейчасъ въ моей головѣ какъ будто яснѣе и больше свѣту. Я спокоенъ. Я чувствую себя способнымъ... Что это значитъ? какъ будто я потушилъ огонь.

Огонекъ перепархиваетъ среди скалъ; и немного спустя вдали въ горахъ слышенъ отрывистый голосъ.

Что это, лай гіены, или рыданья заблудившагося путника?

Антоній слушаетъ. Огонекъ приближается.

И вотъ передъ нимъ плачущая женщина, которая облокотилась на плечо человѣка съ сѣдой бородой.

Она одѣта въ платье изъ лохмотьевъ пурпура. Онъ съ обнаженной головой, какъ и она, въ туникѣ того же цвѣта, и съ бронзовымъ сосудомъ, откуда подымается маленькое голубое пламя.

Антонію страшно — и хочется узнать, кто эта женщина.

ЧУЖЕСТРАНЕЦЪ (СИМОНЪ).

Это молодая дѣвушка, бѣдное дитя, которое я вожу всюду за собой.

Подымаетъ мѣдный сосудъ.

Антоній разсматриваетъ ее при отблескѣ этого колеблющагося пламени.

На лицѣ ея есть отпечатки укусовъ, по рукамъ слѣды ударовъ; растрепанные волосы запутались въ прорѣхахъ ея рубища; глаза кажутся нечувствительными къ свѣту.

СИМОНЪ.

По временамъ она очень долго остается такъ, не говоритъ, не ѣстъ; потомъ просыпается,—и изрекаетъ удивительныя вещи.

АНТОНІЙ.

Въ самомъ дѣлѣ?

СИМОНЪ.

Эннойя! Эннойя! разскажи, что ты знаешь!

Она поводитъ глазами, какъ бы разставаясь со сномъ, медленно проводитъ пальцами по бровямъ, и произноситъ жалобно:

ЕЛЕНА (ЭННОЙЯ).

Я храню память о дальней странѣ, изумруднаго цвѣта. Единственное дерево наполняетъ ее.

Антоній вздрагиваетъ.

У каждаго ряда ея широкихъ вѣтвей находится въ воздухѣ пара Духовъ. Сучья переплетаются вокругъ нихъ, какъ вены одного тѣла; и они видятъ круговращеніе вѣчной жизни, что восходитъ отъ погруженныхъ въ тѣнь корней до верхушки, которая выше солнца. Я, со второй вѣтви, освѣщала своимъ лицомъ ночи лѣта.

АНТОНІЙ

прикасаясь ко лбу.

А, понимаю! голова!

СИМОНЪ

прикладывая палецъ къ губамъ:

Тс! тс!

ЕЛЕНА.

Парусъ надувался, киль разрѣзалъ пѣну. Онъ говорилъ мнѣ: „Все равно, пусть я врежу родинѣ, пусть потеряю царство! Ты будешь моей, въ моемъ домѣ!“

Какъ плѣнительна была высокая комната его дворца! Онъ возлегалъ на ложе изъ слоновой кости, и, лаская мои волосы, влюбленно пѣлъ.

На закатѣ дня я наблюдала оба лагеря, зажигавшіеся сигналы, Улисса на порогѣ его палатки, Ахилла во всеоружіи, который правилъ колесницей вдоль морского прибрежья.

АНТОНІЙ.

Но она совсѣмъ безумная! Что съ ней?

СИМОНЪ.

Тссъ! тссъ!

ЕЛЕНА.

Они умастили меня мазями и продали черни, чтобъ я забавляла ее.

Разъ вечеромъ, стоя съ систромъ въ рукѣ, я играла танцующимъ греческимъ матросамъ. Дождь лилъ потоками на кабачекъ и чаши теплаго вина дымились. Вошелъ человѣкъ, хотя дверь была заперта.

СИМОНЪ.

Это былъ я! Я вновь нашелъ тебя!

Передъ тобой, Антоній, та, кого зовутъ Сиге, Эннойя, Барбело, Пруникосъ! Духи правители міра завидовали ей, и заключили ее въ тѣло женщины.

Она была Еленой Троянцевъ, память о которой проклялъ поэтъ Стесихоръ. Она была Лукреціей, патриціанкой, и ее оскорбили цари. Она была Далилой, отрѣзавшей волосы Самсона. Она была той дочерью Израиля, что отдавалась козламъ. Она любила распутство, идолопоклонство, ложь и глупость. Она отдавалась всѣмъ народамъ. Она пѣла на всѣхъ перекресткахъ. Она перецѣловала всѣ губы.

Въ Тирѣ Сирійскомъ она была любовницей воровъ. Она пила съ ними по ночамъ, и скрывала убійцъ въ отрепьяхъ своего теплаго ложа.

АНТОНІЙ.

Что мнѣ до этого?

СИМОНЪ

въ неистовствѣ:

Я выкупилъ ее, говорю тебѣ,—и возстановилъ ея вели-

колѣніе; такъ что Кай Цезарь Калигула влюбился въ нее, ибо пожелалъ спать съ Луной!

АНТОНІЙ.

И что-же?

СИМОНЪ.

Она и есть Луна! Развѣ не писалъ папа Климентъ, что она была заключена въ башню? Триста человѣкъ окружили башню; и во всѣхъ бойницахъ одновременно появились луны,— хотя на свѣтѣ всего одна Луна, и одна Эннойя!

АНТОНІЙ.

Да... какъ будто вспоминаю.

Впадаетъ въ задумчивость.

СИМОНЪ.

Невинная какъ Христосъ, который умеръ за мужчинъ, она пожертвовала собою для женщинъ. Ибо безсиліе Іеговы явствуетъ изъ грѣхопаденія Адама, и нужно отвергнуть древній законъ, враждебный строю вещей.

Я проповѣдывалъ обновленіе въ колѣнѣ Ефрема и Иссахара, по теченію потока Бизоръ, позади озера Уле, въ долинѣ Мегиддо, за предѣлами горъ, въ Бострѣ и Дамаскѣ! Пусть придутъ ко мнѣ тѣ, кто утопаетъ въ винѣ, кто утонетъ въ грязи, кто утопаетъ въ крови; и я омою ихъ скверны Духомъ Святымъ, названнымъ у Грековъ Минервой!

Она Минерва! Она Духъ Святой! Я Юпитеръ, Аполлонъ, Христосъ, Параклетъ, великое могущество Бога, воплощенное въ лицѣ Симона!

АНТОНІЙ.

Ахъ, это ты... такъ это ты? Но я знаю твои преступленія!

Ты родился въ Гиттонѣ, вблизи Самаріи. Досиѳей, твой первый учитель, отослалъ тебя! Ты ненавидишь св. Павла, такъ какъ онъ обратилъ одну изъ твоихъ женъ; и, побѣжденный св. Петромъ, ты отъ страха и бѣшенства бросилъ въ воду мѣшокъ со своими фокусами.

СИМОНЪ.

Хочешь ихъ?

Антоній смотритъ на него; и внутренній голосъ шепчетъ ему: „Почему бы и нѣтъ?“

Симонъ продолжаетъ:

Знающій силы Природы и природу Духовъ долженъ творить чудеса. Это мечта всѣхъ мудрыхъ,—и желаніе, которое гложетъ тебя; признайся!

Въ циркѣ у Римлянъ я взлеталъ такъ высоко, что пропадалъ изъ глазъ. Неронъ приказалъ обезглавить меня; но на землю упала голова овцы, вмѣсто моей. Наконецъ, меня заживо похоронили; но я воскресъ въ третій день. Доказательство,—что я передъ тобой!

Даетъ ему дотронуться до рукъ. Онѣ пахнутъ трупомъ. Антоній отступаетъ.

По моему приказанію движутся бронзовыя змѣи, смѣются мраморныя статуи, разговариваютъ собаки. Я покажу тебѣ безсчетное множество золота; я воздвигну царей; ты увидишь, что народы поклонятся мнѣ! Я могу ходить по волнамъ и по тучамъ, проходить сквозь горы, обернуться юношей, старикомъ, тигромъ и муравьемъ, принять твой обликъ, дать тебѣ мой, произвести ударъ грома. Слышишь?

Громъ грохочетъ, молніи сверкаютъ другъ за другомъ.

Это голосъ Всевышняго! „ибо Вѣчный твой Богъ есть огонь“, и всѣ созданія происходятъ отъ искръ этого очага.

Ты сейчасъ примешь это крещеніе, — второе крещеніе, возвѣщенное Іисусомъ, и сошедшее однажды на апостоловъ во время грозы, когда было открыто окно!

И двигая рукой съ сосудомъ, онъ колеблетъ пламя,— медленно, какъ бы окропляя имъ Антонія:

Мать милосердія, ты, которая открываешь тайны, чтобы миръ посѣтилъ насъ въ восьмомъ домѣ...

АНТОНІЙ

восклицаетъ:

Ахъ, если бъ у меня была святая вода!

Пламя тухнетъ и даетъ много дыма.

Эннойя и Симонъ исчезли.

Необычайно холодный, густой и зловонный туманъ наполняетъ все вокругъ.

АНТОНІЙ

простирая руки, какъ слѣпецъ:

Гдѣ я?.. Я боюсь упасть въ пропасть. А крестъ, очевидно, слишкомъ далекъ отъ меня... О, какая ночь! какая ночь!

Подъ порывомъ вѣтра туманъ отодвигается;—и онъ видитъ двухъ мужчинъ, одѣтыхъ въ длинныя бѣлыя туники.

Первый высокаго роста, съ привѣтливымъ лицомъ, внѣшность его значительна. Его свѣтлые волосы, расчесанные какъ у Христа, ровно спадаютъ на плечи. Онъ бросаетъ жезлъ, который держалъ въ рукѣ, и спутникъ подхватываетъ его съ поклономъ, по обычаю Востока.

Этотъ послѣдній малъ, толстъ, курносъ, съ плотной шеей, волосы его курчавы, видъ простодушенъ.

Оба они босы, съ обнаженными головами, и запылены, какъ будто только что вернулись изъ путешествія.

АНТОНІЙ

встрепенувшись:

Что вамъ нужно? Говорите! Прочь отсюда!

ДАМИДЪ

меньшій изъ нихъ.

Тише, тише, добрый отшельникъ! что мнѣ нужно? Не знаю! Вотъ учитель.

Садится; спутникъ его стоитъ. Молчаніе.

АНТОНІЙ

продолжаетъ:

Итакъ, вы пришли?..

ДАМИДЪ.

О, издалека,—очень издалека!

АНТОНІЙ.

А идете?

ДАМИДЪ

указывая на спутника:

Куда онъ захочетъ!

АНТОНІЙ.

Кто же онъ, наконецъ?

ДАМИДЪ.

Взгляни на него!

АНТОНІЙ

въ сторону:

Онъ походитъ на святого! Если бы я рѣшился...

Мгла разсѣялась. Воздухъ совершенно прозраченъ. Свѣтитъ луна.

ДАМИДЪ.

Ты умолкъ, о чемъ же ты думаешь?

АНТОНІЙ.

Я думаю... Нѣтъ, ни о чемъ.

ДАМИДЪ

направляется къ Аполлонію, и нѣсколько разъ обходитъ вокругъ него, согнувшись, не подымая головы.

Учитель! вотъ галилейскій отшельникъ, который хочетъ узнать о началахъ мудрости.

АПОЛЛОНІЙ.

Пусть приблизится!

Антоній колеблется.

ДАМИДЪ.

Приблизься!

АПОЛЛОНІЙ

звучнымъ голосомъ:

Приблизься! Ты желалъ бы знать кто я, что совершилъ, что думаю? Не правда ли, дитя?

АНТОНІЙ.

... Если это, однако, можетъ способствовать моему спасенію...

АПОЛЛОНІЙ.

Радуйся, сейчасъ я сообщу тебѣ все!

ДАМИДЪ

тихо Антонію:

Возможно ли! Очевидно, онъ съ перваго взгляда замѣтилъ въ тебѣ необычайную склонность къ философіи! Я тоже воспользуюсь этимъ, что жъ!

АПОЛЛОНІЙ.

Я разскажу тебѣ сначала о длинномъ пути, который прошелъ въ поискахъ истины; и если ты найдешь во всей моей жизни дурной поступокъ, останови меня, ибо тотъ, кто сѣялъ зло своими поступками, долженъ соблазнять и своими словами.

ДАМИДЪ

Антонію:

Какъ онъ справедливъ! а?

АНТОНІЙ.

Рѣшительно, я думаю, что онъ искрененъ.

АПОЛЛОНІЙ.

Въ ночь, когда я родился, моей матери приснилось, что она собираетъ цвѣты на берегу озера. Вспыхнула молнія, и она произвела меня на свѣтъ подъ крики лебедей, что пѣли въ ея сновидѣніи.

До пятнадцати лѣтъ меня трижды въ день погружали въ Асвадейскій источникъ, воды котораго поражаютъ водянкой клятвопреступниковъ; и мнѣ натирали тѣло листьями книзы, чтобы я былъ цѣломудренъ.

Разъ вечеромъ ко мнѣ пришла царевна изъ Пальмиры, предлагая сокровища, которыя, какъ она знала, находятся въ могилахъ. Гіеродула храма Діаны, съ отчаянія, зарѣзалась жертвеннымъ ножомъ; а правитель Киликіи, въ заключеніе своихъ обѣщаній, крикнулъ моей семьѣ, что умертвитъ меня; но какъ разъ самъ онъ погибъ три дня спустя, умерщвленный Римлянами.

ДАМИДЪ

Антонію, подталкивая его локтемъ:

А? развѣ я не говорилъ? что за человѣкъ!

АПОЛЛОНІЙ.

Я хранилъ четыре года подрядъ полное молчаніе пиѳагорейцевъ. Самое неожиданное горе не вырывало у меня вздоха; и въ театрѣ, когда я входилъ, отъ меня отстранялись какъ отъ призрака.

ДАМИДЪ.

Сдѣлалъ ли бы это ты?

АПОЛЛОНІЙ.

Когда кончилось время искуса, я принялся учить жрецовъ, которые исказили преданіе.

АНТОНІЙ.

Какое преданіе?

ДАМИДЪ.

Дай ему продолжать! Молчи!

АПОЛЛОНІЙ.

Я бесѣдовалъ съ Саманеями Ганга, съ астрологами Халдеи, магами Вавилона, съ галльскими Друидами, съ жрецами негровъ. Я взошелъ на четырнадцать Олимповъ, я измѣрилъ глубину озеръ Скиѳіи, я извѣдалъ огромность Пустыни!

ДАМИДЪ.

И все это правда! Я тоже былъ тамъ!

АПОЛЛОНІЙ.

Вначалѣ я побывалъ у Гирканскаго моря. Я обошелъ его кругомъ; и черезъ страну Бараоматовъ, гдѣ погребенъ Буцефалъ, я спустился къ Ниневіи. У воротъ города ко мнѣ подошелъ человѣкъ.

ДАМИДЪ.

Это былъ я! Добрый учитель! Я полюбилъ тебя сейчасъ же. Ты былъ ласковѣй дѣвушки и прекраснѣе Бога!

АПОЛЛОНІЙ

не слушая его:

Онъ хотѣлъ идти за мной, чтобы служить переводчикомъ.

ДАМИДЪ.

Но ты отвѣтилъ, что понимаешь всѣ языки и тебѣ доступны всѣ мысли. Тогда я поцѣловалъ край твоего плаща и послѣдовалъ за тобой.

АПОЛЛОНІЙ.

За Ктезифономъ мы вступили въ земли Вавилона.

ДАМИДЪ.

И сатрапъ испустилъ крикъ, увидавъ такого блѣднаго человѣка.

АНТОНІЙ

въ сторону:

Что значитъ...

АПОЛЛОНІЙ.

Царь принялъ меня стоя, вблизи серебрянаго трона, въ круглой залѣ, усѣянной звѣздами;—а съ купола, на цѣпочкахъ, которыхъ нельзя разглядѣть, свѣшивались четыре большія золотыя птицы съ распростертыми крыльями.

АНТОНІЙ

мечтательно:

Неужели есть на свѣтѣ такія вещи?

ДАМИДЪ.

Что за городъ этотъ Вавилонъ! всѣ тамъ богаты! У домовъ, выкрашенныхъ въ синее, бронзовыя двери, и лѣстницы спускаются къ рѣкѣ;

чертитъ по землѣ палкой,

Вотъ такъ, видишь? А потомъ,—храмы, площади, бани, акведуки! Дворцы отдѣланы красной мѣдью! а внутри, если бъ ты зналъ!

АПОЛЛОНІЙ.

Надъ сѣверной стѣной возвышается башня, которая поддерживаетъ вторую, третью, четвертую, пятую—и еще цѣлыхъ три! Восьмая—святилище съ ложемъ. Туда никому нѣтъ доступа, кромѣ женщины, избранной жрецами для Бога Бэла. Царь Вавилона поселилъ тамъ меня.

ДАМИДЪ.

Меня же почти и не замѣчали! Такъ, я оставался въ одиночествѣ и бродилъ по улицамъ. Я разузнавалъ объ обычаяхъ; заходилъ въ мастерскія; разсматривалъ могучія машины, доставляющія воду въ сады. Но мнѣ было скучно безъ Учителя.

АПОЛЛОНІЙ.

Наконецъ, мы покинули Вавилонъ; и при свѣтѣ луны мы вдругъ увидали эмпузу.

ДАМИДЪ.

Да, да! Она прыгала на своихъ желѣзныхъ копытахъ; она ржала какъ оселъ; она скакала по скаламъ. Онъ посылалъ ей проклятія; она исчезла.

АНТОНІЙ

въ сторону:

Куда же они направляются?

АПОЛЛОНІЙ

Въ Таксиллѣ, столицѣ пяти тысячъ укрѣпленій, Фраортъ, царь Гангскій, показывалъ намъ гвардію черноко-

жихъ, ростомъ въ пять локтей, и въ садахъ своего дворца, подъ навѣсомъ изъ зеленой парчи—огромнаго слона, умащеніемъ котораго развлекались царицы. Это былъ слонъ Пора, сбѣжавшій послѣ смерти Александра.

ДАМИДЪ.

И котораго нашли въ одномъ лѣсу.

АНТОНІЙ.

Они говорятъ такъ много, какъ будто пьяны.

АПОЛЛОНІЙ.

Фраортъ посадилъ насъ съ собой за столъ.

ДАМИДЪ.

Какая забавная страна! Владыки, на пирахъ, развлекаются стрѣльбой изъ лука подъ ноги танцующимъ дѣтямъ. Но я не одобряю...

АПОЛЛОНІЙ.

Когда я былъ готовъ къ отъѣзду, Царь далъ мнѣ зонтикъ, и сказалъ: „У меня есть на Индѣ табунъ бѣлыхъ верблюдовъ. Когда они не будутъ тебѣ нужны, подуй имъ въ уши. Они возвратятся".

Мы спустились по теченію рѣки, идя ночью при мерцаніи свѣтляковъ, что блестѣли въ бамбукахъ. Рабъ насвистывалъ пѣсенку, чтобы отгонять змѣй: и наши верблюды нагибались, проходя подъ деревьями, какъ сквозь слишкомъ низкія двери.

Однажды, черный ребенокъ съ золотымъ жезломъ въ рукѣ привелъ насъ въ школу мудрецовъ. Ярхасъ, ихъ глава, говорилъ мнѣ о моихъ предкахъ, обо всѣхъ моихъ мысляхъ, поступкахъ, существованіяхъ. Онъ былъ нѣкогда рѣкою Индомъ, и напомнилъ мнѣ, что я сопровождалъ барки на Нилѣ во времена царя Сезостриса.

ДАМИДЪ.

Мнѣ же ничего не говорятъ, такъ что я не знаю, кѣмъ я былъ.

АНТОНІЙ.

Они смутны, какъ тѣни.

АПОЛЛОНІЙ.

На берегу моря мы встрѣтили Киноцефаловъ, упившихся молокомъ, которые возвращались изъ похода на островъ Тапробанэ. Теплыя волны приносили намъ блѣдный жемчугъ. Амбра хрустѣла у насъ подъ ногами. Скелеты китовъ бѣлѣли въ расщелинахъ утесовъ. Суша, подъ конецъ, сузилась до размѣра сандаліи; — и брызнувъ къ солнцу водой Океана, мы повернули направо, чтобы возвратиться назадъ.

Мы возвращались Областью Ароматовъ, страной Гангаридовъ, мимо мыса Комаріа, землей Сахалитовъ, Адрамитовъ и Гомеритовъ; — затѣмъ черезъ Кассанійскія горы, Красное море и островъ Топазъ мы проникли въ Эѳіопію, пересѣкши царство Пигмеевъ.

АНТОНІЙ

въ сторону:

Какъ велика земля!

ДАМИДЪ.

И когда мы возвратились домой, всѣ тѣ, кого мы знали прежде, уже умерли.

Антоній склоняетъ голову. Молчаніе.

АПОЛЛОНІЙ

продолжаетъ:

Тогда среди людей начали говорить обо мнѣ.

Чума опустошала Эфесъ; я приказалъ побить камнями стараго нищаго;

ДАМИДЪ.

И чума прекратилась!

АНТОНІЙ.

Какъ? Онъ изгоняетъ болѣзни?

АПОЛЛОНІЙ.

Въ Книдѣ я излѣчилъ влюбившагося въ Венеру.

ДАМИДЪ.

Да, безумца, который обѣщалъ даже жениться на ней.—Любить женщину еще простительно; но статую, какая глупость! Учитель положилъ ему руку на сердце: и любовь тотчасъ угасла.

АНТОНІЙ.

Какъ! онъ освобождаетъ отъ бѣсовъ?

АПОЛЛОНІЙ.

Въ Тарентѣ несли на костеръ молодую мертвую дѣвушку.

ДАМИДЪ.

Учитель дотронулся до ея губъ и она поднялась, призывая мать.

АНТОНІЙ.

Какъ! онъ воскрешаетъ мертвыхъ?

АПОЛЛОНІЙ.

Я предсказалъ Веспасіану власть.

АНТОНІЙ.

Какъ! Онъ угадываетъ будущее?

ДАМИДЪ.

Въ Коринѳѣ былъ,

АПОЛЛОНІЙ.

Сидя съ нимъ за столомъ, на водахъ въ Байи.

АНТОНІЙ.

Извините меня, иностранцы, уже поздно!

ДАМИДЪ.

Юноша, котораго звали Менипомъ.

АНТОНІЙ.

Нѣтъ, нѣтъ! уходите!

АПОЛЛОНІЙ.

Вбѣжала собака, неся въ пасти отрубленную руку.

ДАМИДЪ.

Разъ вечеромъ, въ предмѣстьѣ, онъ встрѣтилъ женщину.

АНТОНІЙ.

Вы не слышите меня? Удалитесь!

АПОЛЛОНІЙ.

Собака безцѣльно бродила вокругъ возлежавшихъ.

АНТОНІЙ.

Довольно!

АПОЛЛОНІЙ.

Ее хотѣли прогнать.

ДАМИДЪ.

Мениппъ же отправился къ женщинѣ; они полюбили другъ друга.

АПОЛЛОНІЙ.

И постукивая хвостомъ по мозаикѣ, собака положила эту руку на колѣни Флавія.

ДАМИДЪ.

Но утромъ, на урокахъ въ школѣ, Мениппъ былъ блѣденъ.

АНТОНІЙ

отскакивая:

Опять! Ахъ, пусть продолжаютъ, вѣдь нѣтъ...

ДАМИДЪ.

Учитель сказалъ ему: „О прекрасный юноша, ты ласкаешь змѣю; змѣя ласкаетъ тебя. Когда свадьба?“ Мы всѣ пошли на свадьбу.

АНТОНІЙ.

Право, какъ глупо, что я слушаю это!

ДАМИДЪ.

Начиная со входа двигались служители, отворялись двери; однако, не было слышно ни шума шаговъ, ни скрипа дверей. Учитель сѣлъ возлѣ Мениппа. Тотчасъ же новобрачною овладѣлъ гнѣвъ на философовъ. Но золотая посуда, виночерпіи, повара, хлѣбодары, все исчезло; крыша слетѣла, стѣны рухнули; и Аполлоній стоялъ одинъ, недвижимо, а у его ногъ лежала женщина, вся въ слезахъ. Это былъ вампиръ, удовлетворявшій красивыхъ юношей, чтобы пожирать ихъ тѣла,—ибо ничего нѣтъ пріятнѣе для этого рода выходцевъ, чѣмъ кровь влюбленныхъ.

АПОЛЛОНІЙ.

Если ты хочешь знать искусство...

АНТОНІЙ.

Я не хочу ничего знать!

АПОЛЛОНІЙ.

Въ вечеръ нашего прибытія къ воротамъ Рима,

АНТОНІЙ.

О! да! говорите мнѣ о городѣ папъ!

АПОЛЛОНІЙ.

Пьяный человѣкъ подошелъ къ намъ, напѣвая пріятнымъ голосомъ. Это была эпиталама Нерона; и онъ имѣлъ право умертвить всякаго, кто слушалъ небрежно. Онъ носилъ на спинѣ, въ ящичкѣ, струну съ киѳары Императора. Я пожалъ плечами. Онъ бросилъ намъ въ лицо грязью. Тогда я разстегнулъ свой поясъ, и передалъ его ему въ руки.

ДАМИДЪ.

Извини меня, это была ошибка!

АПОЛЛОНІЙ.

Ночью Императоръ велѣлъ позвать меня во дворецъ. Онъ игралъ въ кости со Споромъ, облокотившись лѣвой рукой на агатовый столъ. Онъ обернулся, хмуря свои свѣтлыя брови: „Почему ты не боишься меня?“ спросилъ онъ. „Потому что Богъ, создавшій тебя свирѣпымъ, далъ мнѣ безтрепетность“, отвѣтилъ я.

АНТОНІЙ

въ сторону:

Что-то необъяснимое ужасаетъ меня.

Молчаніе.

ДАМИДЪ

продолжаетъ пронзительнымъ голосомъ.

Кромѣ того, вся Азія могла бы подтвердить тебѣ...

АНТОНІЙ

порывисто:

Я боленъ! оставьте меня!

ДАМИДЪ.

Слушай же! Онъ видѣлъ, изъ Эфеса, какъ убивали Домиціана, который былъ въ Римѣ.

АНТОНІЙ

пытаясь смѣяться:

Развѣ это возможно?

ДАМИДЪ.

Да, въ театрѣ, среди бѣла дня—четырнадцатаго октябрьскихъ календъ, онъ вдругъ воскликнулъ: „Убиваютъ Цезаря!“ и прибавлялъ отъ времени до времени: „Онъ падаетъ

на землю; о, какъ онъ борется. Онъ поднимается; пробуетъ убѣжать; двери заперты; ахъ, кончено! онъ мертвъ". И въ этотъ день, дѣйствительно, Титъ Флавій Домиціанъ былъ умерщвленъ, какъ ты знаешь.

АНТОНІЙ.

Безъ помощи Дьявола... разумѣется...

АПОЛЛОНІЙ.

Онъ хотѣлъ погубить меня, этотъ Домиціанъ! Дамидъ бѣжалъ по моему приказу, и я остался одинъ въ темницѣ.

ДАМИДЪ.

Это была страшная смѣлость, надо сознаться!

АПОЛЛОНІЙ.

Въ пятомъ часу солдаты привели меня въ судилище. Рѣчь моя была написана, и я держалъ ее подъ плащомъ.

ДАМИДЪ.

Мы, остальные, были на прибрежьѣ Пуццоли. Мы думали, что ты уже мертвъ; мы плакали. Какъ вдругъ, въ шестомъ часу, ты внезапно появился и сказалъ: „Это я".

АНТОНІЙ

въ сторону:

Какъ Онъ!

ДАМИДЪ

очень громко:

Совершенно такъ же!

АНТОНІЙ.

О, нѣтъ, вы лжете, конечно вы лжете!

АПОЛЛОНІЙ.

Онъ сошелъ съ Неба. Я же восхожу туда,—благодаря своей добродѣтели, возведшей меня до высоты Начала!

ДАМИДЪ.

Тіана, его родной городъ, воздвигъ въ честь его храмъ со жрецами!

АПОЛЛОНІЙ

приближается къ Антонію и кричитъ ему:

Ибо я знаю всѣхъ боговъ, всѣ обряды, всѣ молитвы, всѣ

оракулы! Я проникъ въ пещеру Трофонія, сына Аполлона! Я заквашивалъ для Сиракузянокъ пироги, которые они носятъ въ горы! я выдержалъ восемьдесятъ испытаній Митры! я прижималъ къ своей груди змѣю Сабазія! я получилъ поясъ Кабировъ! я купалъ Кибелу въ волнахъ кампанскихъ заливозъ, и я провелъ три луны въ пещерахъ Самоѳракіи!

ДАМИДЪ

глупо смѣясь:

А, да, да! при таинствахъ Доброй Богини!

АПОЛЛОНІЙ.

И теперь мы возобновляемъ паломничество! Мы идемъ къ Сѣверу, въ-страну лебедей и снѣговъ. На бѣлой равнинѣ слѣпые гиппоподы топчутъ копытами заморскія растенія.

ДАМИДЪ.

Идемъ! уже заря. Пѣтухъ прокричалъ, лошадь проржала, корабль готовъ.

АНТОНІЙ.

Пѣтухъ не кричалъ! Я слышу сверчка въ пескахъ, и луна попрежнему стоитъ на небѣ.

АПОЛЛОНІЙ.

Мы идемъ къ Югу, дальше горъ и великихъ волнъ, искать въ ароматахъ смысла любви. Ты вдохнешь запахъ мирродіона, который губитъ слабыхъ. Ты искупаешь свое тѣло въ озерѣ розоваго масла на островѣ Юнонія. Ты увидишь ящерицу, спящую на буквицахъ, что пробуждается каждый вѣкъ, какъ выпадаетъ въ часъ ея зрѣлости карбункулъ съ ея лба. Звѣзды мерцаютъ какъ рѣсницы, каскады поютъ какъ лиры, опьяненіе исходитъ отъ распустившихся цвѣтовъ; твой духъ какъ и твоя внѣшность расцвѣтутъ среди вѣтерковъ.

ДАМИДЪ.

Учитель! время! Сейчасъ подымется вѣтеръ, ласточки просыпаются, улетѣлъ листочекъ мирты!

АПОЛЛОНІЙ.

Да, идемъ!

АНТОНІЙ.

Нѣтъ, я остаюсь!

АПОЛЛОНІЙ.

Хочешь, я сообщу тебѣ, гдѣ найти растеніе Балисъ, что воскрешаетъ мертвыхъ?

ДАМИДЪ.

Проси у него лучше андродамасъ, привлекающій серебро, желѣзо и мѣдь!

АНТОНІЙ.

О, какъ я страдаю! какъ я страдаю!

ДАМИДЪ.

Ты будешь понимать языкъ всѣхъ тварей, рычанія, воркованія!

АПОЛЛОНІЙ.

Я посажу тебя на единорога, на драконовъ, на гиппоцентавровъ и дельфиновъ.

АНТОНІЙ

плачетъ

О.! о.!. о!

АПОЛЛОНІЙ.

Ты узнаешь демоновъ, что живутъ въ пещерахъ, тѣхъ, что говорятъ въ лѣсахъ, вздымаютъ волны, гонятъ облака.

ДАМИДЪ.

Стяни свой поясъ! завяжи сандаліи!

АПОЛЛОНІЙ.

Я объясню тебѣ смыслъ изображеній боговъ, — почему Аполлонъ стоитъ, Юпитеръ сидитъ, почему Венера черна въ Коринѳѣ, четыреугольна въ Аѳинахъ, коническая въ Пафосѣ.

АНТОНІЙ,

соединяя руки:

Уйдите! Уйдите!

АПОЛЛОНІЙ.

Я буду срывать предъ тобой доспѣхи съ Боговъ, мы взломаемъ святилища, я дамъ тебѣ изнасиловать Пиѳію!

АНТОНІЙ.

На помощь, Господи!

Бросается къ кресту.

АПОЛЛОНІЙ.

Чего ты хочешь? о чемъ мечтаешь? Торопись же подумать...

АНТОНІЙ.

Іисусъ, Іисусъ, на помощь!

АПОЛЛОНІЙ.

Хочешь, чтобы я заставилъ явиться Іисуса?

АНТОНІЙ.

Что? Какъ?

АПОЛЛОНІЙ.

Это будетъ онъ! никто иной! Онъ сброситъ свой вѣнецъ, и мы поговоримъ лицомъ къ лицу.

ДАМИДЪ

тихо:

Скажи, что очень хочешь! Скажи, что очень хочешь!

Антоній бормочетъ молитвы у подножья креста. Дамидъ вертится вокругъ него съ заискивающими жестами.

Ну, добрый отшельникъ, дорогой святой Антоній! человѣкъ чистый, знаменитый, которому нѣтъ достаточныхъ похвалъ! Не пугайся; это просто пріемъ говорить преувеличивая, заимствованный съ Востока. Это нисколько не мѣшаетъ...

АПОЛЛОНІЙ.

Оставь его, Дамидъ!

Онъ вѣритъ, какъ невѣжда, въ дѣйствительность внѣшняго міра. Ужасъ передъ Богами мѣшаетъ ему понять ихъ; и онъ унижаетъ своего Бога до уровня ревниваго царя.

Ты, сынъ мой, не покидай меня!

Пятясь приближается къ краю утеса, переступаетъ его и останавливается въ воздухѣ.

Надъ всѣмъ видимымъ, далѣе земли, за предѣлами неба, пребываетъ міръ Идей, полный слова! Однимъ движеніемъ мы перейдемъ въ другую область; и ты познаешь въ ея безконечности Вѣчное, Абсолютное, Сущее!—Идемъ! дай мнѣ руку! Въ путь!

Оба, бокъ-о-бокъ, плавно подымаются кверху.
Антоній, обнимая крестъ, смотритъ на нихъ.
Они исчезаютъ.

V.

АНТОНІЙ,

медленно шагая:

Этотъ стоитъ цѣлаго ада!

Навуходоносоръ поразилъ меня меньше. Царица Савская восхитила не такъ глубоко.

То, какъ онъ говоритъ о Богахъ, внушаетъ желаніе узнать ихъ.

Помню, я видѣлъ ихъ сотни одновременно на островѣ Элефантинѣ при Діоклетіанѣ. Императоръ уступилъ Номадамъ обширный край, подъ условіемъ охраны границъ; и договоръ былъ заключенъ во имя „Силъ невидимыхъ“. Ибо каждое племя знало только своихъ Боговъ.

Варвары привезли своихъ. Они заняли песчаные холмы, что окаймляютъ рѣку. Было видно, какъ они держатъ на рукахъ своихъ идоловъ, точно большихъ параличныхъ дѣтей; или они плавали между пороговъ на пальмовыхъ стволахъ, показывая издали амулеты на шеѣ, татуировку груди;—и въ этомъ не больше преступнаго, чѣмъ въ религіи Грековъ, жителей Азіи и Римлянъ!

Когда я жилъ въ храмѣ Геліополя, я часто наблюдалъ изображенія на стѣнахъ: ястребовъ съ жезлами, крокодиловъ, что играли на лирахъ, лица мужчинъ съ туловищами змѣй, женщинъ съ коровьими головами, что простирались передъ итифаллическими богами; и ихъ сверхъестественные образы уводили меня въ иные міры. Мнѣ интересно было бы знать, что видятъ эти спокойные глаза.

Чтобы матерія обладала такой властью, она должна содержать духъ. Души Боговъ связаны съ ихъ изображеніями...

Тѣ изъ нихъ, кто прекрасенъ, могутъ соблазнять. Но остальные.... противные и ужасные, какъ вѣрить въ нихъ?..

И мимо него вровень съ землей движутся листья, камни, раковины, вѣтви деревьевъ, неясныя изображенія живот-

ныхъ, разные уродцы, раздутые водянкой; это Божества. Онъ разражается смѣхомъ.

Сзади тоже раздается смѣхъ; и появляется Иларіонъ—въ одеждѣ отшельника, гораздо большаго роста, чѣмъ былъ только-что, гигантъ.

АНТОНІЙ

не удивленъ, что вновь видитъ его.

Какимъ глупцомъ нужно быть, чтобы поклоняться этому!

ИЛАРІОНЪ.

О, да, необычайнымъ глупцомъ!

И вотъ передъ ними проходятъ идолы всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, изъ дерева, металла, гранита, перьевъ, сшитыхъ шкуръ.

Самые древніе, предшествовавшіе Потопу, теряются подъ морскими водорослями, что висятъ какъ гривы. У нѣкоторыхъ, несоразмѣрно высокихъ, лопаются суставы, и шагая они переламываютъ себѣ поясницы.

Изъ другихъ сыплется песокъ черезъ дыры въ брюхахъ.

Антоній и Иларіонъ въ восторгѣ. Они хватаются за бока отъ хохота.

Потомъ проходятъ идолы, похожіе на барановъ. Они покачиваются на кривыхъ ногахъ, пріоткрываютъ вѣки и мычатъ какъ нѣмые: „Ба! ба! ба!“

Чѣмъ ближе они къ человѣческому типу, тѣмъ сильнѣе раздраженіе Антонія. Онъ бьетъ ихъ кулаками, ногой, кидается на нихъ.

Они становятся ужасны—съ высокими гребнями, шарообразными глазами, руки ихъ переходятъ въ когти, пасти какъ у акулъ.

И передъ этими Богами умерщвляютъ на каменныхъ алтаряхъ людей; другихъ толкутъ въ чанахъ, давятъ колесницами, пригвождаютъ къ деревьямъ. Среди Божествъ одно изъ раскаленнаго желѣза и съ бычьими рогами; оно пожираетъ дѣтей.

АНТОНІЙ.

О, ужасъ!

ИЛАРІОНЪ.

Но Боги всегда требуютъ мукъ. Даже твой пожелалъ...

АНТОНІЙ,

рыдая:

О, не доканчивай, умолкни!

Ограда скалъ превращается въ долину. На ней щиплетъ мелкую травку стадо быковъ.

Пастухъ, караулящій ихъ, смотритъ на облако;—и гортаннымъ голосомъ выкрикиваетъ къ небу слова повелѣнія.

ИЛАРІОНЪ.

Такъ какъ ему нуженъ дождь, онъ старается пѣніемъ принудить царя небесъ раскрыть живоносную тучу.

АНТОНІЙ,

смѣясь:

Что за глупѣйшая гордость!

ИЛАРІОНЪ.

А зачѣмъ ты произносишь заклинанія?

Долина становится молочнымъ моремъ, недвижнымъ и безбрежнымъ.

Посрединѣ плаваетъ продолговатая колыбель, составленная изъ колецъ змѣи, всѣ головы которой, склоняясь одновременно, бросаютъ тѣнь на бога, заснувшаго на ея тѣлѣ.

Онъ молодъ, безбородъ, прекраснѣе дѣвушки и покрытъ прозрачными пеленами. Жемчуги его тіары блистаютъ ласково, какъ луны, цѣпочка изъ звѣздъ дѣлаетъ нѣсколько оборотовъ на его груди; и подложивъ одну руку подъ голову, вытянувъ другую, онъ отдыхаетъ въ задумчивости и опьяненіи.

Женщина на корточкахъ у его ногъ ожидаетъ его пробужденія.

ИЛАРІОНЪ.

Это первородная двойственность Брахмановъ,—ибо Абсолютъ не выражается ни въ какой формѣ.

Изъ пупа Бога выросъ стебель лотоса; и въ его вѣнчикѣ появляется другой Богъ съ тремя лицами.

АНТОНІЙ.

Что за диковина!

ИЛАРІОНЪ.

Отецъ, Сынъ и Духъ Святой такъ же соединены въ одномъ существѣ!

Три головы разъединяются и показываются три великихъ Бога.

Первый, розовый, кусаетъ большой палецъ своей ноги.

Второй, синій, движетъ четырьмя руками.

На третьемъ, зеленомъ, ожерелье изъ человѣчьихъ череповъ.

Передъ ними сейчасъ же появляются три Богини,—одна покрыта сѣткой, другая протягиваетъ чашу, третья размахиваетъ лукомъ.

И число этихъ Боговъ и Богинь удесятеряется, умножается. На ихъ плечахъ выростаютъ руки, которыя держатъ знамена, топоры, щиты, мечи, зонтики и барабаны. Изъ ихъ головъ бьютъ фонтаны, изъ ноздрей свѣшиваются травы.

Верхомъ на птицахъ, укачиваемые въ паланкинахъ, возсѣдая на золотыхъ креслахъ, стоя въ нишахъ изъ слоновой кости, они мечтаютъ, путешествуютъ, предводительствуютъ, пьютъ вино, вдыхаютъ запахи цвѣтовъ. Танцовщицы пляшутъ, гиганты преслѣдуютъ чудищъ; у входовъ въ гроты размышляютъ пустынники. Нельзя отличить зрачковъ отъ звѣздъ, облаковъ отъ знаменъ; павлины пьютъ изъ ручьевъ золотого песку, вышивки на шатрахъ смѣшиваются съ пятнами леопардовъ, разноцвѣтные лучи перекрещиваются въ голубомъ воздухѣ съ летящими стрѣлами и кадящими курильницами.

И все это развертывается какъ высокій фризъ, опираясь основаніемъ на скалы и восходя вверхъ къ небесамъ.

АНТОНІЙ

въ восхищеніи:

Какое множество! чего они хотятъ?

ИЛАРІОНЪ.

Тотъ, что третъ себѣ брюхо слоновымъ хоботомъ,—Богъ солнца, вдохновитель мудрости.

Вотъ этотъ, на шести головахъ котораго башни и въ четырнадцати рукахъ дротики, царь войны, огонь-пожиратель.

Старикъ верхомъ на крокодилѣ ѣдетъ къ прибрежью омывать души умершихъ. Ихъ будетъ мучить эта черная женщина съ гнилыми зубами, владычица ада.

Колесница съ рыжими кобылами, которою правитъ безногій кучеръ, носитъ по воздуху властелина солнца. Богъ луны сопровождаетъ его въ повозкѣ, запряженной тройкой газелей.

Колѣнопреклоненная на спинѣ попугая, Богиня Красоты предлагаетъ богу Любви, своему сыну, свой круглый сосецъ.

Вотъ она дальше прыгаетъ въ радости по лугамъ. Смотри! смотри! съ ослѣпительной митрой на головѣ, она мчится по полямъ, по волнамъ, восходитъ кверху,—она вездѣ!

Среди этихъ Боговъ возсѣдаютъ Геніи вѣтровъ, планетъ, мѣсяцевъ, дней, тысячи всякихъ другихъ! и ихъ облики многообразны, ихъ измѣненія быстры. Вотъ одинъ изъ рыбы превращается въ черепаху; теперь у него голова кабана, туловище карлика.

АНТОНІЙ.

Для чего это?

ИЛАРІОНЪ

Чтобъ возстановить равновѣсіе, чтобы побѣдить зло. Но жизнь истощается, формы изнашиваются; и онѣ должны совершенствоваться въ превращеніяхъ.

Вдругъ появляется

НАГОЙ ЧЕЛОВѢКЪ,

сидящій въ пескѣ скрестивъ ноги.

Широкое сіяніе мерцаетъ сзади него въ воздухѣ. Мелкіе завитки черныхъ волосъ съ синеватымъ отливомъ симметрично опоясываютъ выступъ на темени. Очень длинныя руки вытянуты по бокамъ. Ихъ кисти, съ ладонями вверхъ, покоятся на бедрахъ. На ступняхъ ногъ изображеніе двухъ солнцъ; и онъ совершенно недвижимъ передъ Антоніемъ и Иларіономъ; вокругъ всѣ Боги выстроились по утесамъ, какъ по ступенямъ цирка.

Губы его пріоткрываются; и слышенъ низкій голосъ:

Я учитель великой милостыни, облегчитель созданій, и вѣрующимъ какъ и невѣждамъ я излагаю законъ.

Чтобы освободить міръ, я пожелалъ родиться среди людей. Боги рыдали, когда я ушелъ.

Я искалъ вначалѣ женщину, какую слѣдуетъ: изъ воинской касты, добродѣтельную, необычайно прекрасную, съ глубокимъ пупкомъ, съ крѣпкимъ какъ алмазъ тѣломъ; и во время полнолунія безъ посредства самца я вошелъ въ ея чрево.

Я вышелъ оттуда черезъ правый бокъ. Звѣзды остановились.

ИЛАРІОНЪ,

бормочетъ сквозь зубы:

„Увидѣвши же звѣзду, они возрадовались радостью весьма великою!“

Антоній смотритъ внимательно на

ВУДДУ,

который продолжаетъ:

Изъ глубины Гималаевъ одинъ благочестивый старецъ пришелъ посмотрѣть на меня.

ИЛАРІОНЪ.

„Человѣкъ, именемъ Симеонъ. Ему было предсказано Духомъ Святымъ, что онъ не увидитъ смерти, доколѣ не увидитъ Христа Господня!“

ВУДДА.

Меня учили въ школахъ. Тамъ я зналъ больше, чѣмъ учителя.

ИЛАРІОНЪ.

...„Сидящаго посреди учителей; и всѣ слушавшіе Его дивились разуму и отвѣтамъ Его“.

Антоній дѣлаетъ Иларіону знакъ замолчать.

ВУДДА.

Безпрерывно размышлялъ я въ садахъ. Тѣни деревъ передвигались; но тѣнь того, что укрывало меня, была неподвижна.

Никто не могъ сравниться со мной въ знаніи писаній, исчисленіи атомовъ, управленіи слонами, въ работахъ изъ воску, астрономіи, поэзіи, кулачномъ боѣ, во всѣхъ упражненіяхъ и во всѣхъ искусствахъ!

Слѣдуя обычаю, я взялъ себѣ супругу;—и я проводилъ дни въ своемъ царскомъ дворцѣ, одѣтый въ жемчугъ, въ потокахъ ароматовъ, овѣваемый опахалами тридцати трехъ тысячъ женщинъ, созерцая мои народы съ высоты террасъ, украшенныхъ звенящими колокольчиками.

Но видъ ничтожествъ міра отвратилъ меня отъ наслажденій. Я бѣжалъ.

Я нищенствовалъ на дорогахъ, покрытый лохмотьями, которые подбиралъ въ гробницахъ; и такъ какъ былъ одинъ

очень мудрый отшельникъ, я пожелалъ сдѣлаться его рабомъ; я стерегъ его дверь, я мылъ ему ноги.

Уничтожились всѣ ощущенія, всѣ радости, всѣ томленья.

Затѣмъ, сосредоточивъ мысль на болѣе глубокомъ размышленіи, я позналъ существо вещей, призрачность видимаго.

Я быстро исчерпалъ науку Брахмановъ. Ихъ грызутъ желанія несмотря на суровость ихъ вида, они испачкиваются нечистотами, спятъ на шипахъ, надѣясь придти къ блаженству путемъ смерти!

ИЛАРІОНЪ.

„Фарисеи, лицемѣры, что уподобляетесь окрашеннымъ гробамъ, порожденія ехиднъ!“

БУДДА.

Я также совершилъ много изумительнаго; я съѣдалъ въ день всего по зернышку риса, а зерна риса въ тѣ времена не были крупнѣе теперешнихъ;—мои волосы выпали, тѣло стало чернымъ; глаза, ушедшія въ орбиты, казались звѣздами на днѣ колодца.

Шесть лѣтъ я пребывалъ неподвижнымъ, отдаваясь мухамъ, львамъ и змѣямъ; и я встрѣчалъ великія жары, великіе дожди, снѣгъ, молнію, градъ и бурю, не закрываясь даже рукой.

Проѣзжавшіе путники, считая меня мертвымъ, бросали въ меня издали комьями земли!

Мнѣ не хватало искушенія Дьявола.

Я призвалъ его.

Явились его сыновья—мерзкіе, въ струпьяхъ, отъ нихъ воняло какъ изъ кладовыхъ для мяса, они выли, свистѣли, мычали, бряцали доспѣхами и костями мертвецовъ. Одни изрыгаютъ пламя изъ ноздрей, другіе наводятъ тьму своими крыльями, на третьихъ чѣтки изъ отрубленныхъ пальцевъ, четвертые пьютъ ядъ змѣи съ ладоней своихъ рукъ; у нихъ свиныя, единорожьи и жабьи морды, всевозможные облики, внушающіе отвращеніе и ужа-

АНТОНІЙ

въ сторону:

Я испыталъ все это нѣкогда!

БУДДА.

Затѣмъ онъ послалъ мнѣ своихъ дочерей—прекрасныхъ, нарумяненныхъ, въ золотыхъ поясахъ, съ бѣлыми какъ жасминъ зубами, съ округлыми какъ хоботъ слона бедрами. Нѣкоторыя зѣвая вытягиваютъ руки, чтобъ показать ямочки на локтяхъ; другія подмигиваютъ глазами, третьи принимаются хохотать, четвертыя пріоткрываютъ одежды. Здѣсь есть стыдливыя дѣвушки, полныя гордости матроны, царицы съ длинной свитой рабовъ и поклажи.

АНТОНІЙ

въ сторону:

А! и онъ тоже?

БУДДА.

Побѣдивъ демона, я провелъ двѣнадцать лѣтъ, питаясь исключительно благоуханіями; и такъ какъ я пріобрѣлъ пять добродѣтелей, пять способностей, десять силъ, восемнадцать субстанцій и проникъ въ четыре сферы невидимаго міра, Разумъ почилъ на мнѣ! Я сталъ Буддой.

Всѣ Божества склоняются; тѣ, у кого нѣсколько головъ, наклоняютъ всѣ сразу.

Онъ поднимаетъ свою длинную руку и продолжаетъ:

Чтобы освободить созданія, я принесъ сотни тысячъ жертвъ! Я роздалъ бѣднымъ шелковыя одежды, постели, колесницы, дома, груды золота и алмазовъ. Я отдалъ свои руки безрукимъ, ноги хромымъ, глаза слѣпымъ; я отрубилъ свою голову для обезглавленныхъ. Будучи царемъ, я раздавалъ области; будучи брахманомъ, я не отвергъ никого. Когда я былъ пустынникомъ, я обратился съ ласковыми словами къ разбойнику, зарѣзавшему меня. Когда я былъ тигромъ, я уморилъ себя голодомъ.

И въ этомъ послѣднемъ существованіи, проповѣдавъ законъ, я свободенъ отъ дѣлъ. Великій періодъ законченъ! Люди, животныя, Боги, бамбуки, океаны, горы, песчинки съ

береговъ Ганга и миріады миріадъ звѣздъ, все умретъ; и до новыхъ рожденій пламя будетъ плясать на развалинахъ погибшихъ міровъ!

Тогда безуміе овладѣваетъ Богами. Они шатаются, падаютъ въ конвульсіяхъ, и извергаютъ свои жизни. Ихъ короны разламываются, знамена улетаютъ. Они срываютъ свои символы, полъ, бросаютъ черезъ плечи чаши, изъ которыхъ пили безсмертіе, удушаютъ себя своими змѣями, падаютъ, изнемогая въ дыму;—и когда все исчезло

ИЛАРІОНЪ

говоритъ тихо:

Ты только что видѣлъ вѣру многихъ сотенъ милліоновъ людей!

Антоній лежитъ на полу, закрывъ лицо руками. Стоя передъ нимъ, спиной къ кресту, смотритъ на него Иларіонъ. Проходитъ довольно долгое время.

Затѣмъ появляется странное существо съ человѣческой головой и рыбьимъ туловищемъ. Оно подвигается стоймя, ударяя хвостомъ по песку;—и этотъ патріархъ съ короткими ручками вызываетъ у Антонія смѣхъ.

ОАННЪ

жалобнымъ голосомъ:

Почитай меня! Я современникъ сотворенія міра.

Я обиталъ въ царствѣ безформеннаго, гдѣ дремали двуполыя твари подъ грузомъ непрозрачной атмосферы, въ глубинѣ темныхъ волнъ,—когда пальцы, плавники и крылья не были раздѣлены, и когда глаза безъ головъ плавали какъ моллюски, среди быковъ съ человѣчьими лицами и змѣй съ собачьими лапами.

Надъ этимъ сборищемъ существъ согнутая какъ обручъ Оморока простирала свое тѣло женщины. Но Бэлъ разсѣкъ ее на двѣ части, изъ одной создалъ землю, изъ другой небо; и два родственныхъ міра взаимно созерцаютъ другъ друга.

Я, первое сознаніе Хаоса, возсталъ изъ бездны, чтобы уплотнить матерію, чтобы установить формы; и я научилъ людей рыболовству, сѣву, письму и исторіи Боговъ.

Съ тѣхъ поръ я живу въ прудахъ, оставшихся отъ Потопа. Но пустыня разрастается вокругъ, вѣтеръ заноситъ

ихъ пескомъ, солнце пожираетъ ихъ;—и я умираю на своемъ ложѣ изъ ила, созерцая звѣзды сквозь воду. Я возвращаюсь туда.

Прыгаетъ и исчезаетъ въ Нилѣ.

ИЛАРІОНЪ.

Это древнее Божество Халдеевъ!

АНТОНІЙ

иронически:

Такъ каковы же были Вавилонскія?

ИЛАРІОНЪ.

Ты можешь ихъ увидѣть!

И они оказываются на площадкѣ четыреугольной башни, высящейся надъ шестью другими, которыя по мѣрѣ подъема суживаются и образуютъ фантастическую пирамиду. Внизу виднѣется черная масса,—очевидно городъ,—расположенный въ равнинѣ. Холодно, небо темно-синее; мерцаетъ множество звѣздъ.

Посреди площадки стоитъ колонна бѣлаго камня. Жрецы въ льняныхъ одеждахъ ступаютъ вокругъ вереницею, описывая своимъ движеніемъ какъ бы живой кругъ; и поднявъ головы они созерцаютъ звѣзды.

ИЛАРІОНЪ

указываетъ Святому Антонію многія изъ нихъ:

Главныхъ свѣтилъ тридцать. Пятнадцать смотрятъ на землю сверху, пятнадцать снизу. Черезъ опредѣленные промежутки одно изъ нихъ устремляется изъ верхнихъ областей внизъ, а другое покидаетъ нижнія, чтобы достичь высшихъ.

Изъ семи планетъ двѣ благосклонны, двѣ враждебны, три безразличны; все на свѣтѣ зависитъ отъ этихъ вѣчныхъ огней. По ихъ мѣсту и движеніямъ можно предсказать будущее;—и ты попираешь священнѣйшее мѣсто на землѣ. Пиѳагоръ и Зороастръ встрѣтились здѣсь. Вотъ ужъ двѣнадцать тысячъ лѣтъ эти люди наблюдаютъ небо, чтобы лучше знать Боговъ.

АНТОНІЙ.

Звѣзды не Боги.

ИЛАРІОНЪ.

Боги, говорятъ они; ибо все вокругъ насъ преходитъ; а небо, какъ вѣчность, остается недвижнымъ!

АНТОНІЙ.

Надъ нимъ есть, однако, властелинъ!

ИЛАРІОНЪ

указывая на колонну:

Вотъ онъ, Бэлъ, первый свѣтъ, Солнце, Самецъ!—Другая, кого онъ оплодотворяетъ, подъ нимъ!

Передъ Антоніемъ садъ, освѣщенный свѣтильниками.

Онъ въ кипарисовой аллеѣ, вокругъ него толпа. Направо и налѣво небольшія дорожки ведутъ къ хижинамъ въ гранатовой рощѣ, которая огорожена камышевымъ плетнемъ.

На большинствѣ мужчинъ остроконечныя шапочки и пестрыя какъ перья павлиновъ, одежды. Здѣсь люди сѣвера въ медвѣжьихъ шкурахъ, номады въ плащахъ бурой шерсти, блѣдные Гангариды съ длинными серьгами; матросы и каменотесы ходятъ рядомъ съ царевичами въ алмазныхъ тіарахъ, у которыхъ въ рукахъ длинныя трости съ чеканными набалдашниками. У всѣхъ трепещутъ ноздри, всѣ объединены однимъ желаніемъ.

По временамъ они разступаются, давая мѣсто длинной закрытой повозкѣ, запряженной быками; или проходитъ оселъ, покачивая на спинѣ женщину, закутанную въ покрывала, и также исчезаетъ у хижинъ.

Антонію страшно; онъ вернулся бы назадъ. Но необъяснимое любопытство влечетъ его.

У подножья кипарисовъ вытянулись въ рядъ женщины, сидящія на корточкахъ на оленьихъ шкурахъ, съ веревочными тесьмами вмѣсто діадемъ. Нѣкоторыя, роскошно одѣтыя, громкимъ голосомъ зовутъ прохожихъ. Болѣе робкія прячутъ лицо въ ладоняхъ рукъ, а сзади ихъ ободряютъ пожилыя женщины, очевидно матери. Другія, у которыхъ головы закутаны въ черныя шали, а тѣла обнажены, кажутся издали живыми статуями. Когда мужчины бросаютъ имъ на колѣни золота, онѣ встаютъ.

А подъ деревьями слышны поцѣлуи,—иногда длинный пронзительный крикъ.

ИЛАРІОНЪ.

Это дѣвушки Вавилона служатъ Богинѣ.

АНТОНІЙ.

Какой богинѣ?

ИЛАРІОНЪ.

Вотъ этой!

И онъ показываетъ ему въ глубинѣ аллеи, на порогѣ освѣщеннаго грота, кусокъ камня, изображающій половой органъ женщины.

АНТОНІЙ.

Срамъ! какая мерзость—приписывать полъ Божеству!

ИЛАРІОНЪ.

Ты, однако, представляешь его какъ бы живымъ существомъ!

Вокругъ Антонія снова мракъ.

Онъ видитъ въ воздухѣ сіяющій кругъ, почившій на горизонтальныхъ крыльяхъ.

Это подобіе кольца опоясываетъ, какъ черезчуръ просторный поясъ, станъ маленькаго человѣка въ митрѣ, съ короной въ рукѣ, нижняя часть тѣла котораго теряется въ большихъ перьяхъ, расположенныхъ вѣеромъ.

Это

ОРМУЗДЪ,

богъ Персовъ.

Онъ порхаетъ, крича:

Мнѣ страшно! Я предчувствую его пасть.

Я побѣдилъ тебя, Ариманъ! Но ты начинаешь снова!

Сначала, возставая на меня, ты погубилъ старшее изъ созданій—Кайоморца, человѣка-Быка. Затѣмъ ты соблазнилъ первую чету людей, Мешіа и Мешіанэ: и ты распространилъ мракъ въ сердцахъ, ты двинулъ къ небу свои полчища.

У меня тоже были войска, племена звѣздъ; и со своего трона я созерцалъ внизу отряды свѣтилъ.

Митра, мой сынъ, жилъ въ неприступномъ мѣстѣ. Тамъ онъ принималъ души, отпускалъ ихъ, и подымался каждое утро расточать свои богатства.

Великолѣпіе неба отражалось землей. На горахъ сверкалъ огонь,—образъ другого огня, которымъ я создалъ всѣ твари. Чтобъ охранить его отъ осквернѣнія, мертвыхъ не сжигали. Клювы птицъ уносили ихъ къ небу.

Я установилъ пастбища, пашни, дерево для жертвъ, форму

чашъ, слова, необходимыя противъ безсонницы;—и мои жрецы безпрерывно молились, чтобы культъ былъ вѣченъ какъ Богъ. Очищались водой, возлагали хлѣбы на алтарь, громкимъ голосомъ исповѣдывали грѣхи.

Хаома отдавался въ видѣ питья людямъ, чтобы сообщать имъ свою силу.

Въ то время какъ геніи неба сражались съ демонами, дѣти Ирана преслѣдовали змѣй. Царь, которому служилъ на колѣняхъ цѣлый дворъ, воплощалъ меня, носилъ мой головной уборъ. Его сады были великолѣпны какъ земля небесная; а на гробницѣ онъ былъ изображенъ поражающимъ чудище,— эмблема Добра, уничтожающаго Зло.

Ибо въ концѣ концовъ я долженъ былъ, по милости безграничнаго времени, окончательно побѣдить Аримана.

Но разстояніе между нами все меньше; ночь надвигается! Ко мнѣ, Амеша-Спенты, Изеды, Феруэры! На помощь, Митра! обнажи свой мечъ! Каосіакъ, который долженъ придти для всеобщаго освобожденія, защити меня! Какъ?.. Никого?

О, я умираю! Ариманъ, власть за тобой!

Иларіонъ, позади Антонія, удерживаетъ крикъ радости,— и Ормуздъ погружается во мракъ.

Тогда появляется

ВЕЛИКАЯ ДІАНА ЭФЕССКАЯ

черная съ эмалевыми глазами; локти ея прижаты къ бокамъ, руки раздвинуты, ладони обращены кверху.

Львы ползаютъ у нея по плечамъ; на груди вперемежку фрукты, цвѣты, звѣзды; ниже открываются три ряда сосцовъ; и отъ чрева до ногъ она закутана въ тѣсную пелену, откуда высовываются въ полъ-туловища быки, олени, грифы и пчелы.—Ее освѣщаетъ бѣлый отсвѣтъ серебрянаго диска въ формѣ луны, который помѣщенъ позади головы.

Гдѣ мой храмъ?

Гдѣ мои амазонки?

Что со мной... я, нетлѣнная, и вотъ меня одолѣваетъ слабость!

Ея цвѣты вянутъ. Перезрѣлые плоды падаютъ. Львы,

быки, склоняютъ головы; истомленные олени точатъ слюну; пчелы, жужжа, умираютъ на землѣ.

Она нажимаетъ одинъ за другимъ свои сосцы. Всѣ они пусты! Но отъ отчаяннаго усилія пелена ея лопается. Она хватаетъ ея нижній край какъ фалду платья, бросаетъ туда животныхъ, цвѣты,—и тонетъ во тьмѣ.

А вдалекѣ слышится бормотанье, ропотъ, ревъ, оленій крикъ, мычаніе. Ночь стала непроницаемѣе отъ испареній. Падаютъ капли теплаго дождя.

АНТОНІЙ.

О какъ прекрасно! благоуханіе пальмъ, трепетъ зеленыхъ листьевъ, прозрачность источниковъ! Я хотѣлъ бы вытянуться во весь ростъ на землѣ, чтобы чувствовать ее у своего сердца; и моя жизнь обновилась бы въ ея вѣчной молодости!

Слышитъ звуки кастаньетъ и кимваловъ;—и вотъ мужчины въ бѣлыхъ туникахъ съ красной каймой ведутъ среди толпы крестьянъ осла въ богатой сбруѣ, съ лентами на хвостѣ и раскрашенными копытами.

Ящикъ въ чехлѣ изъ желтой ткани покачивается на его спинѣ между двухъ корзинъ; въ одной приношенія: яйца, виноградъ, груши, сыръ, живность, мелкія деньги; другая полна розъ, которыя ощипываютъ и бросаютъ передъ нимъ ведущіе осла.

Они въ серьгахъ, въ длинныхъ плащахъ, волосы ихъ заплетены въ косы, щеки нарумянены; масличные вѣнки на лбу замыкаются медальонами съ фигуркой; за поясомъ торчатъ кинжалы; и они потрясаютъ бичами съ эбеновой ручкой, три ремня которыхъ снабжены косточками.

Заключающіе процессію ставятъ на́ землю, стоймя, какъ свѣчу, высокую пылающую съ верхушки сосну, подъ самыми нижними вѣтвями которой укрывается барашекъ.

Оселъ остановился. Снимаютъ чехолъ. Подъ нимъ второе покрывало, изъ чернаго войлока. Тогда одинъ изъ людей въ бѣлыхъ туникахъ начинаетъ плясать, ударяя въ кроталы; другой, стоя на колѣняхъ передъ ящикомъ, бьетъ въ тамбуринъ, и

СТАРѢЙШІЙ

начинаетъ:

Вотъ Добрая Богиня, идейская́ Матерь, прародительница Сиріи! Приблизьтесь, честные люди!

Она даетъ радость, исцѣляетъ больныхъ, посылаетъ наслѣдства и утоляетъ влюбленныхъ.

Мы возимъ ее по полямъ въ ясную и бурную погоду.

Часто мы спимъ подъ открытымъ небомъ, и не всѣ дни у насъ сытный обѣдъ. Въ лѣсахъ живутъ разбойники. Звѣри выскакиваютъ изъ своихъ норъ. Скользкія дороги вьются надъ пропастями. Вотъ она! вотъ она!

Снимаютъ покрышку; подъ ней ящикъ, выложенный камешками.

Болѣе высокая, чѣмъ кедры, она паритъ въ голубомъ эоирѣ. Болѣе обширная, чѣмъ вѣтры, она обнимаетъ міръ. Ея дыханіе выдѣляется ноздрями тигровъ; ея голосъ грохочетъ въ вулканахъ, ея гнѣвъ есть буря; блѣдность ея лица сдѣлала бѣлой луну. Отъ нея зрѣютъ жатвы, она наполняетъ сокомъ кору, она выгоняетъ бороду. Подайте ей что-нибудь, она ненавидитъ скупыхъ!

Ящикъ пріоткрывается; и подъ балдахиномъ голубого шелку видно маленькое изображеніе Кибелы—сверкающее блестками, съ башнями на головѣ, и посаженное на колесницу краснаго камня; его везутъ два льва съ поднятыми лапами.

Изъ толпы проталкиваются взглянуть.

ГЛАВНЫЙ ГАЛЛЪ

продолжаетъ:

Она любитъ звукъ тимпановъ, топотъ ногъ, завыванье волковъ, звонкія горы и глубокія ущелья, цвѣтъ миндаля, гранаты и зеленыя фиги, вихрь танца, рокочущія флейты, сладкій сокъ, соль слезы,—кровь!

Тебѣ! Тебѣ, Мать горъ!

Хлещутъ себя бичами, и удары отдаются у нихъ въ груди; кожа тамбуриновъ чуть не лопается. Они берутся за ножи, надрѣзаютъ себѣ руки.

Она скорбна; будемъ скорбѣть! Чтобы нравиться ей, нужно страдать! Это очиститъ васъ отъ грѣховъ. Кровь смываетъ все; разбрасывайте ея капли какъ цвѣты! Она требуетъ крови другого—непорочнаго!

Главный галлъ заноситъ ножъ надъ барашкомъ.

АНТОНІЙ

въ ужасѣ:

Не закалывайте агнца!

Брызжетъ алая струя.

Жрецъ окропляетъ ею толпу; и всѣ, — въ томъ числѣ Антоній и Иларіонъ,—размѣстившись вокругъ дерева, которое пылаетъ, въ молчаніи смотрятъ на послѣднія судороги жертвы.

Изъ среды жрецовъ выходитъ Женщина, чрезвычайно похожая на изображеніе въ маленькомъ ящикѣ.

Она останавливается, увидавъ Юношу во фригійской шапочкѣ.

На немъ узкіе штаны, прорѣзанные кое-гдѣ правильными ромбами, которые закрыты цвѣтными бантами. Онъ прислонился локтемъ къ одной изъ вѣтвей дерева, съ флейтой въ рукѣ, въ томной позѣ.

КИБЕЛА,

обнимая его обѣими руками:

Чтобы вновь встрѣтить тебя, я обошла всѣ земли,—и голодъ опустошалъ поля. Ты обманулъ меня! Пусть, я люблю тебя! Согрѣй мнѣ тѣло! соединимся!

АТИСЪ.

Весна не вернется, о вѣчносущая Мать! Несмотря на мою любовь, мнѣ невозможно познать твою сущность. Я хотѣлъ бы одѣться въ цвѣтное платье, какъ у тебя. Я завидую твоимъ грудямъ, полнымъ молока, длинѣ твоихъ волосъ, обширному чреву, откуда исходятъ существа. Почему я не ты! почему я не женщина!—Нѣтъ, никогда! уйди! Мой полъ ужасаетъ меня!

Острымъ камнемъ онъ оскопляетъ себя, потомъ въ безуміи бросается бѣжать, подымая кверху отрѣзанный членъ.

Жрецы слѣдуютъ примѣру бога, вѣрные—жрецовъ. Мужчины и женщины мѣняются одеждами, обнимаются; и этотъ вихрь окровавленныхъ тѣлъ удаляется, а несмолкающіе голоса становятся пронзительнѣе и рѣзче, какъ на похоронахъ.

На верху большого катафалка, обитаго пурпуромъ, помѣщено эбеновое ложе, вокругъ котораго факелы и кор-

зины филигранной серебряной работы, гдѣ зеленѣетъ латукъ, мальвы и укропъ. По ступенямъ, сверху до низу, сидятъ женщины, всѣ въ черномъ, съ разстегнутыми поясами, босыя, и меланхолически держатъ большіе букеты цвѣтовъ.

На землѣ, въ углахъ помоста, тихо курятся алебастровыя урны, полныя мирры.

На ложѣ виденъ трупъ мужчины. Кровь течетъ по его бедру. Рука его повисла;—и собака съ воемъ облизываетъ ему ногти.

Рядъ слишкомъ сближенныхъ факеловъ мѣшаетъ разглядѣть его лицо; и Антонія охватываетъ тоска. Онъ боится узнать кого-то.

Рыданія женщинъ смолкаютъ; и послѣ промежутка молчанія,

ВСѢ

взываютъ разомъ:

Дивный! дивный! Онъ прекрасенъ! Довольно спавшій, подыми голову! Возстань!

Вдохни запахъ нашихъ букетовъ! это нарциссы и анемоны, собранные въ твоихъ садахъ, чтобъ угодить тебѣ. Очнись, намъ страшно за тебя!

Скажи, что тебѣ нужно? Хочешь ли пить вино? Хочешь ли лечь на наши ложа? Хочешь ли ѣсть медовые хлѣбы, похожіе формой на маленькихъ птичекъ?

Прильнемъ къ его бедрамъ, будемъ цѣловать его грудь! Такъ! Такъ! слышишь ли ты какъ наши пальцы въ массивныхъ перстняхъ бѣгаютъ по твоему тѣлу, какъ наши губы ищутъ твоего рта, наши волосы обметаютъ твои ноги, уснувшій Богъ, глухой къ нашимъ мольбамъ!

Онѣ испускаютъ крики, раздираютъ себѣ лица ногтями, затѣмъ смолкаютъ;—и все время слышно завываніе собаки.

Увы, увы! Черная кровь течетъ по его бѣлоснѣжному тѣлу! Вотъ, колѣни его корчатся; бока проваливаются. Цвѣты его лица омочили пурпуръ. Онъ мертвъ! Плачьте! Сокрушайтесь!

Онѣ подходятъ, одна за другой, и слагаютъ между факелами свои длинныя косы, похожія издали на черныхъ или свѣтлыхъ змѣй; — и катафалкъ плавно опускается до уровня пещеры, темнаго склепа, который зіяетъ позади.

Тогда

ЖЕНЩИНА

склоняется надъ трупомъ.

Ея волосы, которые она не обрѣзала, покрываютъ ее съ головы до пятъ. Она проливаетъ столько слезъ, что горе ея кажется не такимъ, какъ у другихъ, оно выше человѣческаго, безконечно.

Антоній вспоминаетъ Богоматерь.

Она говоритъ:

Ты выходилъ съ Востока; и ты бралъ меня на руки, всю вздрагивавшую отъ росы, о богъ Солнца! Голуби вились въ лазури твоего плаща, отъ нашихъ поцѣлуевъ рождались вѣтерки въ листвѣ; и я отдавалась твоей любви, наслаждаясь своей слабостью.

Увы! Увы! Зачѣмъ отправлялся ты рыскать по горамъ?

Въ осеннее равноденствіе вепрь ранилъ тебя!

Ты мертвъ; и источники плачутъ, деревья никнутъ. Зимній вѣтеръ свиститъ въ голыхъ кустарникахъ. Мои глаза сейчасъ закроются, такъ какъ тьма охватила тебя. Теперь ты обитаешь въ другой части міра, рядомъ съ моей болѣе сильной соперницей.

О, Персефона, все, что прекрасно, нисходитъ къ тебѣ и не возвращается больше!

Пока она говоритъ, ея подруги поднимаютъ мертвеца, чтобы снести его въ склепъ. Онъ остается у нихъ на рукахъ. Это изображеніе изъ воску.

Антоній испытываетъ облегченіе.

Все исчезаетъ;—и снова появилась хижина, скалы, крестъ.

Но на другой сторонѣ Нила онъ видитъ Женщину—стоящую среди пустыни.

Она держитъ въ правой рукѣ конецъ длиннаго чернаго покрывала, которое закрываетъ ей лицо, а на лѣвой у нея маленькій ребенокъ, сосущій грудь. Рядомъ на пескѣ сидитъ на корточкахъ большая обезьяна.

Женщина подымаетъ голову къ небу;—и несмотря на разстояніе, слышенъ ея голосъ.

ИЗИДА.

О, Нейтъ, начало вещей! Аммонъ, владыка вѣчности, Фта,

деміургъ, Тотъ, его умъ, боги Аменти, отдѣльныя тріады Номовъ, ястреба въ лазури, сфинксы на порогахъ храмовъ, ибисы, что стоятъ между бычьихъ роговъ, планеты, созвѣздія, прибрежья, шопоты вѣтра, отблески свѣта, скажите мнѣ, гдѣ Озирисъ!

Я искала его во всѣхъ каналахъ и во всѣхъ озерахъ,—и еще дальше, до финикійскаго Библоса. Анубисъ съ прямыми ушами прыгалъ вокругъ меня, лая и обшаривая своей мордой тамариндовыя заросли. Благодарю, милый Киноцефалъ, благодарю!

Дружески похлопываетъ нѣсколько разъ обезьяну по головѣ.

Отвратительный рыжеволосый Тифонъ убилъ его, разорвалъ на части! Мы подобрали всѣ члены. Но не хватаетъ того, который оплодотворялъ меня!

Испускаетъ протяжные вопли.

АНТОНІЙ

охваченъ бѣшенствомъ. Бросаетъ въ нее камнями, и выкрикиваетъ ругательства.

Безстыдница! прочь, прочь!

ИЛАРІОНЪ.

Уважай ее! Это религія твоихъ предковъ! ты носилъ ея амулеты еще въ колыбели.

ИЗИДА.

Прежде, когда возвращалось лѣто, наводненіе прогоняло въ пустыню нечистыхъ животныхъ. Отворялись плотины, сновали барки, задыхавшаяся земля въ опьяненіи пила рѣку. Богъ съ бычачьими рогами, ты возлегалъ на мою грудь—и было слышно мычаніе вѣчной коровы!

Посѣвы, жатвы, молотьба и сборъ винограда слѣдовали чередой, по временамъ года. По ночамъ, всегда яснымъ, свѣтили крупныя звѣзды. Дни были напоены неизмѣннымъ великолѣпіемъ. На обѣихъ сторонахъ горизонта, какъ царственная пара, стояли Солнце и Луна.

Оба мы царили въ мірѣ болѣе возвышенномъ, монархи-близнецы, супруги отъ нѣдръ вѣчности,—онъ держа скипетръ съ головою конкуфы, я скипетръ съ цвѣткомъ лотоса,

оба выпрямившись, соединивъ руки;—и крушенія имперій не мѣняли нашего положенія.

Египетъ лежалъ подъ нами, монументальный и задумчивый, длинный какъ переходы храма, съ обелисками направо, пирамидами налѣво, лабиринтомъ въ срединѣ, — и повсюду аллеи чудовищъ, лѣса колоннъ, тяжелые пилоны по бокамъ дверей, у которыхъ наверху земной шаръ между двухъ крыльевъ.

Животныя его зодіака паслись на его пастбищахъ, наполняли своими образами и цвѣтами его таинственныя письмена. Раздѣленный на двѣнадцать областей, какъ въ году двѣнадцать мѣсяцевъ,—а у каждаго мѣсяца, у каждаго дня свой богъ,—онъ воспроизводилъ неизмѣнный порядокъ неба; и человѣкъ, умирая, не терялъ своей внѣшности; но насыщенный благоуханьями, ставшій неразрушимымъ, засыпалъ на три тысячи лѣтъ въ Египтѣ молчанія.

Этотъ Египетъ, болѣе обширный чѣмъ верхній, лежалъ подъ землей.

Туда сходили по лѣстницамъ, ведущимъ въ залы, гдѣ были изображены радости добрыхъ, мученія злыхъ, все, что имѣетъ мѣсто въ невидимомъ третьемъ мірѣ. Расположенные вдоль стѣнъ, мертвые въ раскрашенныхъ гробахъ ждали своей очереди; и душа, изъятая отъ скитаній, продолжала дремать до наступленія новой жизни.

Озирисъ, однако, посѣщалъ иногда меня. Его тѣнь сдѣлала меня матерью Гарпократа.

Всматривается въ ребенка.

Это онъ! Это его глаза; это его волосы, завитые какъ рога барана! Ты возобновишь его дѣла. Мы вновь зацвѣтемъ какъ лотосы. Я попрежнему великая Изида! никто еще не поднялъ моего покрывала! Мой плодъ—солнце!

Солнце весны, облака затемняютъ твой ликъ! Дыханіе Тифона пожираетъ пирамиды. Я видѣла сейчасъ, какъ убѣгалъ сфинксъ. Онъ несся какъ шакалъ.

Я ищу своихъ жрецовъ, — жрецовъ въ льняныхъ пла-

щахъ, съ большими арфами, которые носили таинственную ладью, украшенную серебряными патэрами. Нѣтъ больше празднествъ на озерахъ! нѣтъ огней въ моей дельтѣ! нѣтъ чашъ съ молокомъ въ Филахъ! Аписъ съ давнихъ поръ уже не появлялся.

Египетъ! Египетъ! у твоихъ великихъ недвижныхъ Боговъ побѣлѣли плечи отъ птичьяго помета, вѣтеръ, гуляющій по пустынѣ, вздымаетъ прахъ твоихъ мертвецовъ!—Анубисъ, хранитель тѣней, не покидай меня!

Киноцефалъ падаетъ замертво.

Она встряхиваетъ своего ребенка.

... Что съ тобой?.. твои руки холодны, голова не держится!

Гарпократъ уже мертвъ.

Тогда она испускаетъ такой пронзительный крикъ скорби и боли, что Антоній вторитъ ей, простирая руки, чтобы поддержать ее.

Она исчезаетъ. Онъ опускаетъ голову, внѣ себя отъ стыда.

Все, что онъ только-что видѣлъ, перепутывается у него въ умѣ. Это какъ бы оцѣпенѣніе отъ ѣзды, разбитость отъ пьянства. Онъ хотѣлъ бы ненавидѣть; и въ то же время смутная жалость размягчаетъ его сердце. Онъ разражается слезами.

ИЛАРІОНЪ.

Что же печалитъ тебя?

АНТОНІЙ

долго думаетъ, сосредоточившись на себѣ:

Я размышляю о всѣхъ душахъ, погубленныхъ этими ложными Богами!

ИЛАРІОНЪ.

Не находишь ли ты, что въ нихъ... по временамъ есть какъ бы сходство съ истиннымъ?

АНТОНІЙ

Это хитрость Дьявола, чтобы лучше соблазнять вѣрныхъ. Онъ искушаетъ сильныхъ дѣйствуя на духъ, остальныхъ плотью.

ИЛАРІОНЪ.

Но сладострастіе въ своихъ безумствахъ безкорыстно, какъ и раскаяніе. Неистовая плотская любовь ускоряетъ разрушеніе тѣла,—и его слабостью свидѣтельствуетъ о размѣрахъ невозможнаго.

АНТОНІЙ.

Что мнѣ за дѣло до этого! Сердце мое полно омерзѣнія предъ этими скотскими Богами, которые всегда заняты убійствами и кровосмѣшеніемъ!

ИЛАРІОНЪ.

Вспомни въ Писаніи обо всемъ, что тебя оскорбляетъ, такъ какъ ты не умѣешь понять этого. Также и эти Боги подъ своей преступной внѣшностью могутъ заключать истину. Ты видѣлъ еще не всѣхъ. Отвернись!

АНТОНІЙ.

Нѣтъ, нѣтъ! это погибель!

ИЛАРІОНЪ.

Ты только-что хотѣлъ узнать ихъ. Развѣ твоя вѣра поколеблется отъ лжи? Чего ты боишься?

Скалы передъ Антоніемъ превратились въ гору.

Линія облаковъ дѣлитъ ее на полувысотѣ; а надъ ней видна другая гора, громадная, вся въ зелени, неравномѣрно изрытая долинами, и на верху ея, въ рощѣ лавровъ, бронзовый чертогъ въ золотыхъ черепицахъ и съ капителями слоновой кости.

Посреди перистиля, на тронѣ, колоссальный Юпитеръ съ обнаженнымъ торсомъ держитъ побѣду въ одной рукѣ, въ другой молнію; и въ ногахъ у него подымаетъ голову орелъ.

Юнона, рядомъ съ нимъ, поводитъ огромными глазами, надъ которыми діадема; изъ-подъ нея, какъ паръ, вьется развѣвающееся покрывало.

Сзади Минерва, выпрямившись на пьедесталѣ, опирается на копье. Кожа горгоны прикрываетъ ей грудь; и льняной пеплосъ правильными складками ниспадаетъ до ногтей пальцевъ. Ясные глаза, сверкающіе подъ забраломъ, внимательно вглядываются вдаль.

Справа отъ дворца старикъ Нептунъ сидитъ верхомъ на дельфинѣ, который движетъ плавниками въ безпредѣльной лазури—неизвѣстно, небо это или море, ибо вдали Океанъ переходитъ въ голубой эоиръ; обѣ стихіи сливаются

Съ другой стороны свирѣпый Плутонъ въ плащѣ цвѣта почи, съ алмазной тіарой и эбеновымъ скиптромъ, занимаетъ островокъ, опоясанный извивами Стикса;—а эта рѣка тѣни стремится во мракъ, куда ведетъ огромная черная дыра у подножья утеса, безформенный провалъ.

Марсъ, закованный въ мѣдь, бѣшено размахиваетъ своими огромными щитомъ и мечомъ.

Ниже Геркулесъ смотритъ на него, опираясь на палицу.

Аполлонъ съ сіяющимъ лицомъ управляетъ, вытянувъ правую руку, четырьмя бѣлыми конями, которые скачутъ; а Церера въ повозкѣ, запряженной быками, приближается къ нему съ серпомъ въ рукѣ.

Вакхъ появляется сзади нея, на очень низкой колесницѣ, которую медленно везутъ рыси. Полный, безбородый, съ кистями винограда на лбу, онъ держитъ чашу, откуда льется вино. Рядомъ съ нимъ Силэнъ покачивается на ослѣ. Панъ съ острыми ушами играетъ на свирѣли; Мималлонеиды бьютъ въ барабаны, Мэнады бросаютъ цвѣты, Вакханки кружатся, закидывая назадъ головы съ распущенными волосами.

Діана, въ подобранной туникѣ, выходитъ со своими нимфами изъ лѣсу.

Въ глубинѣ пещеры Вулканъ куетъ желѣзо среди Кабировъ; здѣсь и тамъ старыя Рѣки, опершись на зеленые камни, изливаютъ свои урны; стоя въ прогалинахъ поютъ Музы.

Оры одинаковаго роста держатся за руки; а Меркурій стоитъ наклонно на радугѣ со своимъ жезломъ, крылышками и въ круглой шапочкѣ.

Наверху же лѣстницы Боговъ, среди нѣжныхъ какъ пухъ облаковъ, завитки которыхъ, вращаясь, роняютъ розы, Венера-Анадіомена смотрится въ зеркало; зрачки ея томно скользятъ подъ тяжеловатыми вѣками.

У нея пышные свѣтлые волосы, сбѣгающіе по плечамъ, небольшія груди, тонкій станъ, бока, расширенные какъ выгибъ лиры, округлыя бедра, ямочки у колѣнъ и нѣжныя ножки; около рта порхаетъ бабочка. Очарованіе ея тѣла окружаетъ ее сіяющимъ жемчужнымъ кольцомъ; и весь остальной Олимпъ тонетъ въ алой зарѣ, которая незамѣтно достигаетъ высотъ голубого неба.

АНТОНІЙ.

О, грудь моя расширяется. Неизвѣстная прежде радость нисходитъ въ глубину души! Какъ это прекрасно! Какъ прекрасно!

ИЛАРІОНЪ.

Они склонялись съ высоты облаковъ, чтобы направлять мечи; ихъ встрѣчали у дорогъ, ихъ имѣли у себя дома;—и эта близость обожествляла жизнь.

Ея цѣль была свобода и красота. Широкія одежды способствовали благородству движеній. Голосъ оратора, воспитанный моремъ, звучными волнами ударялъ по мраморнымъ портикамъ. Эфебъ, натертый масломъ, боролся голый подъ палящимъ солнцемъ. Самое священное дѣйствіе было—показать безукоризненныя формы.

И эти люди почитали женъ, старцевъ, нищихъ. Позади храма Геркулеса стоялъ алтарь Милосердія.

Жертвы приносили съ цвѣтами вокругъ пальцевъ. Само воспоминаніе было ограждено отъ тлѣнія смерти. Отъ мертвыхъ оставляли только немного пепла. Душа, слившись съ безграничнымъ эѳиромъ, восходила къ Богамъ!

Наклоняясь къ уху Антонія:

И они вѣчно живы! Императоръ Константинъ поклоняется Аполлону. Ты найдешь Троицу въ мистеріяхъ Самоѳракіи, крещеніе у Изиды, искупленіе у Митры, мученичество Бога въ празднествахъ Вакха. Прозерпина Дѣва!.. Аристей Іисусъ!

АНТОНІЙ

не поднимаетъ глазъ; затѣмъ вдругъ повторяетъ Іерусалимскій символъ—какъ онъ ему вспоминается—протяжно вздыхая на каждой фразѣ:

„Вѣрую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимаго и невидимаго. И во единаго Господа Іисуса Христа Сына Божія, Единороднаго, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣковъ, Бога истиннаго, чрезъ Котораго все произошло, воплотившагося и вочеловѣчившагося, распятаго и погребеннаго, воскресшаго въ третій день, восшедшаго на небеса, сѣдящаго одесную Отца

и грядущаго во славѣ судить живыхъ и мертвыхъ, Котораго царству не будетъ конца. И во единаго Святаго Духа Утѣшителя, глаголавшаго чрезъ Пророковъ. И во единую святую вселенскую церковь. И въ воскресеніе плоти. И въ жизнь вѣчную".

Тогда крестъ вырастаетъ и, пронизывая облака, бросаетъ тѣнь на небо Боговъ.

Они блѣднѣютъ. Олимпъ заколебался.

Антоній различаетъ у его подножья огромныя тѣла въ цѣпяхъ, наполовину ушедшія въ расщелины, или держащія камни на плечахъ. Это Титаны, Гиганты, Гекатонхейры, Циклопы.

слышится

ГОЛОСЪ

неясный и грозный,—какъ рокотъ волнъ, какъ шумъ лѣсовъ въ бурю, какъ вой вѣтра въ пропастяхъ:

Мы знали это, мы остальные! Боги должны погибнуть. Уранъ былъ изуродованъ Сатурномъ, Сатурнъ Юпитеромъ. Онъ также будетъ уничтоженъ. Каждому свой часъ; таковъ рокъ!

И, мало-по-малу, они погружаются въ гору, исчезаютъ. Между тѣмъ черепицы съ золотого дворца слетаютъ.

ЮПИТЕРЪ

сошелъ со своего трона. Молнія у его ногъ дымится какъ гаснущая головня; — а орелъ, вытягивая шею, подбираетъ клювомъ падающія перья.

Итакъ, я уже не владыка міра,—всеблагой, великій, богъ фратрій и народовъ Греціи, прадѣдъ всѣхъ царей, Агамемнонъ неба!

Орелъ апоѳеозовъ, какое дуновеніе Эреба принесло тебя ко мнѣ? или улетая съ поля Марса, ты несешь мнѣ душу послѣдняго изъ императоровъ?

Я не желаю больше человѣческихъ! Пусть охраняетъ ихъ Земля, и пусть дрозябаютъ они въ ея жалкой низменности. У нихъ теперь сердца рабовъ, они не помнятъ обидъ, предковъ, клятвы; и вездѣ царитъ тупость толпы, ничтожество человѣка, безобразіе расъ!

Дыханіе вздымаетъ ему грудь и она чуть не разрывается, онъ сжимаетъ кулаки. Геба въ слезахъ подаетъ ему чашу. Онъ беретъ ее.

Нѣтъ! нѣтъ! Пока останется гдѣ-нибудь голова, способная къ мысли, ненавидящая неустройство и понимающая Законъ, духъ Юпитера не угаснетъ!

Но чаша пуста.

Онъ медленно наклоняетъ ее къ ногтю своего пальца.

Ни капли! Когда изсякла амброзія, Безсмертные удаляются!

Чаша выскальзываетъ изъ его рукъ; и онъ прислоняется къ колоннѣ, чувствуя, что умираетъ.

ЮНОНА.

Не надо было столько любить! Орелъ, быкъ, лебедь, золотой дождь, облако и огонь, — ты принималъ всѣ образы, осквернялъ свой свѣтъ во всѣхъ стихіяхъ, пряталъ свои волосы во всѣхъ ложахъ! На этотъ разъ разводъ неминуемъ,— и наша власть, наша жизнь рушится!

Удаляется по воздуху.

МИНЕРВА

уже безъ копья; и вороны, прятавшіеся въ украшеніяхъ фриза, кружатъ надъ ней, клюютъ ея шлемъ.

Дайте мнѣ посмотрѣть, вернулись ли мои корабли, что разсѣкаютъ ослѣпительное море, въ три мои гавани, почему поля пустынны, и что дѣлаютъ теперь дѣвы Аѳинъ.

Въ мѣсяцѣ Гекатомбеонѣ весь мой народъ шелъ ко мнѣ подъ предводительствомъ магистратовъ и жрецовъ. Затѣмъ подходили въ бѣлыхъ платьяхъ и золотыхъ хитонахъ длинныя вереницы дѣвушекъ съ чашами, корзинами, зонтами; затѣмъ триста жертвенныхъ быковъ, старцы, помахивающіе зелеными вѣтвями, воины, бряцая доспѣхами, эфебы съ пѣніемъ гимновъ, флейтисты, играющіе на лирахъ, рапсоды, танцовщицы;—наконецъ, на мачтѣ триремы, движущейся на колесахъ,—мое большое покрывало, вышитое дѣвушками, которыхъ въ теченіе года кормили особеннымъ образомъ; и показавши его на всѣхъ улицахъ, на всѣхъ площадяхъ и передъ всѣми храмами, при несмолкаемомъ пѣніи сопутствующихъ, его ввозили шагъ за шагомъ на холмъ Акрополя, оно касалось Пропилеевъ и въѣзжало въ Парѳенонъ.

Но безпокойство овладѣваетъ мной, искусною! Какъ, какъ, ни одной мысли! Вотъ, я трепещу сильнѣе женщины.

Видитъ развалины позади себя, испускаетъ крикъ, и сраженная въ лобъ, падаетъ на землю навзничь.

ГЕРКУЛЕСЪ

отбросилъ свою львиную шкуру; и, упираясь ногами, выгнувъ спину, кусая губы, дѣлаетъ сверхчеловѣческія усилія, чтобы поддержать рушащійся Олимпъ.

Я побѣдилъ Керкоповъ, Амазонокъ и Кентавровъ. Я убилъ много царей. Я сломалъ рогъ Ахелоя, большой рѣки. Я разсѣкалъ горы, я соединялъ океаны. Земли несвободныя я освобождалъ; земли безлюдныя я заселялъ. Я прошелъ Галлію. Я пересѣкъ пустыню, гдѣ мучитъ жажда. Я защищалъ Боговъ, и я избавился отъ Омфалы. Но Олимпъ слишкомъ тяжелъ. Руки мои слабѣютъ. Я умираю!

Обломки раздавливаютъ его.

ПЛУТОНЪ.

Это твоя вина, Амфитріонидъ! Зачѣмъ сошелъ ты въ мое царство?

Коршунъ, терзающій утробу Титія, поднялъ голову, губы Тантала увлажнились, колесо Иксіона остановилось.

Между тѣмъ Керы вытягивали когти, стараясь удержать души; Фуріи свивали въ отчаяніи змѣй у себя въ волосахъ; а Церберъ, котораго ты привязалъ цѣпью, хрипѣлъ, и изъ трехъ его пастей текла слюна.

Ты оставилъ дверь полуоткрытой. Пришли другіе. Человѣческій день проникъ въ Тартаръ!

Тонетъ во мракѣ.

НЕПТУНЪ.

Мой трезубецъ не вздымаетъ больше бурь. Чудовища, вселявшія ужасъ, сгнили на днѣ водъ.

Амфитрита, бѣлыя ноги которой скользили по пѣнѣ, зеленыя Нереиды, которыя виднѣлись на горизонтѣ, Сирены въ чешуяхъ, что останавливали корабли, чтобы разсказывать сказки, и старые Тритоны, дувшіе въ раковины, все погибло! Радость моря исчезла!

Я не переживу этого! Пусть великій Океанъ возьметъ меня!

Падаетъ замертво въ лазурь.

ДІАНА

въ черной одеждѣ, окруженная своими собаками, которыя превратились въ волковъ.

Приволье большихъ лѣсовъ съ запахомъ краснаго звѣря и испареніями болотъ опьянило меня. Женщины, которымъ я помогала въ беременности, производятъ на свѣтъ мертвыхъ младенцевъ. Луна трепещетъ подъ чарами колдуній. Я жажду насилій и необъятности. Я хочу отвѣдать ядовъ, утопать въ испареніяхъ, въ грезахъ!

И проходящее облако увлекаетъ ее.

МАРСЪ

съ обнаженной головой, окровавленный:

Вначалѣ я бился одинъ, вызывая бранью цѣлое войско, безучастный къ цѣли, изъ-за наслажденія сѣчи.

Потомъ у меня появились товарищи. Они ходили подъ звуки флейтъ, въ порядкѣ, ровнымъ шагомъ, дыша изъ-за своихъ щитовъ, съ высокими султанами, съ копьями на перевѣсъ. Бросались въ битву съ мощнымъ орлинымъ крикомъ. Война была радостна какъ праздникъ. Триста человѣкъ сопротивлялись цѣлой Азіи.

Но они вновь появились, Варвары! ихъ миріады, милліоны. И такъ какъ сила за числомъ, машинами и хитростью, то лучше покончить съ доблестью!

Убиваетъ себя.

ВУЛКАНЪ,

отирая губкой вспотѣвшее тѣло:

Міръ холодѣетъ. Нужно грѣть источники, вулканы и рѣки, что катятъ металлы подъ землей!—Куйте крѣпче! наотмашь! изо всѣхъ силъ!

Кабиры наносятъ себѣ раны молотами, ослѣпляютъ себя искрами, и, бредя ощупью, углубляются во тьму.

ЦЕРЕРА

стоитъ на своей колесницѣ, которую уносятъ колеса съ крыльями въ ступицахъ:

Остановись! Остановись!

Правы были, удаляя иностранцевъ, безбожниковъ, эпикурейцевъ и христіанъ! Тайна корзины раскрыта, алтарь осквернёнъ, все погибло!

Она спускается по крутому скату,—въ отчаяніи, съ криками, вырывая волосы.

О, ложь! Даира не возвращена мнѣ! Мѣдь зоветъ меня къ мертвымъ. Это другой Тартаръ! Изъ него нѣтъ возврата. О, ужасъ!

Бездна поглощаетъ ее.

ВАКХЪ

хохочетъ въ неистовствѣ:

Не все ли равно! жена Архонта—моя супруга! Самъ законъ пьянѣетъ. Я несу новую пѣснь и умноженныя формы!

Огонь, пожравшій мою мать, течетъ въ моихъ жилахъ. Гори сильнѣе, пусть я погибну!

Самецъ и самка, благосклонный ко всѣмъ, я отдаюсь вамъ, Вакханки! я отдаюсь вамъ, Вакханты! и лоза обовьется вокругъ ствола деревъ! Войте, пляшите, сплетайтесь! Дайте волю тигру и рабу! впивайтесь зубами, кусайте тѣло!

И Панъ, Силэнъ, Сатиры, Вакханки, Мималлонэиды и Мэнады со своими змѣями, факелами, черными масками кидаютъ другъ въ друга цвѣты, открываютъ фаллъ, цѣлуютъ его,—потрясаютъ тимпанами, бьютъ тирсами, бросаютъ другъ въ друга раковинами, давятъ виноградъ, удавливаютъ козла и раздираютъ Вакха.

АПОЛЛОНЪ

погоняетъ своихъ скакуновъ, побѣлѣвшія гривы которыхъ развѣваются по вѣтру:

Я оставилъ за собой каменистый Делосъ, такой чистый, что все теперь кажется тамъ мертвымъ; и я стараюсь достичь Дельфъ, пока ихъ вдохновительные пары еще не изсякли. Мулы щиплютъ ихъ лавръ. Пиѳія сошла съ ума и не приходитъ въ себя.

Сосредоточившись глубже, я создамъ возвышеннѣйшія поэмы, вѣчные памятники; и вся матерія будетъ пронизана трепетомъ моей киѳары!

Проводитъ по ея струнамъ. Онѣ рвутся, хлещутъ ему по лицу. Онъ отбрасываетъ ее; и въ бѣшенствѣ замахивается на свою четверню:

Нѣтъ, довольно формъ! Дальше, дальше! Къ вершинѣ! Къ чистой идеѣ!

Но лошади, отпрядывая, встаютъ на дыбы, разбиваютъ колесницу; и подъ обломками дышла, опутанный сбруей, онъ падаетъ въ пропасть головой внизъ.

Небо темнѣетъ.

ВЕНЕРА

дрожитъ, посинѣвъ отъ холода.

Я съ моимъ поясомъ была для Эллады всей жизнью.

Ея поля блистали розами моихъ щекъ, ея прибрежья были изрѣзаны по формѣ моихъ губъ; и ея горы, бѣлѣе моихъ голубокъ, трепетали подъ рукою ваятелей. Моя душа сквозила въ распорядкѣ празднествъ, формѣ прическъ, въ бесѣдахъ философовъ, устройствѣ республикъ. Но я слишкомъ любила мужчинъ! И Амуръ обезчестилъ меня!

Падаетъ навзничь, въ слезахъ.

Міръ отвратителенъ. Нечѣмъ дышать!

О Меркурій, изобрѣтатель лиры и проводникъ душъ, возьми меня!

Прикладываетъ палецъ къ губамъ, и, описавъ огромную параболу, падаетъ въ пропасть.

Больше не видно ничего. Полный мракъ.

Между тѣмъ изъ глазъ Иларіона вырываются какъ бы огненныя стрѣлы.

АНТОНІЙ

замѣчаетъ, наконецъ, его высокій ростъ.

Много разъ уже, пока ты говорилъ, мнѣ казалось, что ты ростешь, — и это не было обманомъ. Почему? Объясни мнѣ... Ты пугаешь меня!

Слышны шаги:

Кто это?

ИЛАРІОНЪ

протягиваетъ руку:

Взгляни!

И вотъ, при блѣдномъ свѣтѣ луны, Антоній видитъ безконечный караванъ, тянущійся по гребню скалъ—и всѣ

путники, одинъ за другимъ, падаютъ съ утеса въ бездну.

Здѣсь, во-первыхъ, три великихъ Божества Самоѳракіи, Аксіеросъ, Аксіокеросъ, Аксіокерза, связанные въ пучекъ, закутанные въ пурпуръ, съ поднятыми руками.

Съ меланхолическимъ видомъ приближается Эскулапъ, даже не глядя на Самоса и Телесфора, которые въ тоскѣ обращаются къ нему. Созиполъ элейскій, подъ видомъ пиѳона, катитъ къ безднѣ свои кольца. Дэспэнея, обезумѣвъ, сама бросается туда. Бритомартисъ, воя отъ страху, цѣпляется за петли своей цѣпи. Кентавры подскакиваютъ полнымъ галопомъ и толпой прыгаютъ въ черную яму.

За ними прихрамывая бредетъ толпа жалобныхъ нимфъ. Полевыя покрыты пылью, лѣсныя стонутъ и изъ нихъ идетъ кровь; онѣ изранены топорами дровосѣковъ. Геллюды, Стриги, Эмпузы, всѣ богини ада, со своими крюками, факелами, змѣями, образуютъ пирамиду;—а на вершинѣ, на коршуновой кожѣ, Эйриномъ, синеватый какъ мухи на падали, пожираетъ свои руки.

Затѣмъ одновременно исчезаютъ въ вихрѣ: Ортія кровожадная, Гимнія изъ Орхомена, Лафрія Патрасцевъ, Афія изъ Эгины, Бендида Ѳракійская, Стимфалія на птичьихъ лапахъ. У Тріопа, вмѣсто трехъ зрачковъ, три орбиты. Эрихтоній, съ безкостыми ногами, ползетъ какъ калѣка на рукахъ.

ИЛАРІОНЪ.

Не правда ли, какое счастье смотрѣть на ихъ позоръ и агонію? Стань со мной на этотъ камень; и ты будешь какъ Ксеркъ, пропускающій мимо себя свое войско.

Тамъ внизу, очень далеко, въ туманахъ, — видишь, гигантъ со свѣтлой бородой роняетъ мечъ, красный отъ крови? это Скиѳъ Залмоксисъ между двухъ планетъ: Артимпазы—Венеры, и Орсилохіи—Луны.

Далѣе возникаютъ изъ блѣдныхъ облаковъ Боги, которымъ поклонялись Киммерійцы за Ѳуле!

Ихъ большія палаты были теплы; и при блескѣ обнаженныхъ мечей, висѣвшихъ на сводахъ, они пили меды изъ роговъ слоновой кости. Они ѣли печенки китовъ на мѣдныхъ блюдахъ, выкованныхъ демонами; или слушали плѣнныхъ колдуновъ, заставляя ихъ пробѣгать руками по каменнымъ арфамъ.

Они устали! имъ холодно! Снѣгъ отягчаетъ ихъ медвѣжьи шкуры, и сквозь разорванныя сандаліи видны ноги.

Они оплакиваютъ степи, гдѣ на травянистыхъ курганахъ они переводили духъ во время битвъ, длинные корабли, носы которыхъ разсѣкали ледяныя горы и коньки, на которыхъ они двигались по полярному кругу, поддерживая вытянутыми руками весь небосводъ, вращавшійся вмѣстѣ съ ними.

Шквалъ изморози охватываетъ ихъ.

Антоній склоняетъ взоръ въ другую сторону.

И онъ видитъ странныя фигуры, выдѣляющіяся чернымъ на красномъ фонѣ, въ набородникахъ и нарукавникахъ; онѣ перекидываются мячами, прыгаютъ другъ черезъ друга, дѣлаютъ гримасы, изступленно пляшутъ.

ИЛАРІОНЪ.

Это Боги Этруріи, безчисленные Эзары.

Вотъ Тагетъ, изобрѣтатель авгурій. Онъ пробуетъ одной рукой умножить дѣленія неба, а другой упирается въ землю. Пусть возвращается въ нее!

Нортія разсматриваетъ стѣну, куда вбивала гвозди, чтобы отмѣчать года. Поверхность усѣяна ими, и послѣдній періодъ заканчивается.

Какъ путники, захваченные грозой, Касторъ и Поллуксъ дрожа прячутся подъ одинъ плащъ.

АНТОНІЙ

закрываетъ глаза.

Довольно! довольно!

Но въ воздухѣ проносятся, сильно шумя крыльями, всѣ Побѣды Капитолія, — закрывъ лица руками и роняя трофеи.

Янусъ,—владыка сумерекъ, улетаетъ на черномъ козлѣ; и изъ его двухъ лицъ одно уже истлѣло, другое дремлетъ въ усталости.

Суманъ, — богъ темнаго неба, у котораго нѣтъ уже больше головы, прижимаетъ къ сердцу старый пирогъ въ формѣ круга.

Вѐста,—подъ куполомъ въ развалинахъ, старается раздуть свою потухшую свѣтильню.

Беллона—надрѣзаетъ себѣ щеки, но кровь, очищавшая ея служителей, не брызжетъ.

АНТОНІЙ.

Пощади, они утомляютъ меня!

ИЛАРІОНЪ.

Нѣкогда они забавляли!

И онъ показываетъ ему въ кустахъ боярышника совершенно голую Женщину на четверенькахъ, какъ животное, которая соединяется съ чернымъ человѣкомъ, держащимъ въ каждой рукѣ по факелу.

Это богиня Аѳиціи съ демономъ Вирбіемъ. Ея жрецъ, царь лѣса, долженъ былъ быть убійцей;—и для бѣглыхъ рабовъ, осквернителей труповъ, разбойниковъ съ дороги Саларіа, хромыхъ съ моста Сублиція, всѣхъ отбросовъ изъ лачугъ Субурры не было болѣе дорогого предмета поклоненія.

Патриціанки временъ Марка-Антонія предпочитали Либитину.

И онъ показываетъ ему, подъ кипарисами и розовыми кустами, другую Женщину, — одѣтую въ газъ. Она улыбается—а вокругъ разбросаны лопаты, носилки, черные покровы, всѣ принадлежности похоронъ. Ея бриллианты блестятъ издали подъ паутинными покрывалами. Ларвы, какъ скелеты показываютъ свои кости изъ-за деревьевъ и Лемуры, призраки, расправляютъ свои крылья летучей мыши.

У края поля поникъ богъ Термъ, вырванный изъ земли, весь въ нечистотахъ.

На бороздѣ рыжія собаки обглодали огромный трупъ Вертумна.

Боги земледѣлія удаляются отъ него плача,—Сарторъ, Сарраторъ, Ферваторъ, Коллина, Валлона, Гостилинъ—всѣ въ небольшихъ плащахъ съ капюшонами, и у каждаго изъ нихъ по орудію—заступъ, вилы, плетенка, рогатина.

ИЛАРІОНЪ.

Это ихъ души благословляли помѣстье, его голубятни, садки сонь и улитокъ, птичники, огороженные сѣтками, теплыя конюшни, благоухающія кедромъ.

Они покровительствовали всѣмъ бѣднякамъ, что волочили кандалы по камнямъ Сабины,—сзывавшимъ свиней звукомъ

трубы, собиравшимъ гроздья на верхушкахъ вязовъ тѣмъ, что погоняли на узенькихъ дорожкахъ ословъ, нагруженныхъ навозомъ. Пахарь, обливаясь потомъ надъ ручкой сохи, молилъ ихъ дать силу его рукамъ; и коровьи пастухи въ тѣни липъ, среди тыквъ съ молокомъ, слагали имъ хвалы на флейтахъ изъ тростника.

Антоній вздыхаетъ.

Посреди комнаты, на возвышеньѣ, показывается кровать слоновой кости, а вокругъ нея люди съ еловыми факелами.

Это Боги брака. Они ждутъ новобрачную!

Домидука должна была привести ее, Вирго развязать поясъ, Субиго положить на постель, а Прэма распростретъ руки, шепча на ухо ласковыя слова.

Но она не придетъ! и онѣ отпускаютъ другихъ: Нону и Дециму, охранительницъ отъ болѣзни, трехъ Никсій помогавшихъ при родахъ, двухъ кормилицъ Эдуку и Потину,— и Карну няньку, чей букетъ изъ боярышника отгоняетъ отъ ребенка дурные сны.

Позже Оссипаго укрѣпилъ бы ему колѣна, Барбатусъ далъ бороду, Стимула первыя желанія, Волюпія первое наслажденіе, Фабулинъ научилъ бы говорить, Нумера считать, Камена пѣть, Конзъ размышлять.

Комната пуста; и у постели остается только Ненія — столѣтняя старуха — бормочущая самой себѣ причитанія, которыя выкликала у смертнаго ложа стариковъ. Но скоро ея голосъ заглушается рѣзкими криками.

Это

ДОМАШНІЕ ЛАРЫ.

Они скорчились въ глубинѣ атрія, одѣты въ собачьи шкуры, съ цвѣтами вокругъ тѣла, подпираютъ головы руками и плачутъ навзрыдъ.

Гдѣ порція пищи, которую намъ давали за каждымъ обѣдомъ, прилежныя хлопоты служанки, улыбка матроны и веселье маленькихъ мальчиковъ, играющихъ косточками на мозаикахъ двора? Позже, сдѣлавшись взрослыми, они вѣшали намъ на грудь свою золотую или кожаную буллу.

Какое счастіе, когда, въ вечеръ какого-нибудь тріумфа, хозяинъ входя обращалъ къ намъ свои влажные глаза! Онъ разсказывалъ о своей борьбѣ; и скромный домъ становился горделивѣе дворца и священенъ какъ храмъ.

Какъ милы были обѣды семьи, въ особенности въ день послѣ Фералій! Любовь къ мертвымъ смиряла всѣ раздоры; и, обнимаясь, пили во славу прошедшаго и за надежды будущаго.

Но предки изъ раскрашеннаго воску, скрытые позади насъ, понемногу покрываются плѣсенью. Новыя поколѣнья, наказывая насъ за свои разочарованія, побили намъ челюсти; подъ зубами крысъ наши деревянныя тѣла искрашиваются.

И безсчетные Боги, хранившіе двери, кухню, погребъ, бани, разсѣиваются во всѣ стороны,—подъ видомъ огромныхъ бѣгущихъ муравьевъ, или большихъ улетающихъ бабочекъ.

КРЕПИТУСЪ

подаетъ голосъ:

Меня тоже чтили нѣкогда! Мнѣ совершали возліянія! Я былъ Божествомъ!

Аѳинянинъ привѣтствовалъ меня какъ знакъ удачи, а набожный Римлянинъ проклиналъ, сжимая кулаки; жрецъ же Египта, воздерживаясь отъ бобовъ, дрожалъ при моемъ голосѣ и блѣднѣлъ отъ моего запаха.

Когда походный уксусъ стекалъ по небритымъ бородамъ, когда угощались желудями, горохомъ и сырымъ лукомъ, и куски козлятины шипѣли въ прогорклomъ маслѣ пастуховъ, тогда никто не стѣснялся, не обращалъ вниманія на сосѣда. Основательная ѣда переваривалась съ зычностью. Подъ деревенскимъ солнцемъ люди облегчались не торопясь.

Такъ, меня не стыдились, какъ и другихъ надобностей жизни, какъ Мены, мученія дѣвъ и нѣжной Румины, покровительницы материнской груди, налитой голубоватыми жилками. Я былъ игривъ. Я заставлялъ смѣяться! И расширяясь отъ радости благодаря мнѣ, гость испускалъ всю свою веселость черезъ отверстія тѣла.

У меня были дни гордости. Добрый Аристофанъ ввелъ меня на сцену, а императоръ Клавдій Друзъ посадилъ за свой столъ. Подъ латиклавами патриціевъ я шествовалъ величественно! Золотыя вазы звучали подо мной какъ тимпаны;— и когда желудокъ господина, полный муренъ, трюфелей и паштетовъ съ трескомъ освобождался, внимательный міръ узналъ, что Цезарь пообѣдалъ!

Но теперь я изгнанъ къ черни,—и даже мое имя, мое имя вызываетъ крикъ!

И Крепитусъ удаляется, испуская стонъ. Раздается ударъ грома.

ГОЛОСЪ.

Я былъ Богомъ войскъ, Господомъ, Господомъ Богомъ!

Я разбилъ на холмахъ шатры Іакова, и питалъ [redacted] песковъ свой бѣжавшій народъ.

Это я сжегъ Содомъ! Это я поглотилъ землю Н[redacted]
Это я утопилъ Фараона съ лучшими царскими сынами, военными колесницами и возничими.

Богъ завистникъ, я ненавидѣлъ другихъ Боговъ. Я стер нечистыхъ; я низринулъ надменныхъ;—и я опустошалъ на право и налѣво, какъ дромадеръ, выпущенный въ маисовое поле.

Чтобы освободить Израиль, я избиралъ простыхъ. Ангелы съ огненными крылами говорили имъ изъ кустарниковъ.

Умащенныя нардомъ, киннамоной и миррой, въ прозрачныхъ платьяхъ и въ обуви на высокихъ каблукахъ, женщины безтрепетнаго сердца шли умерщвлять полководцевъ. Вѣтеръ вдохновлялъ пророковъ.

Я начерталъ свой законъ на каменныхъ скрижаляхъ. Онъ заключалъ мой народъ какъ бы въ крѣпость. Это былъ мой народъ. Я былъ его Богъ! Земля была моя, люди мои,— съ ихъ мыслями, дѣлами, орудіями хлѣбопашества и потомствомъ.

Мой ковчегъ стоялъ въ Святилищѣ изъ трехъ частей, позади пурпурной завѣсы и зажженныхъ свѣтильниковъ. Я имѣлъ, для служенія, цѣлое колѣно курившихъ кадильни-

цами и великаго жреца въ гіацинтовомъ платьѣ, съ драгоцѣнными камнями на груди, которые были расположены въ строгомъ порядкѣ.

Горе! горе! Святая-Святыхъ открыто, завѣса разорвана, ароматы всесожженія развѣяны вѣтрами. Шакалъ мяукаетъ въ гробницахъ; мой храмъ разрушенъ, мой народъ разсѣянъ.

Жрецовъ удавливали шнурами ихъ одеждъ. Женщины взяты въ плѣнъ, всѣ сосуды расплавлены.

Голосъ удаляется:

Я былъ Богомъ воѝскъ, Господомъ, Господомъ Богомъ!

Наступаетъ великое молчаніе, глубокая ночь.

АНТОНІЙ.

Всѣ прошли.

Остаюсь я!

говоритъ

НѢКТО.

И передъ нимъ Иларіонъ, — но преображенный, прекрасный какъ архангелъ, сіяющій какъ солнце, — и такой высокій, что, чтобы посмотрѣть на него

АНТОНІЙ

запрокидываетъ голову.

Кто же ты?

ИЛАРІОНЪ.

Мое царство размѣра вселенной; и у моего желанія нѣтъ предѣловъ. Я иду не останавливаясь, — освобождая духъ и взвѣшивая міры, безъ ненависти, страха, жалости, любви и безъ Бога. Имя мое—Знаніе.

АНТОНІЙ

откидывается назадъ.

Скорѣе ты... Дьяволъ!

ИЛАРІОНЪ,

вперяя въ него взоръ:

Хочешь увидѣть его?

АНТОНІЙ

не можетъ оторваться отъ этого взгляда; его охватываетъ интересъ къ Дьяволу. Ужасъ его возрастаетъ, желаніе становится безграничнымъ.

Если бы я увидѣлъ его, однако... если бы я увидѣлъ?

Затѣмъ въ порывѣ гнѣва:

Отвращеніе къ нему навсегда избавитъ меня отъ него!— Согласенъ!

Показывается вилообразная нога.

Антоній раскаивается.

Но Дьяволъ подхватилъ его на рога и уноситъ.

VI.

Онъ летитъ подъ нимъ распростершись какъ пловецъ;— два большія вытянутыя крыла, закрывая его всего, кажутся облакомъ.

АНТОНІЙ.

Куда я мчусь?

Только что я смутно видѣлъ образъ Проклятаго. Нѣтъ! меня уноситъ туча! Быть можетъ я мертвъ и восхожу къ Богу?..

Ахъ, какъ легко дышать! Безгрѣшный воздухъ переполняетъ мнѣ душу! Нѣтъ больше тяжести! нѣтъ страданій!

Внизу подо мной блистаетъ молнія, горизонтъ развертывается, перекрещиваются рѣки. Это свѣтлое пятно—пустыня, эта лужица воды—Океанъ.

И появляются другіе океаны, огромныя пространства, которыхъ я не зналъ раньше. Вотъ черныя страны, что дымятся какъ жаровни, поясъ снѣговъ, всегда затемненныхъ туманами. Я стараюсь отыскать горы, куда каждый вечеръ заходитъ солнце.

ДЬЯВОЛЪ.

Солнце никогда не заходитъ!

Антонія не удивляютъ эти слова. Они кажутся ему эхомъ собственной мысли, отвѣтомъ его памяти.

Между тѣмъ земля принимаетъ форму шара; и онъ видитъ, какъ она вращается въ лазури вокругъ своихъ полюсовъ, вращаясь въ то же время вокругъ солнца.

ДЬЯВОЛЪ.

Итакъ, она не центръ міра? Гордость человѣка, смирись!

АНТОНІЙ.

Я едва различаю ее теперь. Она теряется среди другихъ огней.

Небосводъ только ткань звѣздъ.

Они все подымаются.

Полная тишина! даже орлы не клекочутъ! Ничего... и я склоняюсь, чтобы слушать гармонію планетъ.

ДЬЯВОЛЪ.

Ты не услышишь ея! Не увидишь и противоземія Платона, ни центральнаго очага Филолая, ни сферъ Аристотеля, ни семи небесъ Іудеевъ съ великими водами надъ кристальнымъ сводомъ!

АНТОНІЙ.

Снизу онъ казался плотнымъ какъ стѣна. Но, напротивъ, я проникаю его, погружаюсь въ него!

И передъ нимъ луна,—похожая на круглый кусокъ льда, застывшій въ неподвижномъ свѣтѣ.

ДЬЯВОЛЪ.

Здѣсь нѣкогда пребывали души. Добрый Пиѳагоръ украсилъ ее даже птицами и роскошными цвѣтами.

АНТОНІЙ.

Я вижу только пустынныя равнины и потухшіе кратеры подъ совершенно чернымъ небомъ.

Полетимъ къ тѣмъ мягче сіяющимъ свѣтиламъ, чтобы созерцать ангеловъ, которые держатъ ихъ въ рукахъ, какъ факелы.

ДЬЯВОЛЪ

уноситъ его къ звѣздамъ.

Онѣ одновременно притягиваютъ и отталкиваютъ другъ друга. Дѣйствіе каждой зависитъ отъ другихъ и способствуетъ имъ—безъ посторонняго посредства, силою закона, единственной власти порядка.

АНТОНІЙ.

Да... да! Мой умъ постигаетъ это! Такая радость выше удовольствій любви. Я задыхаюсь, ошеломленный величіемъ Бога!

ДЬЯВОЛЪ.

Какъ небосводъ, поднимающійся по мѣрѣ твоего подъема, онъ будетъ расти съ высотой твоей мысли;—и ты ощутишь,

какъ увеличивается твоя радость отъ этого раскрытія міра, въ этомъ расширеніи безконечнаго.

АНТОНІЙ.

О, выше! выше, все выше!

Число свѣтилъ возрастаетъ, они искрятся. Млечный путь развертывается въ зенитѣ какъ безконечный поясъ, съ отверстіями кое-гдѣ; сквозь эти прорывы его блеска уходятъ въ глубь области мрака. Появляются дожди звѣздъ, потоки золотой пыли, сіяющіе пары, которые плаваютъ и растворяются.

По временамъ вдругъ пролетаетъ комета;—затѣмъ спокойствіе безчисленныхъ свѣтовъ возобновляется.

Антоній, распростерши руки, опирается на оба рога Дьявола, занимая такимъ образомъ весь размахъ крылъ.

Онъ вспоминаетъ съ презрѣньемъ о невѣжествѣ прежнихъ дней, объ убожествѣ своихъ грезъ. Вотъ они, подлѣ него, эти сіяющіе шары, которые онъ созерцалъ снизу! Онъ различаетъ перекрещиваніе ихъ путей, сложность направленій. Онъ видитъ, какъ они приносятся издалека,—и, какъ камни пращи, описываютъ свои орбиты, чертятъ свои гиперболы.

Онъ охватываетъ однимъ взглядомъ Южный Крестъ и Большую Медвѣдицу, Рысь и Кентавра, туманность Дорады, шесть солнцъ созвѣздія Оріона, Юпитера съ четырьмя спутниками и тройное кольцо чудовищнаго Сатурна! всѣ планеты, всѣ свѣтила, которыя позже будутъ открыты людьми! Глаза его полны ихъ свѣта, мысль обременена подсчетомъ разстояній;—и вотъ голова его снова никнетъ.

Какова цѣль всего этого?

ДЬЯВОЛЪ.

Цѣли нѣтъ!

Какъ могъ бы Богъ имѣть цѣль? чей опытъ могъ научить его, чья мысль установить ее?

До начала онъ не дѣйствовалъ бы, а теперь былъ бы не нуженъ.

АНТОНІЙ.

Онъ создалъ міръ, однако, сразу, своимъ словомъ!

ДЬЯВОЛЪ.

Но существа, населяющія землю, появляются на ней одни

за другими. Такъ же на небѣ возникаютъ новыя свѣтила,—различныя слѣдствія разнообразныхъ причинъ.

АНТОНІЙ.

Разнообразіе причинъ есть воля Бога!

ДЬЯВОЛЪ.

Но признать въ Богѣ много актовъ воли, значитъ признать много причинъ и разрушить его единство!

Его воля неотдѣлима отъ его сущности. Онъ не могъ имѣть другой воли, такъ какъ не могъ имѣть другой сущности;—и существуя вѣчно, онъ творитъ вѣчно.

Наблюдай солнце! Съ его краевъ вырываются длинные языки пламени, разбрасывая искры, которыя разсѣиваются, чтобы стать мірами; — и за самымъ послѣднимъ, за тѣми глубинами, гдѣ ты видишь только ночь, вращаются новыя солнца, за ними еще и еще другія, безъ конца...

АНТОНІЙ.

Довольно! довольно! Мнѣ страшно! я сейчасъ упаду въ бездну.

ДЬЯВОЛЪ

останавливается и мягко покачиваетъ его:

Небытія нѣтъ! пустоты нѣтъ! Всюду тѣла, движущіяся на недвижной основѣ Пространства;—и такъ какъ, если бы оно ограничивалось чѣмъ-либо, то было бы уже тѣломъ, а не пространствомъ,—оно безгранично.

АНТОНІЙ

остолбенѣвъ:

Безгранично!

ДЬЯВОЛЪ.

Поднимайся все выше и выше къ небу; никогда ты не достигнешь вершины! Спускайся подъ землю въ теченіе милліардовъ вѣковъ, никогда ты не дойдешь до дна — ибо нѣтъ ни дна, ни вершины, ни верха, ни низа, нѣтъ предѣла; и Пространство заключено въ Богѣ, который не есть его часть, той или иной величины,—а необъятность!

АНТОНІЙ.

тихо:

Тогда... матерія... есть часть Бога?

ДЬЯВОЛЪ.

Почему бы и нѣтъ? Можешь ты знать, гдѣ онъ кончается?

АНТОНІЙ.

Напротивъ, я падаю ницъ, уничтожаюсь передъ его могуществомъ!

ДЬЯВОЛЪ.

И ты мнишь его тронуть! Ты говоришь съ нимъ, ты даже украшаешь его добродѣтелью, добротой, справедливостью, кротостью, вмѣсто того чтобы признать, что онъ обладаетъ всѣми совершенствами!

Утверждать что-либо внѣ этого, значитъ утверждать Бога внѣ Бога, бытіе сверхъ бытія. Итакъ, онъ единственное Бытіе, единственная субстанція.

Если бъ Субстанція могла дѣлиться, она лишилась бы своей природы, она не была бы собой, Бога не было бы. Итакъ, онъ недѣлимъ какъ безконечное; — а если бъ онъ имѣлъ тѣло, онъ былъ бы составленъ изъ частей, онъ больше не былъ бы одинъ, онъ не былъ бы безконечнымъ. То-есть, онъ не личность!

АНТОНІЙ.

Какъ? мои молитвы, мои рыданія, страданія моего тѣла, восторги моего вдохновенія, все это направлялось ко лжи... въ пространство... безцѣльно,—какъ крикъ птицы, какъ вихрь сухихъ листьевъ!

Плачетъ.

О, нѣтъ! Надо всѣмъ есть нѣкто, великій духъ, Господь, отецъ, обожаемый моимъ сердцемъ и который долженъ любить меня!

ДЬЯВОЛЪ.

Ты хочешь, чтобы Богъ не былъ Богомъ;—ибо если бы онъ испытывалъ любовь, гнѣвъ, или жалость, онъ перешелъ бы отъ своего совершенства къ совершенству большему или меньшему. Онъ не можетъ снизойти до чувства, какъ и вмѣститься въ форму.

АНТОНІЙ.

Все-таки, я увижу его когда-нибудь!

ДЬЯВОЛЪ.

Въ царствѣ небесномъ, не правда ли? — когда конечное будетъ наслаждаться безконечнымъ, въ ограниченномъ мѣстѣ, содержащемъ абсолютное!

АНТОНІЙ.

Безразлично, долженъ быть рай для добра, какъ адъ для зла!

ДЬЯВОЛЪ.

Развѣ требованіе твоего ума составляетъ законъ міра? Безъ сомнѣнія, Богъ равнодушенъ ко злу, ибо вся земля полна имъ!

По безсилію ли онъ выноситъ его, или сохраняетъ изъ жестокости?

Думаешь ли ты, что онъ постоянно исправляетъ міръ, какъ несовершенное созданіе и оберегаетъ всѣ движенія всѣхъ существъ, отъ полета бабочки до мысли человѣка?

Если онъ создалъ вселенную, провидѣніе излишне. Если Провидѣніе существуетъ, твореніе несовершенно.

Но зло и добро касается только тебя,—какъ день и ночь, удовольствіе и скорбь, смерть и рожденіе, которыя относятся къ одному уголку пространства, къ особой средѣ, къ опредѣленному благу. Такъ какъ одно безконечное постоянно, то существуетъ Безконечность;—и больше ничего!

Дьяволъ понемногу вытянулъ свои длинныя крылья; теперь они покрываютъ все.

АНТОНІЙ

не видитъ ничего больше. Ослабѣваетъ.

Ужасный холодъ леденитъ меня до глубины души. Это превосходитъ мѣру страданія! Это какъ бы смерть глубже самой смерти. Я погруженъ въ безграничный мракъ. Онъ входитъ въ меня. Мое сознаніе разрывается отъ расширенія этого „ничто“!

ДЬЯВОЛЪ.

Но міръ доходитъ до тебя лишь при посредствѣ твоего

духа. Какъ вогнутое зеркало, онъ искажаетъ предметы;—и у тебя нѣтъ никакого средства провѣрить его точность.

Никогда ты не узнаешь вселенной во всей ея величинѣ; слѣдовательно, не можешь составить представленія о ея причинѣ, создать правильнаго понятія о Богѣ,—даже сказать, что вселенная безконечна,—ибо сначала нужно познать Безконечное!

Быть можетъ, форма есть заблужденіе твоихъ чувствъ, Субстанція—миражъ твоей мысли.

— Если только въ этомъ мірѣ, гдѣ все течетъ, видимость не есть наиболѣе истинное, иллюзія единственная реальность.

Но увѣренъ ли ты, что видишь? увѣренъ ли ты даже, что живешь? Можетъ быть ничего нѣтъ.

Дьяволъ схватываетъ Антонія; и держа въ рукахъ, смотритъ на него съ разинутой пастью, готовясь проглотить.

Поклонись же мнѣ! и прокляни призракъ, который называешь Богомъ!

Антоній подымаетъ глаза въ послѣднемъ порывѣ надежды.

Дьяволъ покидаетъ его.

VII.

АНТОНІЙ

приходитъ въ себя, лежа на спинѣ, на краю утеса.

Небо начинаетъ блѣднѣть.

Ясность ли это зари, или отсвѣтъ луны?

Старается подняться, затѣмъ снова падаетъ; зубы его стучатъ.

Я чувствую утомленіе... какъ будто у меня переломаны всѣ кости.

Отчего?

Ахъ! это Дьяволъ! вспоминаю; — и даже онъ повторялъ мнѣ то же, что я зналъ отъ стараго Дидима объ ученіяхъ Ксенофана, Гераклита, Мелисса, Анаксагора, о безконечномъ, твореніи, невозможности знать что-либо!

И я вѣрилъ, что могу слиться съ Богомъ!

Горько смѣясь:

О, безуміе, безуміе! Развѣ я виноватъ? Молитва для меня невыносима. Сердце мое безплоднѣй утеса. Прежде оно захлебывалось отъ любви!

По утрамъ на горизонтѣ дымился песокъ, какъ пепелъ кадильницы; при захожденіи солнца огненные цвѣты распускались на крестѣ;—и среди ночи часто мнѣ казалось, что всѣ существа и всѣ предметы, соединенные въ общемъ молчаніи, поклонялись со мной Господу. О прелесть молитвъ, счастье восторговъ, дары неба, гдѣ вы?

Припоминаю путешествіе, которое я совершилъ съ Аммономъ въ поискахъ за уединеннымъ мѣстомъ для монастырей. Былъ послѣдній вечеръ; и мы ускоряли шаги, напѣвая гимны, бокъ-о-бокъ, въ безмолвіи. По мѣрѣ того какъ опускалось солнце, тѣни нашихъ фигуръ удлинялись какъ два все растущихъ обелиска, которые какъ бы шли передъ нами. Мы втыкали кое-гдѣ кресты изъ кусковъ нашихъ посоховъ, чтобы обозначить мѣсто кельи. Ночь наступала медленно; и черныя волны разливались по землѣ, въ то время какъ небо было еще въ розовомъ сіяніи.

Когда я былъ ребенкомъ, я забавлялся, строя скиты изъ камешковъ. Мать невдалекѣ смотрѣла за мной.

Она навѣрно прокляла меня за мой уходъ, вырывая цѣлыя клоки сѣдыхъ волосъ. А ея трупъ остался распростертымъ въ хижинѣ подъ тростниковой крышей, среди рушащихся стѣнъ. Гіена, фыркая, просовываетъ морду въ отверстіе... Ужасъ! Ужасъ!

Рыдаетъ.

Нѣтъ, Аммонарія конечно не покинула ее!

Гдѣ она теперь, Аммонарія?

Быть можетъ, въ глубинѣ бани, она снимаетъ съ себя одну за другой одежды, сначала верхнюю, затѣмъ поясъ, первую тунику, вторую, болѣе легкую, всѣ свои ожерелья; и паръ киннамоны охватываетъ ея нагіе члены. Она ложится, наконецъ, на теплую мозаику. Волосы образуютъ во-

кругъ ея бедръ какъ бы черное руно,—и слегка задыхаясь въ черезчуръ жаркомъ воздухѣ, она дышетъ, изогнувъ станъ, выставляя впередъ груди... Однако... это возстаетъ моя плоть! Въ разгарѣ скорби меня терзаетъ сластолюбіе. Два мученія сразу, это слишкомъ! Я не могу больше выносить себя!

Наклоняется и смотритъ въ пропасть.

Если спрыгнуть, разобьешься. Ничего нѣтъ легче, стоитъ покатиться съ лѣваго бока; всего одно движеніе! только одно!

Появляется

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА.

Антоній вскакиваетъ съ движеніемъ страха.—Ему кажется, что передъ нимъ воскресшая мать.

Но эта гораздо старше и необыкновенно худа.

Саванъ, завязанный на головѣ, падаетъ съ сѣдыми волосами къ ступнямъ тонкихъ, какъ костыли, ногъ. Блескъ зубовъ, цвѣта слоновой кости, оттѣняетъ землистость ея кожи. Орбиты глазъ полны мрака, а внутри мигаютъ огоньки, какъ лампады въ склепѣ.

Приблизься, говоритъ она. Кто удерживаетъ тебя?

АНТОНІЙ

запинаясь:

Я боюсь совершить грѣхъ!

ОНА

продолжаетъ:

Но царь Саулъ убилъ себя. Разія, праведникъ, убилъ себя. Святая Пелагея изъ Антіохіи убила себя; Доммина Алепская и ея двѣ дочери, три другихъ святыхъ, убили себя;—а вспомни исповѣдниковъ, что предупреждали палачей изъ нетерпѣнія къ смерти. Чтобъ насладиться ею поскорѣй, дѣвственницы Милета удавливались своими шнурами. Философъ Гегезій такъ успѣшно проповѣдалъ ее въ Сиракузахъ, что убѣгали изъ лупанаровъ, чтобы вѣшаться въ поляхъ. Патриціи Рима доставляютъ ее себѣ какъ развратъ.

АНТОНІЙ.

Да, эта страсть сильна! Много анахоретовъ поддаются ей!

СТАРУХА.

Сдѣлать нѣчто, равняющее тебя съ Богомъ, подумай только! Онъ сотворилъ тебя, ты замышляешь уничтожить его дѣло, — своимъ мужествомъ, добровольно! Это не ниже блаженства Герострата. И затѣмъ, тѣло твое достаточно надругалось надъ духомъ, чтобы ты отмстилъ, наконецъ. Ты не будешь страдать. Это произойдетъ быстро. Чего ты боишься? большая черная дыра! Она пуста, быть можетъ?

Антоній слушаетъ, не отвѣчая; — и съ другой стороны появляется

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА

юная и обаятельно прекрасная. — Онъ принимаетъ ее сначала за Аммонарію.

Но она выше, свѣтлая какъ медъ, очень полная, съ нарумяненными щеками и розами на головѣ. Ея длинное платье, усыпанное блестками, отливаетъ металломъ; чувственныя губы налиты кровью, а тяжеловатыя вѣки полны такой истомы, что ее можно принять за слѣпую.

Она бормочетъ:

Живи же, наслаждайся! Соломонъ проповѣдуетъ радость! Иди куда влечетъ сердце и слѣдуя желанію глазъ!

АНТОНІЙ.

Гдѣ найти радость? мое сердце устало, глаза плохо видятъ!

ОНА

продолжаетъ:

Иди въ предмѣстье Ракотисъ, толкни дверь, выкрашенную въ голубое; и когда ты будешь въ атріи, гдѣ журчитъ фонтанъ, выйдетъ женщина — въ бѣломъ шелковомъ пеплосѣ, вышитомъ золотомъ, съ распущенными волосами, со смѣхомъ похожимъ на щелканье кроталовъ. Она искусна. Ты вкусишь въ ея ласкахъ гордость посвященія въ таинства и удовлетворенье потребности.

Ты не знаешь также и тревоги прелюбодѣйства, ночныхъ свиданій, похищеній, счастья видѣть голой ту, кого уважалъ въ одеждѣ.

Прижималъ ли ты къ груди дѣвушку, любившую тебя?

Помнишь ли ты какъ уходилъ ея стыдъ и въ потокѣ нѣжныхъ слезъ таяли угрызенія.

Ты можешь, конечно, представить себѣ, какъ вы идете въ лѣсу при свѣтѣ луны? Отъ пожатія вашихъ рукъ трепетъ пробѣгаетъ по тѣлу; ваши близкіе глаза обмѣниваются какъ бы нематеріальными волнами, и сердца наполняются; они разрываются; это сладкій вихрь, затопляющее опьяненіе...

СТАРАЯ.

Развѣ нужно знать радости, чтобы чувствовать ихъ горечь! Достаточно взглянуть на нихъ издали, и тебя возьметъ отвращеніе. Ты навѣрно усталъ отъ однообразія одинаковыхъ дѣйствій, теченія дней, некрасивости міра, глупости солнца!

АНТОНІЙ.

О, да, все, что оно освѣщаетъ, не нравится мнѣ!

МОЛОДАЯ.

Отшельникъ, отшельникъ! ты найдешь алмазы среди камешковъ, фонтаны подъ пескомъ, наслажденіе въ случайностяхъ, которыя презираешь; и даже на землѣ есть такія дивныя мѣста, что хочется прижать ихъ къ сердцу.

СТАРАЯ.

Каждый вечеръ, засыпая на ней, ты надѣешься, что скоро она возьметъ тебя!

МОЛОДАЯ.

Однако, ты вѣришь въ воскресеніе тѣла, а это переноситъ жизнь въ вѣчность!

Старая за это время еще болѣе изсохла; и надъ ея черепомъ, на которомъ нѣтъ больше волосъ, описываетъ въ воздухѣ круги летучая мышь.

Молодая стала толще. Платье ея переливаетъ, ноздри дрожатъ, глаза томны.

ПЕРВАЯ

раскрывая объятія:

Приди, я утѣшеніе, покой, забвеніе, вѣчная ясность!

ВТОРАЯ

предлагая свои груди:

Я усыпительница, радость, жизнь, неисчерпаемое счастье!

Антоній поворачивается, пытаясь бѣжать. Обѣ кладутъ ему на плечи руки.

Саванъ распахивается и обнажаетъ скелетъ Смерти.

Платье разрывается и подъ нимъ видно все тѣло Чувственности, у которой тонкій станъ, широкіе бока, и длинные волнистые волосы, концы которыхъ развѣваются.

Антоній не двигаясь стоитъ между ними и разсматриваетъ ихъ.

СМЕРТЬ.

Мгновеніемъ раньше, мгновеніемъ позже не все ли равно! Ты мой, какъ солнце, народы, города, цари, снѣгъ горъ, трава полей. Я парю выше коршуна, я мчусь быстрѣе газели, я настигаю даже надежду, я побѣдила сына Божія!

ЧУВСТВЕННОСТЬ.

Не противься; я всемогуща! Лѣса полны моими вздохами, волны колеблются моими движеніями. Добродѣтель, храбрость, благочестіе, таютъ въ ароматѣ моихъ устъ. Я сопутствую человѣку во всѣхъ его поступкахъ;—и съ порога могилы онъ оборачивается ко мнѣ!

СМЕРТЬ.

Я открою тебѣ то, что ты старался уловить при свѣтѣ факеловъ на лицахъ мертвыхъ, или—когда блуждалъ за Пирамидами, въ этихъ великихъ пескахъ, составленныхъ изъ человѣческихъ останковъ. По временамъ кусокъ черепа откатывался изъ-подъ твоей сандаліи. Ты зачерпывалъ прахъ, ты пропускалъ его между пальцами; и твоя мысль, сливаясь съ нимъ, погружалась въ ничто.

ЧУВСТВЕННОСТЬ.

Моя бездна глубже! Мраморы внушали грязную любовь. Бросаются ко встрѣчамъ, которыя ужасаютъ. Куютъ цѣпи, которыя проклинаютъ. Откуда чародѣйство блудницъ, сумасбродство грезъ, безмѣрность моей печали?

СМЕРТЬ.

Моя иронія превосходитъ все! На похоронахъ царей, при гибели народа, бываютъ спазмы наслажденій;—и воюютъ подъ музыку, съ султанами, знаменами, золотой сбруей, устраиваютъ церемоніи, чтобы лучше почтить меня.

ЧУВСТВЕННОСТЬ.

Мой гнѣвъ стоитъ твоего. Я вою, я кусаю. Я вмѣщаю потъ агоніи и видъ трупа.

СМЕРТЬ.

Вѣдь благодаря мнѣ ты значительна; обнимемся!

Смерть хохочетъ, Чувственность рычитъ. Онѣ обхватываютъ другъ друга и поютъ вмѣстѣ:

— Я ускоряю разложеніе матеріи!

— Я облегчаю разсѣянье зародышей!

— Ты разрушаешь, чтобы я возстановляла!

— Ты зарождаешь, чтобы я губила!

— Усиль мое могущество!

— Оплодотворяй мое гніеніе!

И ихъ голоса, эхо которыхъ, раскатываясь, заполняетъ окрестность, становятся такъ сильны, что Антоній падаетъ навзничь.

Толчки, по временамъ, заставляютъ его пріоткрыть глаза; и онъ видитъ передъ собой во мракѣ нѣчто чудовищное.

Это голова мертвеца въ вѣнкѣ изъ розъ. Она помѣщена на туловищѣ женщины жемчужной бѣлизны. Внизу — испещренный золотыми точками саванъ образуетъ какъ бы хвостъ; и все тѣло извивается, напоминая гигантскаго, выпрямившагося во весь ростъ червя.

Видѣніе истончается, исчезаетъ.

АНТОНІЙ

подымается.

Еще разъ это былъ Дьяволъ въ своихъ двухъ видахъ: духъ блуда и духъ разрушенія.

Ни тотъ, ни другой не страшенъ мнѣ. Я отвергаю счастье и я чувствую себя вѣчнымъ.

Такъ, смерть есть только призракъ, покрывало, прикрывающее кое-гдѣ безпрерывность жизни.

Но разъ Субстанція едина, почему многообразны Формы?

Должны быть гдѣ-нибудь первообразы, предметы же суть лишь ихъ подобія. Если бы ихъ можно было увидѣть, мы познали бы связь матеріи съ мыслью, въ чемъ и состоитъ Бытіе!

Эти-то образы и нарисованы въ Вавилонѣ на стѣпахъ храма Бэла, и ими была покрыта одна мозаика въ Карѳагенскомъ портѣ. Я самъ видѣлъ иногда на небѣ нѣчто въ родѣ духовъ. Путешествующіе въ пустынѣ встрѣчаютъ животныхъ, превосходящихъ все возможное.

И, напротивъ, на другой сторонѣ Нила, появляется Сфинксъ.

Онъ вытягиваетъ свои лапы, потрясаетъ повязками на лбу и ложится на брюхо.

Скача, взлетая, изрыгая пламя изъ ноздрей и хлопая по крыльямъ драконовымъ хвостомъ, кружится и лаетъ Химера съ зелеными глазами.

Кольца ея волосъ, отброшенныя съ одной стороны, путаются въ шерсти на бокахъ, а съ другой свѣшиваются до песка и прыгаютъ при движеніи всего тѣла.

СФИНКСЪ

неподвиженъ и глядитъ на Химеру:

Сюда, Химера; остановись!

ХИМЕРА.

Нѣтъ, никогда!

СФИНКСЪ.

Не носись такъ быстро, не летай такъ высоко, не лай такъ сильно!

ХИМЕРА.

Не зови меня больше, не зови меня больше, ибо ты вѣчно нѣмъ!

СФИНКСЪ.

Перестань дышать пламенемъ мнѣ въ лицо и выть мнѣ въ уши; ты не расплавишь моего гранита!

ХИМЕРА.

Ты не поймаешь меня, страшный сфинксъ!

СФИНКСЪ.

Чтобы жить со мной, ты слишкомъ безумна!

ХИМЕРА.

Чтобы слѣдовать за мной, ты слишкомъ тяжелъ!

СФИНКСЪ.

Куда же ты стремишься, носясь такъ быстро?

ХИМЕРА.

Я скачу въ корридорахъ лабиринта, я парю надъ горами, я скольжу по волнамъ, я брешу въ глубинѣ пропастей, я цѣпляюсь пастью за края тучъ; своимъ волочащимся хвостомъ я исчерчиваю морскія прибрежья, и кривыя очертанія холмовъ зависятъ отъ формы моихъ плечъ. Но ты, ты всегда и попрежнему недвиженъ, или выписываешь на пескѣ алфавиты концомъ своего когтя.

СФИНКСЪ.

Да, я храню свою тайну! Я мыслю, я счисляю.

Море колышется въ своемъ лонѣ, хлѣба колеблются подъ вѣтромъ, караваны проходятъ, пыль улетаетъ, города рушатся; — а мой взглядъ, котораго ничто не можетъ отклонить, вѣчно направленъ сквозь видимое къ недостижимому горизонту.

ХИМЕРА.

Я же легка и радостна. Я открываю людямъ ослѣпительныя перспективы съ воздушными замками и отдаленнымъ счастьемъ. Я лью имъ въ душу вѣчное безуміе, проекты счастья, планы будущаго, мечты о славѣ и клятвы любви и добродѣтельныя рѣшенія.

Я подстрекаю къ опаснымъ путешествіямъ и великимъ предпріятіямъ. Я изсѣкла своими лапами жемчужины архитектуры. Это я повѣсила колокольчики на могилѣ Порсенны и опоясала стѣной коринѳской мѣди набережныя Атлантиды.

Я ищу новыхъ благоуханій, болѣе пышныхъ цвѣтовъ, неиспытанныхъ удовольствій. Когда я вижу гдѣ-нибудь человѣка, умъ котораго дремлетъ въ мудрости, я кидаюсь на него и удушаю его.

СФИНКСЪ.

Всѣхъ тѣхъ, кого мучаетъ жажда Бога, всѣхъ я пожралъ.

Сильнѣйшіе, чтобы вскарабкаться на мой царственный лобъ, восходятъ по складкамъ моихъ повязокъ какъ по сту-

пенямъ лѣстницы. Усталость охватываетъ ихъ; и они падаютъ навзничь.

Антоній начинаетъ трепетать.

Передъ нимъ теперь нѣтъ хижины, онъ въ пустынѣ,— и съ обѣихъ его сторонъ эти чудовищные звѣри, пасти которыхъ касаются его плечъ.

СФИНКСЪ.

О, Мечта, унеси меня на своихъ крыльяхъ, чтобы развѣять мою печаль!

ХИМЕРА.

О, Незнакомецъ, я влюблена въ твои глаза! Какъ гіена въ пылу я ношусь вокругъ тебя, возбуждая къ оплодотвореніямъ, необходимость которыхъ пожираетъ меня.

Раскрой пасть, подыми ноги, стань мнѣ на спину!

СФИНКСЪ.

Мои ноги, съ тѣхъ поръ какъ вытянуты, не могутъ сдвинуться. Мохъ, какъ лишай, выросъ въ моей пасти. Я столько думалъ, что мнѣ нечего больше сказать.

ХИМЕРА.

Ты лжешь, лицемѣрный сфинксъ! Почему ты зовешь меня и каждый разъ отрекаешься?

СФИНКСЪ.

Это ты, неукротимая причуда, являешься и вьешься!

ХИМЕРА.

Развѣ я виновата? Въ чемъ? оставь меня!

Лаетъ.

СФИНКСЪ.

Ты движешься, ты ускользаешь!

Ворчитъ.

ХИМЕРА.

Попробуемъ!—ты меня давишь!

СФИНКСЪ.

Нѣтъ, невозможно!

И погружаясь мало-по-малу, онъ исчезаетъ въ пескѣ, а Химера, ползая съ высунутымъ языкомъ, удаляется, описывая круги.

Дыханіе ея рта произвело туманъ.

Въ этой мглѣ Антоній видитъ завитки облаковъ, неясныя извилины.

Наконецъ, онъ различаетъ нѣчто въ родѣ человѣческихъ фигуръ.

И сначала приближается

РОЙ АСТОМИ,

похожихъ на пузырьки воздуха, пронизанные солнцемъ.

Не дыши слишкомъ сильно! Капли дождя умерщвляютъ насъ, фальшивые звуки обнажаютъ, мракъ ослѣпляетъ. Созданные изъ вѣтерковъ и благовоній, мы течемъ, мы плывемъ—немного больше чѣмъ грезы, не совсѣмъ настоящія твари.

НИНЫ.

У нихъ по одному глазу, одной щекѣ, одной рукѣ, одной ногѣ, по половинѣ тѣла, по половинѣ сердца.

И они говорятъ очень громко:

Мы живемъ съ полнымъ удобствомъ въ половинахъ нашихъ домовъ, съ половинами нашихъ женъ и половинами нашихъ дѣтей.

БЛЕММІИ

совершенно безъ головъ.

Наши плечи отъ этого шире; — и нѣтъ быка, носорога, слона, который могъ бы поднять столько, сколько мы.

Нѣчто въ родѣ слѣдовъ и неяснаго отпечатка лицъ у насъ на груди, вотъ и все! Мы размышляемъ о пищевареніи, мы разжижаемъ выдѣленія. Богъ для насъ плаваетъ съ миромъ во внутреннемъ хилѣ.

Мы идемъ прямо по нашему пути, черезъ всякую грязь, мимо всѣхъ безднъ;—и мы самые счастливые, самые трудолюбивые, самые добродѣтельные люди.

ПИГМЕИ.

Маленькіе человѣчки, мы кишимъ въ мірѣ, какъ паразиты въ горбу дромадера.

Насъ жгутъ, насъ топятъ, насъ давятъ; и всякій разъ мы появляемся снова, еще живучѣе и многочисленнѣй, — страшные своимъ числомъ!

СКІАПОДЫ.

Прикрѣпленные къ землѣ своими волосами, длинными

какъ ліаны, мы прозябаемъ подъ тѣнью своихъ ногъ, широкихъ какъ зонты; и свѣтъ доходитъ до насъ сквозь толщу нашихъ ступней. Никакого безпокойства и никакого труда! Какъ можно ниже голову, въ этомъ тайна счастья!

Число ихъ поднятыхъ лапъ, напоминающихъ стволы деревьевъ, увеличиваются.

И появляется лѣсъ. Въ немъ бѣгаютъ большія четвероногія обезьяны; это люди съ собачьими головами.

КИНОЦЕФАЛЫ.

Мы прыгаемъ съ вѣтви на вѣтвь, чтобы высасывать яйца, и мы ощипываемъ птичекъ; потомъ надѣваемъ себѣ на головы ихъ гнѣзда вмѣсто шапокъ.

Мы пользуемся случаемъ вырвать коровье вымя; и мы выдираемъ глаза рысей, мы испражняемся съ верхушки деревъ, мы проявляемъ свою гнусность среди бѣла дня.

Портя цвѣты, топча плоды, грязня источники, насилуя женщинъ,—мы господа надъ всѣмъ, ибо руки наши сильны и сердца свирѣпы.

Смѣлѣй, товарищи! Ляскайте челюстями!

Кровь и молоко текутъ у нихъ по губамъ. По мохнатымъ спинамъ струятся потоки воды.

Антоній вдыхаетъ свѣжесть зеленыхъ листьевъ.

Они трепещутъ, вѣтви шелестятъ; и вдругъ появляется большой черный олень съ бычачьей головой, на лбу у котораго цѣлый лѣсъ бѣлыхъ роговъ.

САДУЗАГЪ.

Мои семьдесятъ четыре рога полы какъ флейты!

Когда я поворачиваюсь къ южному вѣтру, ихъ звуки привлекаютъ ко мнѣ восхищенныхъ животныхъ. Змѣи свертываются у меня въ ногахъ, осы липнутъ къ моимъ ноздрямъ, и попугаи, ибисы и голуби садятся на мои вѣтви.

— Слушай!

Онъ закидываетъ свои рога, и раздаются необыкновенно пріятные звуки.

Антоній сжимаетъ грудь обѣими руками. Ему кажется, что его душа унесется сейчасъ съ этой мелодіей.

САДУЗАГЪ.

Но когда я поворачиваюсь къ вѣтру сѣвера, мои рога,

которые гуще чѣмъ щетина копій, издаютъ ревъ; лѣса дрожатъ, рѣки текутъ вспять, оболочки плодовъ лопаются и травы подымаются какъ волосы труса.

— Слушай!

Наклоняетъ свои вѣтви, оттуда летятъ безсвязные крики; Антонія какъ бы разрываютъ.

И его ужасъ возрастаетъ при видѣ

МАРТИХОРА,

гигантскаго краснаго льва съ человѣческимъ обликомъ и тремя рядами зубовъ.

Лоскъ моего яркокраснаго мѣха сливается съ отблескомъ великихъ песковъ. Я выдыхаю изъ своихъ ноздрей ужасы пустыни. Я изрыгаю чуму. Я поѣдаю войска, когда они дерзаютъ углубиться въ степи.

Мои когти скручены буравами, мои зубы зазубрены какъ пила; а мой кольцеобразный хвостъ утыканъ дротиками, которые я мечу вправо, влѣво, впередъ, назадъ. — Смотри! вотъ!

Мартихоръ сыплетъ иглами своего хвоста, онѣ разлетаются во всѣ стороны какъ стрѣлы. Падаютъ капельки крови, барабаня по листвѣ.

КАТОБЛЕПЪ,

черный буйволъ со свиной головой, которая склоняется до земли и прикрѣплена къ плечамъ тонкой, длинной и дряблой, какъ пустая кишка, шеей.

Онъ лежитъ на животѣ; и ноги его исчезаютъ подъ могучей гривой изъ жесткихъ волосъ, которая покрываетъ ему морду.

Жирный, задумчивый, дикій, я постоянно ощущаю у себя подъ брюхомъ теплоту грязи. Мой черепъ такъ тяжелъ, что мнѣ нельзя его поднять. Я медленно катаю его вокругъ себя;—и полураскрывъ челюсти, я вырываю языкомъ ядовитыя травы, орошенныя моимъ дыханьемъ. Однажды я отъѣлъ себѣ лапы, не замѣтивъ этого.

Никто, Антоній, никогда не видалъ моихъ глазъ, а тѣ, кто видѣлъ, погибли. Если я подыму свои вѣки, — розовыя, налитыя вѣки,—тотчасъ ты умрешь.

АНТОНІЙ.

О, этотъ... А если я пожелаю сейчасъ? Его глупость влечетъ меня. Нѣтъ, нѣтъ, не хочу!

Упорно смотритъ въ землю.

Но трава загорается, и въ извивахъ пламени подымается

ВАСИЛИСКЪ,

большой фіолетовый змѣй съ трехлопастнымъ гребнемъ, съ двумя зубами, вверху и внизу.

Берегись, ты сейчасъ попадешь въ мою пасть! Я пью огонь. Огонь это я; — и я вбираю его отовсюду: изъ тучъ, изъ камней, изъ мертвыхъ деревьевъ, изъ шерсти животныхъ, съ поверхности болотъ. Мое тепло питаетъ вулканы; я причина блеска драгоцѣнностей и цвѣта металловъ.

ГРИФЪ

левъ съ ястребинымъ клювомъ и бѣлыми крыльями, лапы у него красны, а шея синяя.

Я властелинъ подземныхъ очарованій. Я знаю тайну могилъ, гдѣ спятъ древніе цари.

Цѣпь, прикрѣпленная къ стѣнѣ, поддерживаетъ ихъ ловы. Рядомъ съ ними, въ порфировыхъ бассейнахъ, плаютъ въ черныхъ жидкостяхъ женщины, которыхъ они убили. Ихъ богатства размѣщены въ залахъ, ромбами, олмиками, пирамидами;—а ниже, гораздо глубже могилъ, за длинными переходами удушающаго мрака есть золотыя рѣки съ алмазными лѣсами, луга карбункуловъ, озера ртути.

Прислонившись къ двери подземелья и вытянувъ когти, я съ пылающими глазами поджидаю тѣхъ, кто намѣренъ приблизиться. Безпредѣльная равнина пустынна до самаго горизонта и побѣлѣла отъ костей путниковъ. Но предъ тобой бронзовые створы отворятся, и ты вдохнешь пары рудниковъ, ты спустишься въ пещеры... Скорѣй, скорѣй!

Роетъ лапами землю и кричитъ по пѣтушиному.

Тысячи голосовъ вторятъ ему. Лѣсъ трепещетъ.

И появляются всевозможные страшные звѣри: Трагелафъ, полу-олень, полубыкъ; Мирмеколео, спереди левъ, сзади муравей, съ половыми органами навыворотъ; Пиеонъ Аксаръ, въ шестьдесятъ локтей, ужаснувшій Моисея; большая ласка. Пастинака, убивающая деревья своимъ запахомъ;

Престеросъ, отъ прикосновенія къ которому теряютъ умъ; Мирагъ, рогатый заяцъ, житель морскихъ острововъ. У леопарда Фальманта отъ рева разрывается брюхо; Сенадъ, трехголовый медвѣдь, раздираетъ языкомъ своихъ дѣтенышей; собака Кепъ обливаетъ утесы синимъ молокомъ своихъ сосковъ. Москиты жужжатъ, жабы прыгаютъ, змѣи свистятъ. Блистаютъ молніи. Идетъ градъ.

Налетаютъ шквалы, принося диковины анатоміи. Здѣсь головы аллигаторовъ на ногахъ козуль, совы съ змѣиными хвостами, борова съ мордой тигра, козы съ ослиными задами, мохнатыя, какъ медвѣди, лягушки, хамелеоны величиною съ гиппопотамовъ, телята о двухъ головахъ—одна изъ нихъ плачетъ, другая мычитъ,—четверни-недоноски, скрѣпленные одной пуповиной и пляшущіе какъ волчки, крылатыя чрева, что летаютъ какъ мошки.

Ихъ источаетъ небо, они выходятъ изъ земли, текутъ изъ утесовъ. Вездѣ сверкаютъ глаза, рычатъ пасти; закругляются груди, вытягиваются когти, скрежещутъ зубы, плещутся тѣла. Нѣкоторыя изъ нихъ родятъ, другіе совокупляются, или пожираютъ другъ друга однимъ глоткомъ.

Задыхаясь отъ страшной тѣсноты, размножаясь соприкосновеніемъ, они карабкаются другъ на друга;—и всѣ движутся вокругъ Антонія въ мѣрномъ колыханіи, какъ будто земля стала палубой корабля. Онъ чувствуетъ у своихъ икоръ улитокъ, на ладоняхъ холодъ гадюкъ; и пауки, сплетая свои ткани, одѣваютъ его этой сѣткой.

Но цѣпь чудовищъ полуразрывается, небо сразу становится голубымъ и выскакиваетъ

ЕДИНОРОГЪ.

Галопомъ, галопомъ!

У меня копыта изъ слоновой кости, зубы изъ стали, голова цвѣта пурпура, тѣло снѣжной бѣлизны, а рогъ на лбу разноцвѣтенъ какъ радуга.

Я несусь изъ Халдеи въ татарскую пустыню, къ берегамъ Ганга и въ Мессопотамію. Я обгоняю страусовъ. Я несусь такъ быстро, что увлекаю вѣтры. Я задѣваю спиной за пальмы. Я валяюсь въ бамбукахъ. Однимъ скачкомъ я перепрыгиваю рѣки. Надо мной летятъ голуби. Только одна дѣва можетъ меня взпуздать.

Галопомъ, галопомъ!

И на глазахъ Антонія онъ исчезаетъ.

Такъ какъ Антоній смотритъ вверхъ, онъ видитъ птицъ, питающихся вѣтромъ: Гуифа, Агути, Альфалима, Юкнефа съ Каффскихъ горъ, арабскихъ Омаи, которыя суть души убитыхъ. Онъ слышитъ какъ попугаи говорятъ по-человѣчьи, а большія лапчатоногія птицы рыдаютъ какъ дѣти или язвительно хохочутъ, какъ старухи.

Онъ вдыхаетъ сильно соленый воздухъ. Теперь передъ нимъ прибрежье моря.

Вдалекѣ встаютъ водяные фонтаны, вздымаемые китами; и со всѣхъ сторонъ приближаются, ползая по песку,

МОРСКІЕ ЗВѢРИ

круглые какъ бурдюки, плоскіе какъ пластины, изузбренные какъ пилы.

Ты отправишься сейчасъ съ нами, въ наши просторы, куда не сходилъ еще никто!

Разныя племена населяютъ области Океана. Одни живутъ въ убѣжищѣ бурь; другія плаваютъ на волѣ въ прозрачныхъ холодныхъ волнахъ, пасутся, какъ быки на равнинахъ кораллovъ, втягиваютъ хоботами остатки отлива, или несутъ на своихъ плечахъ грузъ источниковъ моря.

Усы тюленей, чешуи рыбъ блестятъ фосфорическимъ свѣтомъ. Морскіе ежи вращаются какъ колеса, рога Аммона развертываются какъ канаты, устрицы щелкаютъ своими створами, полипы выпускаютъ щупальца, дрожатъ медузы, похожія на шарики хрусталя, плаваютъ губки, анемоны выплевываютъ воду; вырастаютъ мхи, водоросли.

И всевозможнѣйшія растенія вытягиваются въ вѣтви свиваются воронками, удлиняются въ острія, закругляются въ вѣера. Тыквы похожи на груди, ліаны переплетаются какъ змѣи.

У деревьевъ Дедаимъ изъ Вавилона, вмѣсто плодовъ человѣчьи головы; Мандрагоры поютъ, корень Баарасъ движется въ травѣ.

Растенія не отличаются теперь больше отъ животныхъ. У полипняковъ, напоминающихъ сикоморы, на вѣтвяхъ руки. Антонію кажется, что между двухъ листьевъ сидитъ гусеница; это бабочка, она улетаетъ. Онъ хочетъ наступить на камешекъ; выскакиваетъ сѣрый кузнечикъ. Насѣкомыя, похожія на лепестки розъ, украшаютъ кустъ; остатки эфемеридъ лежатъ на землѣ снѣжнымъ покровомъ.

Далѣе растенія сливаются съ камнями.

Галька походитъ на мозги, сталактиты на соски, желѣзистые цвѣты на обои съ фигурами.

Въ кусочкахъ льда онъ различаетъ узоры, отпечатки побѣговъ и раковинъ,—и нельзя разобрать, отпечатки ли это предметовъ, или сами предметы. Брилліанты блестятъ какъ глаза, минералы мерцаютъ.

И ему больше не страшно!

Онъ ложится на грудь, подпираетъ голову руками; и удерживая дыханіе, онъ смотритъ.

Насѣкомыя, у которыхъ нѣтъ больше желудковъ, продолжаютъ ѣсть; изсохшіе папортники начинаютъ цвѣсти; недостающіе члены выростаютъ.

Наконецъ, онъ видитъ маленькія шаровидныя массы, величиной съ булавочную головку, усаженныя рѣсницами.

Онѣ трепещутъ.

АНТОНІЙ,

безумѣя:

О счастье, счастье! я видѣлъ зарожденіе жизни, я видѣлъ начало движенія. Кровь въ моихъ жилахъ бьется такъ сильно, что они сейчасъ разорвутся. Я хочу летать, плавать, лаять, рычать, выть. Я желалъ бы имѣть крылья, щитъ черепахи, одѣться корой, выдыхать паръ, обладать хоботомъ, извиваться, разсѣяться повсюду, быть во всемъ, уноситься съ запахами, распростираться какъ растенія, течь какъ вода, звенѣть какъ звукъ, блистать какъ свѣтъ, затаиться во всемъ, пронизать каждый атомъ, погрузиться до дна матеріи,—быть матеріей!

День, наконецъ, настаетъ; и какъ складки священной занавѣси, которую поднимаютъ, золотыя облака, свиваясь широкими завитками, открываютъ небо.

Въ серединѣ, на дискѣ самого солнца, сіяетъ ликъ Іисуса Христа.

Антоній дѣлаетъ знаменіе креста и возвращается къ молитвамъ.

Конецъ.

ИВАНЪ БУНИНЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Истара.

Луна, богъ Синъ, ее зарей встрѣчаетъ.
Онъ свой путь свершаетъ на быкѣ,
Ее тіара звѣздная вѣнчаетъ,
Стрѣла и лукъ лежатъ въ ея рукѣ.

Царица битвъ, она рѣшаетъ битвы,
Судья царей, она неправымъ мститъ—
И ужъ ни дымъ, ни ѳиміамъ молитвы
Ея очей тогда не обольститъ.

Но вотъ весна. Среди рѣчного пара
Свой блѣдный ликъ подъемлетъ Синъ, луна—
И какъ нѣжна становится Истара!

Откинувъ лукъ, до чреслъ обнажена,
Таинственна и сладостна, какъ чара,
Съ какой мольбой ждетъ страстныхъ ласкъ она!

Египетъ.

Ра-Озирисъ, владыка дня и свѣта,
Хвала тебѣ! Я, богъ пустыни, Сетъ,
Горжусь врагомъ: ты, побѣждая Сета,
Въ его странѣ царилъ пять тысячъ лѣтъ.

Ты славенъ былъ, твоя ладья воспѣта
Была стократъ. Но за ладьей во слѣдъ
Шелъ богъ пустынь, богъ древняго завѣта—
И вотъ, о Ра, плоды твоихъ побѣдъ:

Безносый сфинксъ среди полей Гизеха,
Лѣнивый Нилъ да глыбы пирамидъ,
Руины Ѳивъ, гдѣ гулко бродитъ эхо,
Да письмена въ куски разбитыхъ плитъ,

Да обелискъ въ блестящей политурѣ,
Да пыль песковъ на пламенной лазури.

Одинъ.

Онъ на западъ глядитъ—солнце къ морю спускается,
Свѣтитъ по морю краснымъ огнемъ.
Онъ застылъ на скалѣ—ветхій плащъ развѣвается
Отъ холоднаго вѣтра на немъ.

Опираясь на мечъ, онъ глядитъ на багровую
Чешую безпредѣльныхъ зыбей.
Но не видитъ онъ волнъ—только думу суровую
Означаютъ изгибы бровей.

Древенъ міръ,—онъ древнѣй. Плащъ Одина какъ вретище,
Ржа вѣковъ—на желѣзномъ мечѣ...
Черный воронъ Хугинъ—скорбной Памяти дѣтище
У него на плечѣ.

Розы Шираза.

Пой, соловей! Онѣ томятся:
Въ шатрахъ узорчатыхъ мимозъ,
На ихъ рѣсницахъ серебрятся
Алмазы томныхъ крупныхъ слезъ.

Садъ въ эту ночь — какъ садъ Ирема.
И сладострастна, и блѣдна,
Какъ въ шахнизиръ—тайникъ гарема,
Въ узоръ вѣтвей глядитъ луна.

Бѣлѣетъ мѣлъ стѣны неясно.
Но тамъ, гдѣ свѣтъ, его атласъ
Горитъ такъ зелено и страстно,
Какъ изумрудъ змѣиныхъ глазъ.

Пой, соловей! Томятъ желанья.
Цвѣты молчатъ—нѣтъ словъ у нихъ:
Ихъ сладкій зовъ—благоуханья,
Алмазы слезъ—покорность ихъ.

Магометъ въ изгнаніи.

Джины близъ Тайифа пролетали
Въ сумерки долиной каменистой.
Чу! Пророкъ!—Его слова звучали,
Какъ источникъ сладостный и чистый.

На камняхъ, среди кустовъ дзарига,
Онъ сидѣлъ и говорилъ, тоскуя:
„Я одинъ. Мнѣ тяжко Божье иго.
Я вдали отъ тѣхъ, кого люблю я!“

И сказали джины: „Недостойно
Быть Пророку слабымъ и усталымъ!“
И Пророкъ печально и спокойно
Отвѣчалъ: „Я жаловался скаламъ“.

Безсмертный.

Ангелъ Смерти въ Судный День умретъ:
Истребитъ живущихъ—и со стономъ
Прилетитъ къ Аллаху—и простретъ,
Бездыханный, крылья передъ тономъ.

Ангелъ Мести, грозный судія!
На твоемъ стальномъ клинкѣ изсѣченъ
Грозный кличъ: „Безсмертенъ только Я.
Трепещите! Ангелъ Мести вѣченъ“.

М. ГОРЬКІЙ.

МАТЬ.

М. Горькій. Мать.

За англійскимъ изданіемъ этой повѣсти, выпущеннымъ фирмой

Appleton and Company,

436 Fifth Avenue, New York,

или ея уполномоченными,

закрѣплены всѣ права оригинала. Оно пользуется защитой законовъ объ авторскихъ правахъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, въ Великобританіи и другихъ странахъ, гдѣ говорятъ по-англійски.

Во избѣжаніе недоразумѣній, гг. переводчиковъ просятъ предварительно обращаться къ указанной фирмѣ, или къ представителю автора внѣ Россіи, Ив. Павл. Ладыжникову, адресъ котораго:

Berlin W. 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

...Каждый день надъ рабочей слободкой въ дымномъ, масляномъ воздухѣ дрожалъ и ревѣлъ фабричный гудокъ и, послушные зову силы пара, изъ маленькихъ сѣрыхъ домовъ суетливо выбѣгали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успѣвшіе освѣжить сномъ свои мускулы. Въ холодномъ сумракѣ они шли по узкой, немощеной улицѣ къ высокимъ каменнымъ клѣткамъ фабрики, а она съ равнодушной увѣренностью ждала ихъ, освѣщая людямъ грязную дорогу десятками своихъ жирныхъ и желтыхъ квадратныхъ глазъ. Грязь чмокала подъ ногами, точно насмѣшливо сожалѣя о чемъ-то. Раздавались хриплыя восклицанія сонныхъ голосовъ, раздражительная ругань злo рвала воздухъ, а встрѣчу людямъ плыли глухіе звуки—тяжелая возня машинъ, недовольное ворчаніе пара. Угрюмо и строго маячили высокія черныя трубы, поднимаясь надъ слободкой, точно толстыя палки.

Вечеромъ, когда садилось солнце и на стеклахъ домовъ устало блестѣли его красные лучи, фабрика выкидывала людей изъ своихъ каменныхъ нѣдръ, словно отработанный шлакъ, и они снова шли по улицамъ, закопченные, съ черными лицами, распространяя въ воздухѣ липкій запахъ машиннаго масла и блестя голодными зубами. Теперь въ ихъ голосахъ звучало оживленіе и даже радость: на сегодня кончилась каторга труда, дома ждалъ ужинъ и отдыхъ.

День былъ проглоченъ фабрикой, машины высосали изъ мускуловъ людей столько силы, сколько имъ было нужно. День былъ безслѣдно вычеркнутъ изъ жизни, человѣкъ незамѣтно сдѣлалъ еще шагъ къ своей могилѣ, но онъ видѣлъ близко передъ собой наслажденіе отдыха, радости дымнаго кабака и—былъ доволенъ.

По праздникамъ спали часовъ до десяти; потомъ люди солидные и женатые одѣвались въ свое лучшее платье и шли слушать обѣдню, попутно ругая молодежь за ея равнодушіе къ церкви. Изъ церкви возвращались домой, ѣли пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы ѣсть, много пили, раздражая безсильный желудокъ острыми ожогами водки.

Вечеромъ лѣниво гуляли по улицамъ, и тотъ, кто имѣлъ галоши, надѣвалъ ихъ, если даже было сухо, а имѣя дождевой зонтикъ, носилъ его съ собой, хотя бы свѣтило солнце. Не каждый имѣетъ галоши и зонтъ, но всякому хочется быть хоть чѣмъ-нибудь значительнѣе другого.

Встрѣчаясь другъ съ другомъ, говорили о фабрикѣ, о машинахъ, ругали мастеровъ,—говорили и думали только о томъ, что было близко и явно связано съ работой Одинокія искры неумѣлой, безсильной мысли едва мерцали въ скучномъ однообразіи дней. Возвращаясь домой, ссорились съ женами и часто били ихъ, не щадя кулаковъ. Молодежь сидѣла въ трактирахъ или устраивала вечеринки другъ у друга, играла на гармоникахъ, пѣла похабныя, некрасивыя пѣсни, танцовала, сквернословила и пила. Истомленные трудомъ, люди пьянѣли быстро, и во всѣхъ грудяхъ пробуждалось непонятное, болѣзненное раздраженіе. Оно требовало выхода. И цѣпко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди изъ-за пустяковъ бросались другъ на друга съ ѣдкимъ озлобленіемъ

звѣрей. Возникали кровавыя драки. Порою онѣ кончались тяжкими увѣчьями, изрѣдка—убійствами.

Въ отношеніяхъ людей всего больше было именно этого чувства подстерегающей злобы, и оно было такое же застарѣлое, какъ и неизлѣчимая усталость мускуловъ. Люди рождались съ этою болѣзнью души, наслѣдуя ее отъ отцовъ, и она черною тѣнью сопровождала ихъ до могилы, побуждая въ теченіе жизни къ ряду поступковъ, отвратительныхъ своей безцѣльной жестокостью.

По праздникамъ молодежь являлась домой поздно почью въ разорванной одеждѣ, въ грязи и пыли, съ разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищамъ ударами, или оскорбленная ими, въ гнѣвѣ или слезахъ обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали ихъ гдѣ-нибудь на улицѣ или въ кабакахъ безчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкія, разжиженныя водкой тѣла дѣтей, потомъ болѣе или менѣе заботливо укладывали ихъ спать, чтобы рано утромъ, когда въ воздухѣ темнымъ ручьемъ потечетъ сердитый ревъ гудка, разбудить ихъ для работы.

Ругали и били дѣтей тяжело, но, въ то же время, пьянство и драки молодежи казались старикамъ вполнѣ законнымъ явленіемъ: когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, ихъ тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова,—она ровно и медленно текла куда-то мутнымъ потокомъ, годы и годы, и вся была связана крѣпкими, давними привычками думать и дѣлать одно и то же изо дня въ день. И, казалось, никто не имѣлъ времени, ни желанія попытаться измѣнить ее.

Изрѣдка въ слободку приходили откуда-то посторонніе люди. Сначала они обращали на себя вниманіе просто тѣмъ, что были чужіе, затѣмъ возбуждали къ себѣ легкій, внѣшній интересъ разсказами о мѣстахъ,

гдѣ они работали, потомъ новизна стиралась съ нихъ, къ нимъ привыкали, и они становились незамѣтными. Изъ ихъ разсказовъ было ясно: жизнь рабочаго вездѣ одинакова. А если это такъ,—о чемъ же разговаривать?

Но иногда нѣкоторые изъ нихъ говорили что-то чужое, неслыханное въ слободкѣ. Съ ними не спорили, но слушали ихъ странныя рѣчи недовѣрчиво. Эти рѣчи у однихъ возбуждали слѣпое раздраженіе, у другихъ смутную тревогу, третьихъ безпокоила легкая тѣнь надежды на что-то неясное и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мѣшающую тревогу.

Замѣтивъ въ чужомъ что-то необычное для нихъ, слобожане долго не могли забыть ему это и относились къ человѣку, непохожему на нихъ, съ безотчетнымъ опасеніемъ. Они точно боялись, что человѣкъ броситъ въ ихъ жизнь что-нибудь такое, что нарушитъ ея унылоправильный ходъ, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила ихъ всегда съ одинаковой силой и, не ожидая никакихъ измѣненій къ лучшему, они считали всѣ измѣненія способными только увеличить гнетъ.

И отъ людей, которые говорили необычно, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрикѣ, жили въ сторонѣ, если не умѣли слиться въ цѣлое съ однообразной массой слобожанъ...

Поживъ такой жизнью лѣтъ пятьдесятъ, человѣкъ умиралъ.

II.

Такъ жилъ и слесарь Михаилъ Власовъ, человѣкъ угрюмый, съ маленькими глазами, которые смотрѣли на все изъ-подъ густыхъ бровей подозрительно, съ недовѣрчивой и нехорошей усмѣшкой. Онъ былъ лучшимъ слесаремъ на фабрикѣ и первымъ силачомъ въ

слободкѣ. Но онъ держался съ начальствомъ грубо и поэтому зарабатывалъ мало; каждый праздникъ онъ кого-нибудь избивалъ, и всѣ его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить и не однажды, но безуспѣшно. Когда Власовъ видѣлъ, что на него идутъ люди, онъ хваталъ въ руки камень, доску, кусокъ желѣза и, широко разставивъ ноги, молча ожидалъ враговъ. Лицо его, заросшее отъ глазъ до шеи черной бородой, и волосатыя руки, густо покрытыя шерстью, внушали всѣмъ страхъ. Особенно боялись его глазъ, — маленькіе и острые, они сверлили людей точно стальные буравчики, и каждый, кто встрѣчался съ ихъ взглядомъ, чувствовалъ передъ собой звѣря, дикую силу, недоступную страху, готовую бить безпощадно.

— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорилъ онъ. Сквозь густые волосы на его лицѣ страшно сверкали крупные, желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью

— Сволочь!—кратко говорилъ онъ вслѣдъ имъ, и глаза его блестѣли острой, какъ шило, усмѣшкой. Потомъ, держа голову вызывающе прямо, съ короткой и толстой трубкой въ зубахъ, онъ шелъ слѣдомъ за ними и порою вызывалъ:

— Ну, кто смерти хочетъ?

Никто не хотѣлъ.

Говорилъ онъ мало, и „сволочь“—было его любимое слово. Имъ онъ называлъ начальство фабрики и полицію, съ нимъ онъ обращался къ женѣ.

— Ты, сволочь, не видишь—штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лѣтъ, Власову захотѣлось оттаскать его за волосы еще разъ. Но Павелъ взялъ въ руки тяжелый молотокъ и кратко сказалъ:

— Не тронь...

— Чего?—спросилъ отецъ, надвигаясь на высокую и тонкую фигуру сына, какъ тѣнь на березу.

— Будетъ!—сказалъ Павелъ.—Больше я не дамся...

И широко раскрывъ глаза, онъ взмахнулъ молоткомъ.

Отецъ посмотрѣлъ на него, спряталъ за спину свои мохнатыя руки и, усмѣхаясь, проговорилъ:

— Ладно...

Потомъ тяжело вздохнулъ и добавилъ:

— Эхъ ты, сволочь...

Вскорѣ послѣ этого онъ сказалъ женѣ:

— Денегъ съ меня больше не спрашивай... тебя и Пашка прокормитъ...

— А ты все пропивать будешь? — осмѣлилась она спросить его.

Онъ, ударивъ кулакомъ по столу, заявилъ:

— Не твое дѣло... сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы онъ не завелъ, но съ того времени почти два года, вплоть до смерти своей, не замѣчалъ сына и не говорилъ съ нимъ.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, какъ самъ онъ. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечеръ ждала его у воротъ. По праздникамъ Власовъ отправлялся ходить по кабакамъ. Ходилъ онъ молча и, точно желая найти кого-то, царапалъ своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за нимъ, опустивъ большой, пышный хвостъ. Возвращаясь домой пьяный, онъ садился ужинать и кормилъ собаку изъ своей чашки. Онъ ее не билъ, не ругалъ и не ласкалъ никогда. Послѣ ужина онъ сбрасывалъ посуду со стола на полъ, если жена не успѣвала во-время убрать ее, ставилъ передъ собой бутылку водки и, опираясь спиной о стѣну, глухимъ голосомъ, наводившимъ тоску, вылъ пѣсню, широко открывая ротъ и закрывъ глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались въ его усахъ, сбивая съ нихъ хлѣбныя крошки, слесарь расправлялъ волосы бороды и усовъ толстыми пальцами и—пѣлъ. Слова пѣсни были какія-то непо-

нятныя, растянутыя, мелодія напоминала о зимнемъ воѣ волковъ. Пѣлъ онъ до поры, пока въ бутылкѣ была водка, а потомъ валился бокомъ на лавку или опускалъ голову на столъ и такъ спалъ до гудка. Собака лежала рядомъ съ нимъ.

Умеръ онъ отъ грыжи и умиралъ долго. Дней пять, весь почернѣвшій, онъ ворочался на постели, плотно закрывъ глаза, и скрипѣлъ зубами. Иногда говорилъ женѣ:

— Дай мышьяку... отрави...

Она приводила доктора; онъ велѣлъ поставить Михаилу припарки, но сказалъ, что необходима операція и больного нужно сегодня же везти въ больницу.

— Пошелъ къ чорту... я самъ умру... сволочь!—сказалъ Михаилъ.

А когда докторъ ушелъ и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцію, онъ сжалъ кулакъ и, погрозивъ ей, заявилъ:

— Не смѣй... выздоровлю—тебѣ хуже будетъ!

Онъ умеръ утромъ, въ тѣ минуты, когда гудокъ звалъ на работу. Въ гробу лежалъ съ открытымъ ртомъ, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сынъ, собака, старый пьяница и воръ Данило Вѣсовщиковъ, прогнанный съ фабрики, и нѣсколько слободскихъ нищихъ. Жена плакала тихо и немного, Павелъ не плакалъ. Слобожане, встрѣчая на улицѣ гробъ, останавливались и крестясь говорили другъ другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что померъ онъ...

Нѣкоторые поправляли:

— Не померъ, а—издохъ...

Когда гробъ зарыли,—люди ушли, а собака осталась и, сидя на свѣжей землѣ, долго и молча нюхала могилу. Черезъ нѣсколько дней кто-то убилъ ее...

III.

Спустя недѣли двѣ послѣ смерти отца, въ воскресенье, Павелъ Власовъ пришелъ домой сильно пьяный. Качаясь, онъ пролѣзъ въ передній уголъ и, ударивъ кулакомъ по столу, какъ это дѣлалъ отецъ,—крикнулъ матери:

— Ужинать!..

Мать подошла къ нему, сѣла рядомъ и обняла сына, притягивая голову его къ себѣ на грудь. Онъ, упираясь рукой въ плечо ей, сопротивлялся и кричалъ:

— Мамаша... живо!..

— Дурачекъ ты!—печально и ласково сказала мать, одолѣвая его сопротивленіе.

— И я—курить буду... дай мнѣ отцову трубку...—тяжело двигая непослушнымъ языкомъ, бормоталъ Павелъ.

Онъ напился впервые. Водка ослабила его тѣло, но не погасила сознанія, и въ головѣ стучалъ вопросъ:

— Пьянъ?.. Пьянъ?..

Его смущали ласки матери и трогала печаль въ ея глазахъ. Хотѣлось плакать и, чтобы подавить это желаніе, онъ старался притвориться болѣе пьянымъ, чѣмъ былъ.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебѣ...

Его начало тошнить. Послѣ бурнаго припадка рвоты мать уложила его въ постель, накрывъ блѣдный лобъ мокрымъ полотенцемъ. Онъ немного отрезвѣлъ, но все подъ нимъ и вокругъ него волнообразно качалось, у него отяжелѣли вѣки и, ощущая во рту скверный горькій вкусъ, онъ смотрѣлъ сквозь рѣсницы на большое лицо матери и безсвязно думалъ:

— Видно рано еще мнѣ... другіе пьютъ и—ничего... а меня тошнитъ...

Откуда-то издали доносился мягкій голосъ матери:

— Какимъ кормильцемъ ты будешь мнѣ, если пить начнешь...

Плотно закрывъ глаза, онъ сказалъ:

— Всѣ пьютъ...

Мать тяжело вздохнула. Онъ былъ правъ. Она сама знала, что, кромѣ кабака, людямъ негдѣ почерпнуть радости, кромѣ водки, нѣтъ у нихъ наслажденія. Но все-таки сказала:

— А ты—не пей! За тебя, сколько надо, отецъ выпилъ... И меня онъ намучилъ довольно... такъ ужъ ты бы пожалѣлъ мать, а?

Слушая печальныя, мягкія слова, Павелъ вспоминалъ, что при жизни отца мать была незамѣтна въ домѣ, молчалива и всегда жила въ тревожномъ ожиданіи побоевъ. Избѣгая встрѣчъ съ отцомъ, онъ мало бывалъ дома послѣднее время, отвыкъ отъ матери и теперь, постепенно трезвѣя, пристально смотрѣлъ на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ея грузное тѣло, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось безшумно и какъ-то бокомъ, точно она всегда боялась задѣть за что-то. Широкое, овальное лицо, изрѣзанное морщинами и одутловатое, освѣщалось темными глазами, тревожно-грустными, какъ у большинства женщинъ въ слободкѣ. Надъ правой бровью былъ глубокій шрамъ, онъ немного поднималъ бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нея выше, и это придавало ея лицу такое выраженіе, какъ будто она всегда пугливо прислушивалась... Въ густыхъ, темныхъ волосахъ блестѣли сѣдыя пряди, точно знаки тяжелыхъ ударовъ... Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекамъ ея медленно текли слезы.

— Подожди, не плачь!—тихо попросилъ сынъ.—Дай мнѣ испить.

— Я тебѣ со льдомъ принесу воды...

Но когда она воротилась, онъ уже заснулъ. Она по-

стояла надъ нимъ съ минуту, стараясь дышать не громко, ковшъ въ ея рукѣ дрожалъ, и ледъ тихо бился о жесть. Потомъ, поставивъ ковшъ на столъ, она опустилась на колѣни передъ образами и молча начала молиться. Въ стекла оконъ бились звуки темной, пьяной жизни. Во тьмѣ и сырости осенняго вечера визжала гармоника, кто-то громко пѣлъ пѣсню, кто-то ругался скверными, гнилыми словами, и тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщинъ...

Жизнь въ маленькомъ домѣ Власовыхъ потекла однообразно, но болѣе тихо и спокойно, чѣмъ прежде, и нѣсколько иначе, чѣмъ вездѣ въ слободѣ. Домъ ихъ стоялъ на краю слободы, у невысокаго, но крутого спуска къ болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная отъ нея тонкой, не доходящей до потолка переборкой маленькая комнатка, въ которой спала мать. А остальныя двѣ трети представляли собой квадратную комнату съ двумя окнами; въ одномъ углу ея стояла кровать Павла, въ переднемъ—столъ и двѣ лавки. Нѣсколько стульевъ, комодъ для бѣлья, на немъ маленькое зеркало, сундукъ съ платьемъ, часы на стѣнѣ и двѣ иконы въ углу—вотъ и все.

Павелъ старался жить, какъ всѣ. Онъ сдѣлалъ все, что надо молодому парню: купилъ себѣ гармонику, рубашку съ накрахмаленной грудью, яркій галстукъ, галоши, трость и внѣшне сталъ такой же, какъ всѣ подростки его лѣтъ. Ходилъ на вечеринки, выучился танцовать кадриль и польку, по праздникамъ возвращался домой выпивши и всегда сильно страдалъ отъ водки. На утро болѣла голова, мучила изжога, лицо было блѣдное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну, что, весело тебѣ было вчера?

Онъ отвѣтилъ съ угрюмымъ раздраженіемъ:

— Тоска зеленая!.. Всѣ какъ машины... Я лучше удить рыбу буду... или—куплю себѣ ружье.

Работалъ онъ усердно, безъ прогуловъ и штрафовъ, былъ молчаливъ и голубые, большіе глаза его смотрѣли недовольно... Онъ не купилъ себѣ ружья и не сталъ удить рыбу, но замѣтно началъ уклоняться съ торной дороги для всѣхъ: все рѣже посѣщалъ вечеринки и хотя по праздникамъ куда-то уходилъ, но возвращался трезвый. Мать зорко слѣдила за нимъ и видѣла, что смуглое лицо сына становится все острѣе, глаза смотрятъ все болѣе серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, онъ всегда молча сердится на что-то, или его сосетъ болѣзнь. Раньше къ нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было пріятно видѣть, что сынъ ея становится непохожимъ на фабричную молодежь, но, когда она замѣтила, что онъ сосредоточенно и упрямо выплываетъ куда-то всторону изъ темнаго потока однотонной жизни, это вызвало въ душѣ ея чувство смутнаго опасенія.

Онъ началъ приносить съ собой книги и сначала старался читать ихъ незамѣтно, а прочитавъ, куда-то пряталъ. Иногда онъ выписывалъ изъ книжекъ что-то на отдѣльную бумажку и тоже пряталъ ее...

— Ты, можетъ, нездоровъ, Павлуша?—спрашивала она его иногда.

— Нѣтъ, я здоровъ!—отвѣчалъ онъ.

— Худой ты очень!—вздохнувъ говорила мать.

Онъ молчалъ.

Говорили они мало и мало видѣли другъ друга. Утромъ онъ молча пилъ чай и уходилъ на работу, въ полдень являлся обѣдать, за столомъ перекидывались незначительными словами, и снова онъ исчезалъ вплоть до вечера. А вечеромъ, кончивъ день, онъ тщательно умывался, ужиналъ и послѣ долго читалъ свои книги. По праздникамъ онъ уходилъ съ утра, а возвращался поздно ночью. Она знала, что онъ ходитъ въ городъ, бываетъ тамъ въ театрѣ, но къ нему изъ города никто

не являлся. Ей казалось, что съ теченіемъ времени сынъ говорилъ все меньше и, въ то же время, она замѣчала, что порою, и все чаще, онъ употребляетъ какія-то новыя слова, непонятныя ей, а привычныя для нея, грубыя и рѣзкія выраженія—выпадаютъ изъ его рѣчи. Въ поведеніи его явилось много мелочей, обращавшихъ на себя вниманіе: онъ бросилъ щегольство, сталъ больше заботиться о чистотѣ тѣла и платья, двигался свободнѣе, ловчѣе и, становясь наружно проще, мягче, возбуждалъ у матери тревожное вниманіе къ себѣ. И въ его отношеніи къ матери было что-то новое: онъ иногда подметалъ полъ въ комнатѣ, самъ убиралъ по праздникамъ свою постель и вообще, всегда молча, незамѣтно, старался облегчить ея трудъ. Никто не дѣлалъ этого въ слободѣ...

Однажды онъ принесъ и повѣсилъ на стѣнѣ картину: трое людей разговаривая шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресшій Христосъ идетъ въ Эммаусъ! — объяснилъ ей Павелъ.

Матери понравилась картина, но она подумала:

— Христа почитаешь, а въ церковь не ходишь...

Потомъ на стѣнахъ явилось еще нѣсколько картинъ, и все больше становилось книгъ на полкѣ, красиво сдѣланной Павлу товарищемъ-столяромъ. Комната приняла пріятный видъ.

Онъ говорилъ ей вы и называлъ ее „мамаша“, но иногда, вдругъ, обращался къ ней съ короткими словами:

— Ты, мать, пожалуйста, не безпокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, въ такихъ словахъ она чувствовала что-то серьезное и крѣпкое.

Но все росла ея тревога. Не становясь отъ времени яснѣе, она все болѣе остро щекотала сердце предчувствіемъ чего-то необычнаго. Порою у матери являлось легкое недовольство сыномъ, и она думала:

— Всѣ люди какъ люди, а онъ—какъ монахъ... Ужъ очень строгъ... не по годамъ это...

Иногда она думала:

— Можетъ, онъ тамъ дѣвицу себѣ завелъ какую-нибудь?

Но возня съ дѣвицами требуетъ денегъ, а онъ отдавалъ ей свой заработокъ почти весь.

Такъ шли недѣли, мѣсяцы, прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутныхъ думъ и опасеній, все возраставшихъ.

IV.

Однажды послѣ ужина Павелъ опустилъ занавѣску на окнѣ, сѣлъ въ уголъ и сталъ читать, повѣсивъ на стѣнку надъ своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя изъ кухни, осторожно подошла къ нему. Онъ поднялъ голову и вопросительно взглянулъ ей въ лицо.

— Ничего, Паша, это я такъ!..—поспѣшно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постоявъ среди кухни съ минуту неподвижно, задумчивая и озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла къ сыну.

— Хочу я спросить тебя,—тихонько сказала она,—что ты все читаешь?

Онъ сложилъ книжку.

— Ты сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядомъ съ нимъ и выпрямилась, насторожилась, жутко ожидая чего-то важнаго.

Не глядя на нее, негромко, и почему-то очень сурово, Павелъ заговорилъ:

— Я читаю запрещенныя книги. Ихъ запрещаютъ читать потому, что онѣ говорятъ правду о нашей, о рабочей жизни... Онѣ печатаются тихонько, тайно, и

если ихъ у меня найдутъ, меня посадятъ въ тюрьму... въ тюрьму, за то, что я хочу знать правду... Поняла?

Ей вдругъ стало трудно дышать. Широко открывъ глаза, она смотрѣла на сына, онъ казался ей новымъ, чуждымъ. У него былъ другой голосъ—ниже, гуще и звучнѣе. Онъ щипалъ пальцами тонкіе, пушистые усы и странно, исподлобья смотрѣлъ куда-то въ уголъ. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачѣмъ же ты это, Паша?—проговорила она.

Онъ поднялъ голову, взглянулъ на нее и негромко, спокойно отвѣтилъ:

— Хочу знать правду.

Голосъ его звучалъ тихо, но твердо, глаза блестѣли упрямо. Она сердцемъ поняла, что сынъ ея обрекъ себя чему-то тайному и страшному. Всегда и все въ жизни казалось ей неизбѣжнымъ, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя словъ въ сердцѣ, сжатомъ горемъ и тоской.

— Не плачь!—говорилъ Павелъ ласково и тихо, а ей казалось, что онъ прощается.

— Подумай, какою жизнью мы живемъ? Вотъ тебѣ сорокъ лѣтъ, — а развѣ ты жила? Отецъ тебя билъ... я теперь понимаю, что онъ на твоихъ бокахъ вымещалъ свое горе... горе своей жизни... оно давило его, а онъ не понималъ, откуда оно. Онъ работалъ тридцать лѣтъ, началъ работать, когда вся фабрика помѣщалась въ двухъ корпусахъ, а теперь вотъ ихъ—семь!.. Фабрики ростутъ, а люди умираютъ въ работѣ на нихъ...

Она слушала его со страхомъ и жадностью. Глаза у него горѣли красиво и свѣтло; опираясь грудью на столъ, онъ подвинулся ближе къ матери и говорилъ ей прямо въ лицо, мокрое отъ слезъ, свою первую рѣчь о правдѣ, понятой имъ. Со всею силой юности и жаромъ ученика, гордаго своими знаніями, свято вѣрующаго въ ихъ истину, онъ говорилъ о томъ, что было ясно для него, и говорилъ не столько для матери,

сколько провѣряя самого себя. Порою онъ останавливался, не находя словъ, и тогда видѣлъ передъ собой огорченное лицо, на которомъ тускло блестѣли, затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрѣли со страхомъ, съ недоумѣніемъ. Ему было жалко мать, онъ начиналъ говорить снова, но уже о ней, о ея жизни.

— Какія радости ты знала? — спрашивалъ онъ. — Чѣмъ ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, невѣдомое ей, скорбное и радостное, и оно мягко ласкало ея наболѣвшее сердце. Такія рѣчи о себѣ, о своей жизни, она слышала впервые, и онѣ будили въ ней давно уснувшія, неясныя думы, тихо раздували угасшія чувства смутнаго недовольства жизнью,—думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни съ подругами, говорила подолгу, обо всемъ, но всѣ, и она сама, только жаловались, никто не объяснялъ — почему жизнь такъ тяжела и трудна... А вотъ теперь передъ нею сидитъ ея сынъ, и то, что говоритъ о ней его глаза, лицо, слова, все это задѣваетъ за сердце, наполняя его чувствомъ гордости за сына, который вѣрно понялъ жизнь своей матери, правду говоритъ ей о ея страданіяхъ, жалѣетъ ее.

Матерей—не жалѣютъ.

Она это знала. Она не понимала того, что Павелъ говоритъ не о ней, но все, что говорилъ онъ о ея женской жизни, была горькая, знакомая правда. Поэтому ей казалось, что каждое слово его полно правды, и въ груди у нея тихо трепеталъ клубокъ ощущеній, все болѣе согрѣвавшій ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь дѣлать?—спросила она, перебивая его рѣчь.

— Учиться, а потомъ—учить другихъ. Намъ, рабочимъ, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять, отчего жизнь такъ тяжела для насъ.

Ей было сладко видѣть, что его голубые глаза,

всегда серьезные и строгіе, теперь горѣли такъ мягко и освѣщали въ немъ что-то рѣдкое для нея. На ея губахъ играла довольная, тихая улыбка, хотя въ морщинахъ щекъ еще дрожали слезы. Въ ней колебалось двойственное чувство гордости сыномъ, который хочетъ всѣмъ людямъ добра, жалѣетъ всѣхъ, видитъ горе жизни, и въ то же время она не могла забыть о его молодости и о томъ, что онъ говоритъ не такъ, какъ всѣ, что онъ одинъ рѣшилъ вступить въ споръ съ этой привычной для всѣхъ и для нея жизнью... Ей хотѣлось сказать ему:

— Милый, что ты можешь сдѣлать? Сомнутъ тебя... пропадешь!

Но ей было пріятно слушать его рѣчи и она боялась помѣшать себѣ любоваться сыномъ, который вдругъ открылся передъ нею такимъ новымъ, умнымъ... И немного чужимъ для нея.

Павелъ видѣлъ улыбку на губахъ матери, вниманіе на лицѣ, любовь въ ея глазахъ, ему казалось, что онъ заставилъ ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его вѣру въ себя. Охваченный возбужденіемъ, онъ все говорилъ, то усмѣхаясь, то хмуря брови, порою въ его словахъ звучала ненависть, и когда мать слышала ея звенящія, жесткія слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Такъ ли, Паша?

— Такъ!—отвѣчалъ онъ твердо и крѣпко. И разсказывалъ ей о людяхъ, которые, желая добра народу, сѣяли въ немъ правду, а за это враги жизни ловили ихъ, какъ звѣрей, сажали въ тюрьмы, посылали на каторгу...

— Я такихъ людей видѣлъ!—горячо воскликнулъ онъ.—Это лучшіе люди на землѣ!

Въ ней эти люди возбуждали страхъ, и она хотѣла спросить сына:

— Такъ ли, Паша?

Но не рѣшалась и, замирая, слушала разсказы о людяхъ, непонятныхъ ей, научившихъ ея сына говорить и думать столь опасно для него. Наконецъ, она сказала ему:

— Скоро свѣтать будетъ... легъ бы ты, уснулъ!.. Вѣдь на работу идти...

— Да, я сейчасъ лягу!—согласился онъ. И, наклонясь къ ней, спросилъ:

— Поняла ты меня?

— Поняла!—вздохнувъ отвѣтила она. Изъ глазъ ея снова покатились слезы, и, всхлипнувъ, она добавила:

— Пропадешь ты!

Онъ всталъ, прошелся по комнатѣ, потомъ сказалъ:

— Ну, вотъ, ты теперь знаешь, что я дѣлаю, куда хожу... я тебѣ все сказалъ! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь,—не мѣшай мнѣ!..

— Голубчикъ ты мой!—воскликнула она.—Можетъ, лучше бы для меня не знать ничего!

Онъ взялъ ея руку и крѣпко стиснулъ въ своихъ. Ее потрясло слово „мать“, сказанное имъ съ горячей силой, и это пожатіе руки, новое и странное.

— Ничего я не буду дѣлать!—прерывающимся голосомъ сказала она.—Только береги ты себя... береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худѣешь ты все...

И обнявъ его крѣпкое, стройное тѣло ласкающимъ теплымъ взглядомъ, заговорила торопливо и тихо:

— Богъ съ тобой! Живи, какъ хочешь, не буду я тебѣ мѣшать. Только объ одномъ прошу: не говори съ людьми безъ страха! Опасаться надо людей: ненавидятъ всѣ другъ друга! Живутъ жадностью, живутъ завистью. Всѣ рады зло сдѣлать... Какъ начнешь ты ихъ обличать, да судить,—возненавидятъ они тебя, погубятъ!

Сынъ стоялъ въ дверяхъ, слушая тоскливую рѣчь, а когда мать кончила, онъ улыбаясь сказалъ:

— Люди плохи, да... Но когда я узналъ, что на свѣтѣ есть правда,—люди стали лучше!..

Онъ снова улыбнулся и продолжалъ:

— Самъ не понимаю, какъ это вышло! Съ дѣтства всѣхъ боялся... сталъ подростать,—началъ ненавидѣть... которыхъ за подлость, которыхъ—и не знаю за что... такъ, просто! А теперь всѣ для меня по другому встали... жалко всѣхъ, что ли? Не могу понять... но сердце стало мягче, когда узналъ, что есть въ людяхъ правда... и не всѣ виноваты въ грязи своей...

Онъ замолчалъ, точно прислушиваясь къ чему-то въ самомъ себѣ, потомъ негромко и вдумчиво сказалъ:

— Вотъ какъ дышетъ правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты перемѣнился, о, Господи!

Когда онъ легъ и уснулъ, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла къ нему. Павелъ лежалъ кверху грудью, и на бѣлой подушкѣ четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижавъ руки къ груди, мать, босая и въ одной рубашкѣ, стояла у его постели, губы ея беззвучно двигались, а изъ глазъ медленно и ровно, одна за другой, текли большія, мутныя слезы...

И снова они стали жить молча, далекіе и близкіе другъ другу.

V.

Какъ-то разъ среди недѣли, въ праздникъ, Павелъ, уходя изъ дома, сказалъ матери:

— Въ субботу у меня соберутся люди...

— Какіе люди?—спросила она.

— Нѣкоторые здѣшніе... другіе изъ города.

— Изъ города?...—повторила мать, качая головой, и вдругъ всхлипнула.

— Ну, зачѣмъ, мамаша?—недовольно воскликнулъ Павелъ.—О чемъ?

Она, утирая лицо фартукомъ, тихо отвѣтила:

— Не знаю... такъ ужъ...

Онъ прошелся по комнатѣ и, остановясь передъ ней, спросилъ:

— Боишься?

— Боюсь!..—созналась она.—Эти, изъ города... кто ихъ знаетъ?

Онъ наклонился къ ея лицу и сердито, точно его отецъ, проговорилъ:

— Отъ этого страха всѣ мы и пропадаемъ! А которые командуютъ нами — они пользуются страхомъ и еще больше запугиваютъ насъ. Пойми ты: будутъ люди бояться,—будутъ гнить, вонъ какъ березы на болотѣ... Надо осмѣлѣть, пора!

Онъ отошелъ въ уголъ и оттуда сказалъ:

— Все равно... собираться у меня будутъ!

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Какъ мнѣ не бояться? Всю жизнь въ страхѣ жила... вся душа обросла имъ!

Негромко и мягче онъ сказалъ:

— Ты прости меня... иначе мнѣ нельзя!

И ушелъ.

Три дня у нея дрожало сердце, замирая каждый разъ, какъ она вспоминала, что, вотъ, въ домъ придутъ чужіе люди. Она не могла себѣ представить ихъ, но ей казалось, что они—страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой онъ идетъ...

Въ субботу вечеромъ Павелъ пришелъ съ фабрики, умылся, переодѣлся и, снова уходя куда-то, сказалъ, не глядя на мать:

— Придутъ,—скажи, что я сейчасъ ворочусь... Пусть подождутъ. И, пожалуйста, не бойся... Люди, какъ люди.

Она безсильно опустилась на лавку. Сынъ хмуро взглянулъ на нее и предложилъ:

— Можетъ быть, ты... уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидѣло. Отрицательно качнувъ головой, она сказала:

— Нѣтъ... все равно! Зачѣмъ же?

Былъ конецъ ноября. Днемъ на мерзлую землю выпалъ сухой, мелкій снѣгъ, и теперь было слышно, какъ онъ скрипитъ подъ ногами уходившаго сына. Къ стекламъ окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками въ лавку, сидѣла и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьмѣ со всѣхъ сторонъ къ дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонамъ, чужіе люди, странно одѣтые, молчаливые. Вотъ кто-то уже ходитъ вокругъ дома, шаритъ руками по стѣнѣ.

Сталъ слышенъ свистъ. Онъ извивался въ тишинѣ тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плуталъ въ пустынѣ тьмы, искалъ чего-то и приближался... И вдругъ исчезъ подъ окномъ, точно воткнувшись въ дерево стѣны.

Въ сѣняхъ зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно поднявъ брови, встала.

Дверь отворили. Сначала въ комнату всунулась голова въ большой, мохнатой шапкѣ, потомъ, согнувшись, медленно пролѣзло длинное тѣло, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнувъ, густымъ, грудным голосомъ сказало:

— Добрый вечеръ!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома еще нѣту?

Человѣкъ медленно снялъ короткую мѣховую куртку, поднялъ одну ногу, смахнулъ шапкой снѣгъ съ сапога, потомъ то же сдѣлалъ съ другой ногой, бросилъ шапку въ уголъ и, качаясь на длинныхъ ногахъ, пошелъ въ комнату. Подошелъ къ стулу, осмотрѣлъ его, какъ бы убѣждаясь въ его прочности, наконецъ, сѣлъ и, при-

крывъ ротъ рукой, зѣвнулъ. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритыя щеки и длинные усы, концами внизъ. Внимательно осмотрѣвъ комнату большими, выпуклыми глазами, сѣраго цвѣта, онъ положилъ ногу на ногу и, качаясь на стулѣ, спросилъ:

— Что жъ это ваша хата, или—нанимаете?

Мать, сидя противъ него, отвѣтила:

— Нанимаемъ...

— Неважная хата!—замѣтилъ онъ.

— Паша скоро придетъ, вы подождите!—тихо попросила мать.

— Да я уже и жду!—спокойно сказалъ длинный человѣкъ.

Его спокойствіе, глубокій, пѣвучій голосъ и простота лица ободряли мать. Онъ смотрѣлъ на нее открыто, доброжелательно, въ глубинѣ его прозрачныхъ глазъ играла веселая искра, а во всей фигурѣ, угловатой, сутулой, съ длинными ногами, было что-то забавное и располагающее къ нему. Одѣтъ онъ былъ въ синюю рубашку и черные шаровары, сунутые въ сапоги. Ей захотѣлось спросить его, кто онъ, откуда, давно ли знаетъ ея сына, но вдругъ онъ весь покачнулся и самъ спросилъ ее:

— Кто жъ это лобъ пробилъ вамъ, ненько?

Спросилъ онъ ласково, съ ясной улыбкой въ глазахъ, но женщину обидѣлъ этотъ вопросъ. Она плотно поджала губы и, помолчавъ, холодно-вѣжливо освѣдомилась:

— А вамъ какое дѣло до этого, батюшка мой?

Онъ мотнулся къ ней всѣмъ тѣломъ и заговорилъ:

— Да вы не серчайте, чего же! Я потому спросилъ, что у матери моей пріемной тоже голова была пробита, совсѣмъ вотъ такъ, какъ ваша. Ей, видите, сожитель пробилъ, сапожникъ, колодкой—разъ! Она была прачка, а онъ сапожникъ. Она уже послѣ того, какъ приняла меня за сына, нашла его гдѣ-то, пьяницу, на свое ве-

ликое горе... Билъ онъ ее, скажу вамъ! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павелъ разсердится на нее за неласковый отвѣтъ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала:

— Я не разсердилась, а ужъ очень вы сразу... спросили. Муженекъ это угостилъ меня... царство ему небесное! Вы не татаринъ будете?

Человѣкъ дрыгнулъ ногами и такъ широко улыбнулся, что у него уши подвинулись къ затылку. Потомъ онъ серьезно сказалъ:

— Нѣтъ еще... не татаринъ!

— Говоръ у васъ какъ будто не русскій!—объяснила мать улыбаясь, понявъ его шутку.

— Онъ лучше русскаго!—весело кивнувъ головой сказалъ гость.—Я хохолъ, изъ города Канева.

— А давно здѣсь?

— Въ городѣ жилъ около года... а теперь перешелъ къ вамъ на фабрику, мѣсяцъ тому назадъ. Здѣсь людей хорошихъ нашелъ: сына вашего и другихъ... немного! Здѣсь поживу!—говорилъ онъ, дергая усы.

Онъ ей нравился, и, повинуясь желанію заплатить ему чѣмъ-нибудь за его слова о сынѣ, она предложила:

— Можетъ, чайку выпьете?

— Что же я одинъ угощаться буду?—отвѣтилъ онъ, поднявъ плечи.—Вотъ уже когда всѣ соберутся, вы и почевствуйте...

Онъ напомнилъ ей объ ея страхѣ.

— Кабы всѣ они такіе были!—горячо пожелала она.

Снова раздались шаги въ сѣняхъ, дверь торопливо отворилась, мать снова встала. Но, къ ея удивленію, въ кухню вошла бѣдно и легко одѣтая дѣвушка, небольшого роста, съ простымъ лицомъ крестьянки и толстой косой свѣтлыхъ волосъ. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нѣтъ же!—отвѣтилъ хохолъ, выглядывая изъ комнаты.—Пѣшкомъ?

— Конечно! Вы—мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовутъ—Наташа...

— А по батюшкѣ?—спросила мать.

— Васильевна... А васъ?

— Пелагея Ниловна.

— Ну, вотъ, мы и знакомы...

— Да!—сказала мать, легко вздохнувъ и съ улыбкой разсматривая дѣвушку.

Хохолъ помогалъ ей раздѣваться и спрашивалъ:

— Холодно?

— Въ полѣ—очень! Вѣтеръ...

Голосъ у нея былъ сочный, ясный, ротъ маленькій, пухлый и вся она была круглая, свѣжая. Раздѣвшись, она крѣпко потерла румяныя щеки маленькими, красными отъ холода руками и, мелко, быстро шагая, прошла въ комнату, звучно топая по полу каблуками ботинокъ.

— Безъ галошъ ходитъ!—мелькнуло въ головѣ матери.

— Да-а...—протянула дѣвушка. — Иззябла я... ухъ, какъ!

— А вотъ я вамъ сейчасъ самоварчикъ согрѣю!—заторопилась мать, уходя въ кухню.—Сейчасъ...

Ей почему-то казалось, что она давно знаетъ эту дѣвушку и любитъ ее хорошей, жалостливой любовью матери. Она была рада видѣть ее и, представляя себѣ синіе, немного прищуренные глаза гостьи, довольно улыбалась, прислушиваясь къ разговору въ комнатѣ.

— Вы что скучный, Находка?—спрашивала дѣвушка.

— А такъ...—негромко отвѣтилъ хохолъ.—У вдовы глаза хороши... мнѣ и подумалось, что, можетъ, у матери моей такіе же? Я, знаете, о матери часто думаю... и все мнѣ кажется, что она жива.

— Вы говорили, умерла?

— То—пріемная умерла... А я—о родной... Кажется мнѣ, что она гдѣ-нибудь въ Кіевѣ милостыню собираетъ... И водку пьетъ...

— Почему?

— Да ужъ такъ! И пьяную ее полицейскіе по щекамъ бьютъ...

— Ахъ ты, сердечный!—подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голосъ хохла.

— Э, вы еще молоды, товарищъ... мало вы луку ѣли! У каждаго есть мать, а люди—злы. Родить—трудно, научить человѣка добру еще труднѣе...

— Ишь ты!—внутренно воскликнула мать и ей почему-то захотѣлось возразить хохлу, сказать ему, что вотъ она и рада была бы сына своего научить добру, да сама ничего не знаетъ. Но дверь неторопливо отворилась и вошелъ Николай Вѣсовщиковъ, сынъ стараго вора Данилы, извѣстный всей слободѣ нелюдимъ. Онъ всегда угрюмо сторонился отъ людей, а всѣ надъ нимъ издѣвались за это. Она удивленно спросила его:

— Ты... что, Николай?

Онъ посмотрѣлъ на мать маленькими сѣрыми глазами, вытеръ широкой ладонью рябое, скуластое лицо и не здороваясь глухо спросилъ:

— Павелъ дома?

— Нѣтъ.

Онъ заглянулъ въ комнату и прошелъ туда говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

— Неужто и онъ?—непріязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягиваетъ ему руку ласково и радостно.

Потомъ пришли двое молодыхъ парней, почти еще мальчики. Одного изъ нихъ мать знала. это былъ племянникъ стараго фабричнаго рабочаго Сизова - Федоръ, остролицый, съ высокимъ лбомъ и курчавыми волосами Другой гладко причесанный и скромный былъ

незнакомъ ей, но тоже не страшенъ. Наконецъ, явился Павелъ и съ нимъ два молодыхъ человѣка, она знала обоихъ въ лицо, это были фабричные. Сынъ ласково сказалъ ей:

— Самоваръ поставила? Вотъ спасибо!

— Можетъ, водочки купить?—предложила она, не зная, какъ выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.

— Нѣтъ, это лишнее!—отозвался Павелъ, раздѣваясь, и дружелюбно улыбнулся ей.

Ей вдругъ показалось, что сынъ нарочно преувеличилъ опасность собранія, чтобы подшутить надъ ней.

— Вотъ это и есть—запрещенные люди?—тихонько спросила она.

— Эти самые!—отвѣтилъ Павелъ, проходя въ комнату.

— Эхъ ты!..—проводила она его ласковымъ восклицаніемъ, а про себя снисходительно подумала:

— Дитя еще!

Когда самоваръ вскипѣлъ и она внесла его въ комнату, гости сидѣли тѣснымъ кружкомъ у стола, а Наташа съ книжкой въ рукахъ помѣстилась въ углу подъ лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живутъ такъ плохо...—говорила Наташа.

— И отчего они сами такъ плохи...—вставилъ хохолъ.

— Нужно посмотрѣть, какъ они начали жить...

— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Всѣ замолчали.

— Вы что, мамаша?—спросилъ Павелъ, хмуря брови.

— Я?—она оглянулась и видя, что всѣ смотрятъ на нее, смущенно объяснила:

— Я такъ, про себя... поглядите, молъ!

Наташа засмѣялась, и Павелъ усмѣхнулся, а хохолъ сказалъ:

— Спасибо вамъ, ненько... за чай!

— Не пили, а ужъ благодарите!—отозвалась она и, взглянувъ на сына, спросила:

— Я вѣдь не помѣшаю?

Отвѣтила Наташа:

— Какъ же вы хозяйка дома, можете помѣшать гостямъ?

И дѣтски жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мнѣ скорѣе чаю! Вся трясусь... страшно ноги иззябли!

— Сейчасъ, сейчасъ!—торопливо воскликнула мать.

Выпивъ чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать большую книгу въ желтой обложкѣ, съ картинками. Мать, стараясь не шумѣть посудой, наливала стаканы и, напрягая непривычный мозгъ, вслушивалась въ плавную рѣчь дѣвушки. Ея звучный голосъ сливался съ тонкой, задумчивой пѣсней самовара, и въ комнатѣ красивой лентой вился, трепеталъ простой и ясный разсказъ о дикихъ людяхъ, которые жили въ пещерахъ и убивали камнями звѣрей. Это было похоже на сказку, и мать нѣсколько разъ взглянула на сына, желая его спросить, что же въ этой исторіи о дикаряхъ запретнаго? Но скоро она устала слѣдить за разсказомъ и начала разсматривать гостей, незамѣтно для сына и для нихъ.

Павелъ сидѣлъ рядомъ съ Наташей и онъ былъ красивѣе всѣхъ. Наташа низко наклонилась надъ книгой, часто поправляя сползавшіе ей на виски тонкіе, вьющіеся волосы. Порою она взмахивала головой и, понизивъ голосъ, говорила что-то отъ себя, не глядя въ книгу и ласково скользя глазами по лицамъ слушателей. Хохолъ навалился широкою грудью на уголъ стола, крутилъ усы, косилъ глазами, стараясь разсмотрѣть издерганные концы усовъ. Вѣсовщиковъ сидѣлъ на стулѣ прямо, точно деревянный, упираясь ладонями въ колѣна, и его рябое лицо безъ бровей, съ тонкими губами, было

неподвижно, точно маска. Не мигая узкими глазами, онъ упорно смотрѣлъ на свое лицо, отраженное въ блестящей мѣди самовара, и, казалось, не дышалъ. Маленькій Федя слушалъ чтеніе и беззвучно двигалъ губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищъ согнулся, поставивъ локти на колѣна, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Одинъ изъ парней, пришедшихъ съ Павломъ, былъ рыжій, кудрявый и тонкій, съ веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотѣлось что-то сказать и онъ нетерпѣливо двигался; другой, свѣтловолосый и коротко остриженный, гладилъ себя ладонью по головѣ и смотрѣлъ въ полъ, лица его не было видно. Въ комнатѣ было тепло и какъ-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, до сей поры невѣдомое ей, и, подъ журчаніе голоса Наташи, слитаго съ дрожащей пѣсней самовара, вспоминала шумныя вечеринки своей молодости, грубыя слова парней, отъ которыхъ всегда пахло перегорѣлой водкой, ихъ циничныя шутки. Вспоминала—и щемящее чувство жалости къ себѣ самой тихо трогало ея усталое, обиженное сердце.

Передъ нею встала сцена сватовства ея покойника мужа. На одной изъ вечеринокъ онъ поймалъ ее въ темныхъ сѣняхъ и, прижавъ всѣмъ тѣломъ къ стѣнѣ, спросилъ, глухо и сердито:

— Замужъ за меня пойдешь?

Ей было больно и обидно, а онъ грубо мялъ пальцами ея груди, сопѣлъ и дышалъ ей въ лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться изъ его рукъ, рванулась второну...

— Куда!—зарычалъ онъ.—Ты отвѣчай мнѣ, ну?

Задыхаясь отъ стыда и обиды, она молчала.

— Не ломайся, дура! Знаю я вашу сестру... сама—рада!

Кто-то открылъ дверь въ сѣни, и онъ не спѣша выпустилъ ее, сказавъ:

— Въ воскресенье сваху пришлю...

И прислалъ.

Мать закрыла глаза, тяжело вздохнула.

— Мнѣ не то надо знать, какъ люди жили, а какъ надо жить!—раздался въ комнатѣ недовольный голосъ Вѣсовщикова.

— Вотъ именно! — поддержалъ его рыжій, вставая.

— Не согласенъ!—крикнулъ Федя.—Если мы должны идти впередъ, намъ нужно все знать...

— Вѣрно! Это вѣрно!..—тихо сказалъ курчавый.

Вспыхнулъ оживленный споръ и засверкали слова, точно языки огня въ кострѣ. Мать не понимала, о чемъ кричатъ. Всѣ лица загорѣлись румянцемъ возбужденія, но никто не злился и не говорилъ знакомыхъ ей рѣзкихъ словъ.

— Барышни стѣсняются!—рѣшила она.

Ей нравилось серьезное лицо Наташи, такъ внимательно наблюдавшей за всѣми, точно эти парни были дѣтьми для нея.

— Подождите, товарищи!—вдругъ сказала она. И всѣ они замолчали, глядя на нее.

— Правы тѣ, которые говорятъ: мы должны все знать. Намъ нужно зажечь себя самихъ свѣтомъ разума, чтобы темные люди видѣли насъ, намъ нужно на все отвѣтить честно и вѣрно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохолъ слушалъ и качалъ въ тактъ ея словамъ головой. Вѣсовщиковъ, рыжій и другой, приведенный Павломъ фабричный стояли всѣ трое тѣсной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, всталъ Павелъ и спокойно спросилъ:

— Развѣ мы хотимъ быть только сытыми?

— Нѣтъ!—самъ себѣ отвѣтилъ онъ, твердо глядя въ сторону троихъ.—Мы хотимъ быть людьми! Мы должны показать тѣмъ, кто сидитъ на нашихъ шеяхъ и закры-

ваетъ намъ глаза, что мы все видимъ,—мы не глупы, мы не звѣри и не только ѣсть хотимъ — мы хотимъ жить, какъ достойно людей! Мы должны показать врагамъ, что наша каторжная жизнь, которую они намъ навязали, не мѣшаетъ намъ сравняться съ ними въ умѣ, а въ духѣ—встать выше ихъ!..

Мать слушала его слова, и въ груди ея дрожала гордость за сына—вотъ какъ онъ складно говоритъ!

— Сытыхъ все-таки не мало, честныхъ нѣтъ!—говорилъ хохолъ.—Мы должны построить мостикъ черезъ болото этой гніючей жизни къ будущему царству доброты сердечной,—вотъ наше дѣло, товарищи!

— Пришла пора драться, такъ некогда руку лѣчить!—глухо возразилъ Вѣсовщиковъ.

— Да намъ еще до драки кости поломаютъ!—весело вскричалъ хохолъ.

Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли Вѣсовщиковъ и рыжій, это снова не понравилось матери.

— Ишь, заторопились!—недружелюбно кланяясь имъ, подумала она.

— Вы проводите меня, Находка?—спросила Наташа.

— А какъ же!—отвѣтилъ хохолъ.

Когда Наташа одѣвалась въ кухнѣ, мать сказала ей:

— Чулочки-то у васъ тонки для такого времени! Ужъ вы позвольте, я вамъ шерстяные свяжу.

— Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются, шерстяные!—отвѣтила Наташа, смѣясь.

— А я вамъ такіе, что не будутъ кусаться!—сказала Власова.

Наташа смотрѣла на нее, немного прищуривъ глаза, и этотъ пристальный взглядъ сконфузилъ мать.

— Вы извините мою глупость... я вѣдь отъ души!—тихо добавила она.

— Славная вы какая! — тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожавъ ей руку.

— Доброй ночи, ненько! — заглянувъ ей въ глаза, сказалъ хохолъ, согнулся и вышелъ въ сѣни вслѣдъ за Наташей.

Мать посмотрѣла на сына,—онъ стоялъ у двери въ комнату и улыбался.

— Ты что смѣешься?—смущенно спросила она.

— Такъ... весело!

— Конечно, я старая и глупая... но хорошее и я понимаю!—съ легкой обидой замѣтила она.

— Вотъ и славно!—отозвался онъ, кивая головой.— Вы бы ложились, пора!..

— И тебѣ пора... Я сейчасъ... лягу!

Она суетилась вокругъ стола, убирая посуду, довольная и даже вспотѣвшая отъ пріятнаго волненія; она была рада, что все было такъ хорошо и мирно кончилось.

— Хорошо ты придумалъ, Павлуша!—говорила она.— Хорошіе люди это... хохолъ очень милый! И барышня... ахъ, какая умница! Кто она такая?

— Учительница!—кратко отвѣтилъ Павелъ, расхаживая по комнатѣ.

— А! То-то бѣдная такая!.. Одѣта такъ плохо... ахъ, какъ плохо! Долго ли простудиться? Родители-то гдѣ у нея?..

— Въ Москвѣ!—сказалъ Павелъ и, остановясь противъ матери, серьезно, негромко заговорилъ:

— Вотъ смотри: ея отецъ—богатый, торгуетъ желѣзомъ, имѣетъ нѣсколько домовъ. За то, что она пошла этой дорогой, онъ—прогналъ ее... Она воспитывалась въ теплѣ, ее баловали всѣмъ, чего она хотѣла... а сейчасъ вотъ пойдетъ семь верстъ ночью, одна...

Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и, удивленно двигая бровями, молча смотрѣла на сына. Потомъ тихо спросила:

— Въ городъ пойдетъ?

— Въ городъ.

— Аа-ай! И... не боится?

— Вотъ—не боится!—усмѣхнулся Павелъ.

— Да зачѣмъ? Ночевала бы здѣсь... легла бы со мной!

— Это неудобно! Ее могутъ увидѣть завтра утромъ здѣсь, а этого не нужно намъ. И ей.

Мать вспомнила, задумчиво взглянула въ окно и тихо спросила:

— Не понимаю я, Паша, что тутъ опаснаго, запрещеннаго? Вѣдь ничего дурного нѣтъ, а?

Она не была увѣрена въ этомъ, и ей хотѣлось услышать отъ сына утвердительный отвѣтъ. Онъ, спокойно глядя ей въ глаза, твердо заявилъ:

— Дурного нѣтъ и не будетъ. А, все-таки, для всѣхъ насъ впереди—тюрьма. Ты ужъ такъ и знай...

У нея дрогнули руки. Упавшимъ голосомъ она проговорила:

— А, можетъ быть, Богъ дастъ... какъ-нибудь обойдется?..

— Нѣтъ!—сказалъ сынъ ласково, но твердо.—Я тебя обманывать не могу. Не обойдется.

Онъ улыбнулся.

— Ложись, устала вѣдь. Покойной ночи!

Оставшись одна, она подошла къ окну и встала передъ нимъ, глядя на улицу. За окномъ было холодно и мутно. Игралъ вѣтеръ, сдувая снѣгъ съ крышъ маленькихъ сонныхъ домовъ, бился о стѣны и что-то торопливо шепталъ, падалъ на землю и гналъ вдоль улицы бѣлыя облака сухихъ снѣжинокъ...

— Іисусе Христе, помилуй насъ!—тихо прошептала мать.

Въ сердцѣ настойчиво закипали слезы и, подобно ночной бабочкѣ, слѣпо и жалобно трепетало ожиданіе горя, о которомъ такъ спокойно и увѣренно говорилъ сынъ. Передъ глазами ея встала плоская, снѣжная равнина. Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется въ ней вѣтеръ, бѣлый и косматый. Посреди равнины

одиноко идетъ, качаясь, небольшая, темная фигурка дѣвушки. Вѣтеръ путается у нея въ ногахъ, раздуваетъ юбку, бросаетъ ей въ лицо колючія снѣжинки. Трудно идти, маленькія ноги вязнутъ въ снѣгу. Холодно и боязно. Дѣвушка наклонилась впередъ и, — точно былинка среди мутной равнины, въ рѣзвой игрѣ осенняго вѣтра. Справа отъ нея, на болотѣ, темной стѣной стоитъ лѣсъ, тамъ дрожатъ и уныло шумятъ тонкія, голыя березы и осины. Гдѣ-то далеко впереди тускло мелькаютъ огни города...

— Господи помилуй! — опять прошептала мать, вздрогнувъ отъ холода и страха...

VI.

Дни скользили одинъ за другимъ, какъ бусы четокъ, и слагались въ недѣли, мѣсяцы. Каждую субботу къ Павлу приходили товарищи, и каждое собраніе являлось ступенью длинной, пологой лѣстницы,—она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей, и конца ея не было видно.

Появлялись все новые люди. Въ маленькой комнатѣ Власовыхъ становилось тѣсно и душно. Приходила Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама надѣла на маленькія ноги. Наташа сначала смѣялась, а потомъ вдругъ замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была... тоже удивительно добрая! Какъ странно, Пелагея Ниловна,—рабочій народъ живетъ такой трудной, такой обидной жизнью, а вѣдь у него больше сердца, больше доброты, чѣмъ у... тѣхъ!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко отъ нея,

— Вотъ какая вы!—сказала ей Власова.—Родителей лишились и всего... — она не умѣла докончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя въ лицо Наташи,

чувствуя къ ней благодарность за что-то. Она сидѣла на полу передъ ней, а дѣвушка задумчиво улыбалась, наклонивъ голову.

— Родителей лишилась?—повторила она.—Это—ничего! Отецъ у меня такой глупый и грубый... братъ тоже... и пьяница. Старшая сестра—несчастная, жалкая.. вышла замужъ за человѣка, который много старше ея... очень богатый, скучный и жадный... Но маму—жалко! Она у меня простая, какъ вы... маленькая такая, точно мышка... такъ же быстро бѣгаетъ и всѣхъ боится... Иногда такъ хочется видѣть ее... маму!

— Бѣдная вы моя!—грустно качая головой, сказала мать.

Дѣвушка быстро вскинула голову и протянула руку, какъ бы отталкивая что-то.

— О, нѣтъ! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У нея поблѣднѣло лицо и синіе глаза ярко вспыхнули. Положивъ руки на плечи матери, она глубокимъ голосомъ сказала тихо и внушительно:

— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое великое, радостное дѣло дѣлаемъ мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь съ пола, она грустно проговорила:

— Стара ужъ я для этого... неграмотна... стара.

... Павелъ говорилъ все чаще и больше все горячѣе спорилъ и—худѣлъ. Матери казалось, что когда онъ говоритъ съ Наташей или смотритъ на нее, его строгіе глаза блестятъ мягче, голосъ звучитъ ласковѣе, и весь онъ становится проще.

— Дай Господи!—думала она. И представляя Наташу своей снохой, улыбалась.

Всегда на собраніяхъ, чуть только споры начинали принимать слишкомъ горячій и бурный характеръ, вставалъ хохолъ и, раскачиваясь, точно языкъ колокола, говорилъ своимъ звучнымъ, гудящимъ голосомъ что-то

простое и доброе, отъ чего всѣ становились спокойнѣе и серьезнѣе. Вѣсовщиковъ постоянно угрюмо торопилъ всѣхъ куда-то; онъ и рыжій, котораго звали Самойловъ, первые начинали всѣ споры. Съ ними соглашался круглоголовый, бѣлобрысый, точно выцвѣтшій или вымытый щелокомъ, Иванъ Букинъ; Яковъ Сомовъ, гладкій и чистый, говорилъ мало, тихимъ, серьезнымъ голосомъ; онъ и большелобый Федя Мазинъ всегда стояли въ спорахъ на сторонѣ Павла и хохла.

Иногда вмѣсто Наташи являлся изъ города Николай Ивановичъ, человѣкъ въ очкахъ, съ маленькой, свѣтлой бородкой, уроженецъ какой-то дальней губерніи,—онъ говорилъ особеннымъ, пѣвучимъ говоркомъ. Онъ вообще весь былъ какой-то далекій. Разсказывалъ онъ о простыхъ вещахъ—о семейной жизни, о дѣтяхъ, о торговлѣ, о полиціи, о цѣнахъ на хлѣбъ и мясо—обо всемъ, чѣмъ люди живутъ изо дня въ день. И во всемъ онъ открывалъ фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смѣшное и всегда явно невыгодное людямъ. Матери казалось, что онъ прибылъ откуда-то издалека, изъ другого царства, тамъ всѣ живутъ простой, честной и легкой жизнью, а здѣсь—все чужое ему, онъ не можетъ привыкнуть къ этой жизни, принять ее, какъ необходимую, она не нравится ему и возбуждаетъ въ немъ спокойное, упрямое желаніе перестроить все на свой ладъ. Лицо у него было желтоватое, вокругъ глазъ тонкія, лучистыя морщинки, голосъ тихій, а руки всегда теплыя. Здороваясь съ Власовой, онъ обнималъ всю ея руку длинными, крѣпкими пальцами, и послѣ такого рукопожатія на душѣ становилось легче, спокойнѣе.

Являлись и еще люди изъ города, чаще другихъ высокая стройная барышня, съ огромными глазами на худомъ, блѣдномъ лицѣ. Ее звали Сашенька. Въ ея походкѣ и движеніяхъ было что-то мужское, она сердито хмурила густыя, темныя брови, и когда она говорила, тонкія ноздри ея прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала однажды, громко и рѣзко:

— Мы, соціалисты...

Когда мать услыхала это слово, она въ молчаливомъ испугѣ уставилась въ лицо барышни. А та, полузакрывъ глаза, говорила строго и властно:

— Мы должны отдать всѣ свои силы дѣлу обновленія жизни...

Мать знала, что соціалисты убили царя. Это было во дни ея молодости; тогда говорили, что помѣщики, желая отомстить царю за то, что онъ освободилъ крестьянъ, дали зарокъ себѣ не стричь волосъ до поры, пока они не убьютъ его, за это ихъ и назвали соціалистами. И теперь она не могла понять, почему же соціалистъ сынъ ея и товарищи его?

Когда всѣ разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, развѣ ты соціалистъ?

— Да!—сказалъ онъ, стоя передъ нею, какъ всегда, прямой и твердый.—А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустивъ глаза, спросила:

— Такъ ли, Павлуша? Вѣдь они противъ царя... вѣдь они убили одного.

Павелъ прошелся по комнатѣ, погладилъ рукой щеку, и, усмѣхнувшись, сказалъ:

— Намъ это не нужно!

Онъ долго говорилъ ей что-то тихимъ, серьезнымъ голосомъ. Она смотрѣла ему въ лицо и думала:

— Онъ не сдѣлаетъ ничего худого... онъ не можетъ!

А потомъ страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась и оно сдѣлалось такимъ же привычнымъ ея уху, какъ десятки другихъ, непонятныхъ словъ. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то ужъ очень строга Сашенька! Все приказываетъ: вы и то должны, вы и это должны...

Хохолъ громко засмѣялся.

— Вѣрно взято! Вы, ненько, въ глазъ попали! Павелъ, а?

И подмигивая матери, сказалъ съ усмѣшкой въ глазахъ:

— Дворянство съ человѣка и ножемъ не соскоблишь!

Павелъ сухо замѣтилъ:

— Она хорошій человѣкъ.

— И это вѣрно!—подтвердилъ хохолъ.—Только не понимаетъ, что это она — должна, а мы — хотимъ и можемъ!

Они заспорили о чемъ-то непонятномъ.

Мать замѣтила также, что Сашенька наиболѣе строго относится къ Павлу, иногда она даже кричала на него. Павелъ усмѣхался, молчалъ и смотрѣлъ въ лицо дѣвушки тѣмъ мягкимъ взглядомъ, какимъ ранѣе онъ смотрѣлъ въ лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери.

Народу становилось все больше; стали собираться по два раза въ недѣлю, и, когда мать видѣла съ какой напряженной жадностью молодежь слушаетъ рѣчи ея сына и хохла, интересные разсказы Сашеньки, Наташи, Николая Ивановича и другихъ людей изъ города, она забывала свои тревоги и печально покачивала головой, вспоминая скуку дней своей молодости.

Иногда мать поражало непонятное для нея настроеніе яркой, буйной радости, вдругъ и дружно овладѣвавшее всѣми. Обыкновенно это было въ тѣ вечера, когда они читали въ газетахъ о рабочемъ народѣ за границей. Тогда глаза у всѣхъ блестѣли живой, бодрой радостью, всѣ становились странно, какъ-то по-дѣтски счастливы, смѣялись веселымъ, яснымъ смѣхомъ, ласково хлопали другъ друга по плечамъ.

— Молодцы товарищи-нѣмцы!—кричалъ кто-нибудь, точно опьяненный своимъ весельемъ.

— Да здравствуютъ товарищи-рабочіе Италіи!—кричали въ другой разъ.

И посылая эти крики куда-то вдаль, друзьямъ, которые не знали ихъ и не могли понять ихъ языка, они, казалось, были увѣрены, что люди, невѣдомые имъ, слышатъ и понимаютъ ихъ восторгъ.

Хохолъ говорилъ, блестя глазами и полный большого, всѣхъ обнимавшаго чувства любви:

— Хорошо бы написать имъ туда, товарищи, а? Чтобы знали они, что въ далекой Россіи живутъ у нихъ друзья, рабочіе, которые вѣруютъ и исповѣдуютъ одну религію съ ними, живутъ товарищи, люди однѣхъ цѣлей и радуются ихъ побѣдамъ!

И всѣ мечтательно, съ улыбками на лицахъ, долго говорили о французахъ, англичанахъ и шведахъ, о рабочихъ людяхъ всѣхъ странъ, какъ о своихъ друзьяхъ, о близкихъ сердцу людяхъ, которыхъ они—не видя—любятъ, уважаютъ, живутъ ихъ радостями, чувствуютъ горе.

Въ тѣсной комнатѣ рождалось огромное, необъятное чувство всемірнаго духовнаго родства рабочихъ земли, ея хозяевъ и рабовъ, которыхъ мысль уже освободила изъ плѣна предразсудковъ и которые почувствовали себя владыками жизни. Это чувство сливало всѣхъ въ одну душу, оно волновало мать и хотя недоступно было ей, но какъ-то выпрямляло ее своей силой, радостной, торжественной и юной, охмѣляющей, ласковой, полной надеждъ.

— Какіе вы!—сказала она хохлу какъ-то разъ.— Всѣ вамъ товарищи—армяне и евреи, и австріяки... обо всѣхъ вы говорите, какъ о друзьяхъ, за всѣхъ печаль и радость!

— За всѣхъ, моя ненько, за всѣхъ!—воскликнулъ хохолъ.—Міръ—нашъ! Міръ—для рабочихъ! Для насъ нѣтъ націй, нѣтъ племенъ, есть только товарищи, только враги. Всѣ рабочіе—наши товарищи; всѣ богатые, всѣ правительства—наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, какъ насъ, рабочихъ,

много, сколько силы духа несемъ мы,—такая радость, такое счастье обнимаетъ сердце, такой великій праздникъ поетъ въ груди! И такъ же, ненько, чувствуетъ французъ и нѣмецъ, когда они взглянутъ на жизнь, и такъ же радуется итальянецъ. Мы всѣ дѣти одной матери, великой, непобѣдимой мысли о братствѣ рабочаго народа всѣхъ странъ земли. Она ростетъ, она насъ грѣетъ солнцемъ, она второе солнце на небѣ справедливости, а это небо—въ сердцѣ рабочаго, и кто бъ онъ ни былъ, какъ бы онъ ни называлъ себя—соціалистъ—нашъ братъ по духу всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ!

Эта дѣтская радость, свѣтлая, крѣпкая вѣра, все чаще возникала среди нихъ, все возвышалась и росла въ своей могучей силѣ...

И когда мать видѣла ее, она невольно чувствовала, что воистину въ мірѣ родилось что-то великое и свѣтлое, подобное солнцу неба, видимаго ею.

Часто пѣли пѣсни. Простыя, всѣмъ извѣстныя пѣсни пѣли громко и весело, но иногда запѣвали новыя, какъ-то особенно складныя, но невеселыя и необычныя по напѣвамъ. Ихъ пѣли вполголоса и задумчиво, серьезно, точно церковное. Лица пѣвцовъ блѣднѣли, разгорались, и въ звучныхъ словахъ чувствовалась большая сила.

Особенно одна изъ новыхъ пѣсенъ тревожила и волновала женщину. Въ этой пѣснѣ не слышно было стоновъ, печальнаго раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темнымъ тропамъ горестныхъ недоумѣній, стоновъ души, забитой нуждой, запуганной страхомъ, безличной и безцвѣтной. И не звучали въ ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающіе крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. Въ ней не было слѣпого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, безсильно что-нибудь создать; въ этой пѣснѣ не слышно было ничего отъ стараго, рабьяго міра.

Рѣзкія слова и суровый напѣвъ ея не нравились матери, но за словами и напѣвомъ было нѣчто большее, оно заглушало звукъ и слово своею силой, и будило въ сердцѣ предчувствіе чего-то необъятнаго для мысли. Это нѣчто она видѣла на лицахъ, въ глазахъ молодежи, она чувствовала въ ихъ грудяхъ и, поддаваясь силѣ пѣсни, не умѣщавшейся въ словахъ и звукахъ, всегда слушала ее съ особеннымъ вниманіемъ, съ тревогой болѣе глубокой, чѣмъ всѣ другія пѣсни.

Эту пѣсню пѣли тише другихъ, но она всегда звучала сильнѣе всѣхъ и обнимала людей, какъ воздухъ мартовскаго дня, перваго дня грядущей весны.

— Пора намъ это на улицѣ запѣть!—угрюмо говорилъ Вѣсовщиковъ.

Когда его отецъ снова что-то укралъ и сѣлъ въ тюрьму, Николай спокойно заявилъ товарищамъ:

— Теперь у меня можно собираться... Полиція подумаетъ: воры... а воровъ она любитъ!

Почти каждый вечеръ послѣ работы у Павла сидѣлъ кто-нибудь изъ товарищей и они читали, что-то выписывали изъ книгъ, озабоченные, не успѣвшіе умыться. Ужинали и пили чай съ книжками въ рукахъ, и все болѣе непонятны для матери были ихъ рѣчи...

— Намъ нужна газета!—часто говорилъ Павелъ.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди все быстрѣе перебѣгали другъ къ другу и отъ одной книги къ другой, точно пчелы съ цвѣтка на цвѣтокъ.

— Поговариваютъ про насъ!—сказалъ однажды Вѣсовщиковъ.—Должны мы скоро провалиться...

— На то и перепелъ, чтобы въ сѣти попасть!—отозвался хохолъ.

Онъ все больше нравился матери. Когда онъ называлъ ее „ненько“, это слово точно гладило щеки ея. мягкой, дѣтской рукой. По воскресеньямъ, если Павлу было некогда, онъ кололъ дрова; однажды пришелъ

съ доской на плечѣ и, взявъ топоръ, быстро и ловко перемѣнилъ сгнившую ступень на крыльцѣ, другой разъ также незамѣтно починилъ завалившійся заборъ. Работая онъ свистѣлъ, и свистъ у него былъ красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

— Давай, возьмемъ хохла себѣ въ нахлѣбники? Лучше будетъ обоимъ вамъ, не бѣгать другъ къ другу.

— Зачѣмъ вамъ стѣснять себя?—спросилъ Павелъ, пожимая плечами.

— Ну, вотъ еще! Всю жизнь стѣснялась, не зная для чего... для хорошаго человѣка можно!

— Дѣлайте, какъ хотите!—отозвался сынъ. — Коли онъ переѣдетъ— я буду радъ...

И хохолъ перебрался къ нимъ.

VII.

Маленькій домъ на окраинѣ слободки будилъ вниманіе людей, и стѣны его уже щупали десятки подозрительныхъ взглядовъ. Надъ нимъ безпокойно рѣяли пестрыя крылья молвы; люди старались спугнуть обнаружить что-то, притаившееся за стѣнами дома, надъ оврагомъ. По ночамъ заглядывали въ окна, иногда кто-то стучалъ въ стекло и быстро, пугливо убѣгалъ прочь.

Однажды Власову остановилъ на улицѣ трактирщикъ Бѣгунцевъ, благообразный старичекъ, всегда носившій черную шелковую косынку на красной, дряблой шеѣ, а на груди толстый плюшевый жилетъ лиловаго цвѣта. На его носу, остромъ и блестящемъ, сидѣли черепаховыя очки, и за это его звали—„Костяные глаза“.

Остановивъ Власову, онъ, однимъ дыханіемъ и не ожидая отвѣтовъ, закидалъ ее трескучими и сухими словами.

— Пелагея Ниловна, какъ здравствуете? Сынокъ какъ? Женить не собираетесь, а? Юноша въ полной силѣ

для супружества. Женить сына пораньше—родителямъ спокойнѣе. Въ семьѣ человѣкъ лучше сохраняется и духомъ и плотію, въ семьѣ онъ—вродѣ гриба въ уксусѣ! Я-бы на вашемъ мѣстѣ женилъ его. Время наше требуетъ строгаго надзора за существомъ человѣка, люди начинаютъ жить изъ своей головы, а не въ голову. Въ мысляхъ разбродъ пошелъ и поступки достойны порицанія. Божію церковь молодежь обходитъ, публичныхъ мѣстъ чуждается и, собираясь тайно, по угламъ, шепчетъ. Зачѣмъ шепчутъ, позвольте узнать? Зачѣмъ бѣгутъ людей? Все, чего человѣкъ не смѣетъ сказать при людяхъ, въ трактирѣ, напримѣръ, что это такое есть? Тайна! Тайнѣ же мѣсто—наша святая, равноапостольная церковь. Всѣ же другія тайности, по угламъ совершаемыя,—отъ заблужденія ума! Желаю вамъ добраго здоровья!

Вычурно изогнутой рукой онъ снялъ картузъ, взмахнулъ имъ въ воздухѣ и ушелъ, оставивъ мать въ недоумѣніи.

Сосѣдка Власовыхъ, Марья Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая на фабрикѣ съѣстнымъ, встрѣтивъ мать на базарѣ, тоже сказала:

— Поглядывай за сыномъ, Пелагея!

— Что такое?—спросила мать.

— Слухъ идетъ!—таинственно сообщила Марья.—Нехорошій, мать ты моя! Будто онъ устраиваетъ... артель такую, вродѣ хлыстовъ. Секты, называется это. Сѣчь будутъ другъ друга, какъ хлысты...

— Полно, Марья, ерунду пороть!

— Не тотъ вретъ, кто поретъ, а тотъ, кто шьетъ!—отозвалась торговка.

Мать передавала сыну всѣ эти разговоры, онъ молча пожималъ плечами, а хохолъ смѣялся своимъ густымъ, мягкимъ смѣхомъ.

— Дѣвицы тоже очень обижаются на васъ!—говорила она.—Женихи вы для всякой дѣвушки завидные

и работники всѣ хорошіе, непьющіе... а вниманія на дѣвицъ не обращаете! Говорятъ, будто ходятъ къ вамъ изъ города барышни зазорнаго поведенія...

— Ну, конечно!—брезгливо сморщивъ лицо, воскликнулъ Павелъ.

— На болотѣ все гнилью пахнетъ!—вздохнувъ молвилъ хохолъ.—А вы бы, ненько, объяснили имъ, дурочкамъ, что такое замужество, чтобы не торопились онѣ изломать себѣ кости...

— Эхъ, батюшка!—сказала мать.—Онѣ горе видятъ, онѣ понимаютъ, да вѣдь дѣваться имъ некуда, кромѣ этого!

— Плохо понимаютъ, а то бы нашли путь!—замѣтилъ Павелъ.

Мать взглянула на его строгое лицо.

— А вы—поучите ихъ! Позвали бы которыхъ поумнѣе къ себѣ...

— Это неудобно!—сухо отозвался сынъ.

— А если попробовать?—спросилъ хохолъ.

Павелъ помолчалъ и отвѣтилъ:

— Начнутся прогулки парочками, потомъ нѣкоторые поженятся, вотъ и все!

Мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видѣла, что его совѣтовъ слушаются даже тѣ товарищи, которые, какъ хохолъ, старше его годами, но ей казалось, что всѣ боятся его и никто не любитъ за эту сухость.

Какъ-то разъ, когда она легла спать, а сынъ и хохолъ еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку ихъ тихій разговоръ.

— Нравится мнѣ Наташа, знаешь? — вдругъ тихо воскликнулъ хохолъ.

— Знаю!—несразу отвѣтилъ Павелъ.

Было слышно, какъ хохолъ медленно всталъ и началъ ходить. По полу шаркали его босыя ноги. И раз-

дался тихій, заунывный свистъ. Потомъ снова загудѣлъ его голосъ.

— А замѣчаетъ она это?

Павелъ молчалъ.

— Какъ ты думаешь?—понизивъ голосъ, спросилъ хохолъ.

— Замѣчаетъ!—отвѣтилъ Павелъ.—Поэтому и отказалась заниматься у насъ...

Хохолъ тяжело возилъ ноги по полу и снова въ комнатѣ дрожалъ его тихій свистъ. Потомъ онъ спросилъ:

— А если я скажу ей...

— Что?—раздался краткій вопросъ Павла, точно онъ выстрѣлилъ.

— Что вотъ я...—тихо началъ хохолъ.

— Зачѣмъ?—прервалъ его Павелъ.

Мать услышала, что хохолъ остановился и почувствовала, что онъ усмѣхается.

— Да я, видишь, полагаю, что если любишь дѣвушку, то надо же ей сказать объ этомъ, иначе не будетъ никакого толка!

Павелъ громко захлопнулъ книгу. Былъ слышенъ его вопросъ.

— А какого толка ты ждешь?

Оба долго молчали.

— Ну?—спросилъ хохолъ.

— Надо, Андрей, ясно представлять себѣ, чего хочешь...—заговорилъ Павелъ медленно.—Положимъ, и она тебя любитъ... я этого не думаю, но, положимъ, такъ! И вы—поженитесь. Интересный бракъ—интеллигентка и рабочій. Родятся дѣти... работать тебѣ надо будетъ одному... и—много. Жизнь ваша станетъ обычной жизнью изъ-за куска хлѣба, для дѣтей, для квартиры... для дѣла—васъ больше нѣтъ. Обоихъ нѣтъ!

Стало тихо. Потомъ Павелъ заговорилъ какъ будто мягче.

— Ты лучше брось все это, Андрей... И молчи, не смущай ее... Такъ честнѣе.

— А помнишь, Николай Ивановичъ говорилъ о необходимости для человѣка жить полной жизнью... всѣми силами души и тѣла... помнишь?

— Это не для насъ!—сказалъ Павелъ.—Какъ ты достигнешь полноты? Для тебя ея нѣтъ. Любишь будущее,—все отрицай въ настоящемъ... все, братъ!

— Это тяжело для человѣка!—сказалъ хохолъ тихонько.

— Какъ иначе—подумай?

Тихо И отчетливо стучитъ равнодушный маятникъ часовъ, мѣрно отсѣкая секунды жизни.

Хохолъ сказалъ:

— Половина сердца—любитъ, половина—ненавидитъ, развѣ жъ это сердце.. а?

— Я спрашиваю—какъ иначе?

— Справедливо, а—не утѣшаетъ!—тихонько проговорилъ Андрей.

Зашелестѣли страницы книги, должно быть, Павелъ снова началъ читать. Мать лежала, закрывъ глаза, и боялась пошевелиться. Ей было до слезъ жаль хохла, но еще болѣе сына. Она думала о немъ.

— Милый ты мой... обреченный ты мой...

Вдругъ хохолъ спросилъ:

— Такъ—молчать?

— Это честнѣе, Андрей...—тихо сказалъ Павелъ.

— По этой дорогѣ и пойдемъ!—сказалъ хохолъ. И черезъ нѣсколько секундъ продолжалъ грустно и тихо:

— Трудно тебѣ будетъ, Паша, когда ты самъ вотъ такъ...

— Мнѣ уже трудно...

— Да?

О стѣны дома шаркалъ вѣтеръ. Четко считалъ уходящее время маятникъ часовъ.

— Надъ этимъ не посмѣешься!—медленно проговорилъ хохолъ.

Мать ткнулась лицомъ въ подушку и беззвучно заплакала.

На утро Андрей показался матери ниже ростомъ и весь какъ-то милѣе. А сынъ былъ, какъ всегда, худъ, прямъ и молчаливъ. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимовичъ, а тутъ, какъ-то невольно, не замѣчая, сказала ему:

— Вамъ, Андрюша, сапоги-то починить надо бы... такъ вы ноги простудите!

— А вотъ и въ получку новые куплю!—отвѣтилъ онъ, засмѣялся и вдругъ, положивъ ей на плечо свою длинную руку, спросилъ:

— А, можетъ, вы и есть родная моя мать? Только вамъ не хочется въ томъ признаться людямъ, какъ я очень некрасивый, а?

Она молча похлопала его по рукѣ. Ей хотѣлось сказать ему много ласковыхъ словъ, но сердце ея было стиснуто жалостью, и слова не шли съ языка.

VIII.

...Въ слободкѣ говорили о соціалистахъ, которые разбрасываютъ всюду написанные синими чернилами листки. Въ этихъ листкахъ зло и мѣтко писали о порядкахъ на фабрикѣ, о стачкахъ рабочихъ въ Петербургѣ и въ южной Россіи, рабочіе призывались къ объединенію и борьбѣ за свои интересы.

Пожилые люди, имѣвшіе на фабрикѣ хорошій заработокъ, читая ругались:

— Смутьяны! За такія дѣла надо морду бить!

И носили листки въ контору. Молодежь читала прокламаціи съ увлеченіемъ и говорила возбужденно:

— Правда!

Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лѣниво отзывалось:

— Ничего не будетъ... развѣ можно?

Но листки волновали людей, и, если ихъ не было недѣлю, люди уже говорили другъ другу:

— Опять нѣту сегодня. Бросили, видно, печатать...

А въ понедѣльникъ листки снова появлялись, и снова рабочіе глухо шумѣли.

Въ трактирахъ и на фабрикѣ замѣчали новыхъ, никому неизвѣстныхъ людей. Они выспрашивали, разсматривали, нюхали и сразу бросались всѣмъ въ глаза— одни—своей подозрительной осторожностью, другіе — излишней навязчивостью.

Мать знала, что весь этотъ шумъ поднятъ работой ея сына. Она видѣла, какъ люди стягивались вокругъ него; онъ былъ не одинъ, а это не такъ опасно. И опасенія за судьбу Павла сливались въ ней съ гордостью за него: вѣдь это его тайные труды вливаются свѣжимъ ручьемъ въ тѣсное русло мутнаго потока жизни...

Какъ-то вечеромъ Марья Корсунова постучала съ улицы въ окно и, когда мать открыла раму, она громкимъ шопотомъ заговорила:

— Ну, держись, Пелагея, доигрались голубчики! Ночью сегодня обыскъ рѣшенъ у васъ и у Мазина, и у Вѣсовщикова...

Мать слышала только начало рѣчи, а дальше всѣ слова слились въ зловѣщій, хриплый звукъ.

— И-у-и-у-и-у...

Толстыя губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый носъ сопѣлъ, глаза мигали и косились изъ стороны въ сторону, выслѣживая кого-то на улицѣ.

— А я ничего не знаю и ничего я тебѣ, мать моя, не говорила и даже не видѣла тебя сегодня, слышишь?

Она исчезла.

Мать закрыла окно и медленно опустилась на стулъ,

безъ силъ, съ опустошенной головой. Но сознаніе опасности, грозившей сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо одѣлась, зачѣмъ-то плотно окутала голову шалью и побѣжала къ Федѣ Мазину, который, она знала, былъ боленъ и не работалъ. Когда она пришла къ нему, онъ сидѣлъ подъ окномъ, читая книгу, и качалъ лѣвой рукой правую, оттопыривъ большой палецъ. Узнавъ новость, онъ быстро вскочилъ, его лицо поблѣднѣло.

— Вотъ-те и разъ... а у меня—палецъ нарываетъ!—пробормоталъ онъ.

— Что надо дѣлать-то?—дрожащей рукой отирая съ лица потъ, спрашивала Власова.

— Погодите... вы не бойтесь!—отвѣтилъ Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.

— Да вѣдь вы сами-то боитесь!—воскликнула она.

— Я?—Щеки его вспыхнули румянцемъ, и смущенно улыбаясь онъ сказалъ:—Да-а... струсилъ, чортъ... Надо Павлу сказать... Я сейчасъ пошлю къ нему сестренку мою... Вы идите... ничего! Вѣдь бить не будутъ?

Возвратясь домой, она собрала тамъ въ кучу всѣ книжки и прижавъ ихъ къ груди, долго ходила по дому, заглядывая въ печь, подъ печку, въ трубу самовара и даже въ кадку съ водой. Ей казалось, что Павелъ сейчасъ же броситъ работу и придетъ домой, а онъ—не шелъ. Наконецъ, усталая, она сѣла въ кухнѣ на лавку, подложивъ подъ себя книги и такъ, боясь встать, просидѣла до поры, пока не пришли съ фабрики Павелъ и хохолъ.

— Знаете?—воскликнула она не вставая.

— Знаемъ!—спокойно улыбаясь, сказалъ Павелъ.—Ты боишься?

— Такъ боюсь, такъ боюсь...

— Не надо бояться!—сказалъ хохолъ.—Это ничему не помогаетъ.

— Даже самоваръ не поставила!—замѣтилъ Павелъ.

Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила:

— Да я вотъ все съ ними...

Сынъ и хохолъ засмѣялись, и это освѣжило ее. Потомъ Павелъ отобралъ нѣсколько книгъ и понесъ ихъ прятать на дворъ, а хохолъ ставилъ самоваръ и говорилъ:

— Совсѣмъ ничего нѣтъ страшнаго, ненько, а только стыдно за людей, что они пустяками занимаются. Придутъ этакіе взрослые мужчины сѣраго цвѣта, съ саблями на боку, со шпорами на ногахъ и роются вездѣ. Подъ кровать заглянутъ и подъ печку, погребъ есть— и въ погребъ лѣзутъ, и на чердакъ сходятъ. Тамъ имъ на рожи паутина садится, и они фыркаютъ. Скучно имъ и стыдно, оттого они дѣлаютъ видъ, будто очень злые люди и очень сердятся на васъ. Поганая работа, они же понимаютъ! Одинъ разъ порыли у меня все, сконфузились и ушли просто... а другой разъ захватили и меня съ собой... ну, посадили въ тюрьму... и мѣсяца четыре сидѣлъ я у нихъ. Сидишь-сидишь, позовутъ къ себѣ, проведутъ по улицѣ съ солдатами... спросятъ что-нибудь. Народъ они неумный, говорятъ несуразное такое, поговорятъ,—опять велятъ солдатамъ въ тюрьму отвести. Такъ и водятъ туда и сюда... надо же имъ жалованье свое оправдать! А потомъ выпустятъ на волю... вотъ и все!

— Какъ вы всегда говорите, Андрюша! — невольно воскликнула мать.

Стоя на колѣняхъ около самовара, онъ усердно дулъ въ трубу, но тутъ поднялъ на нее свое лицо, красное отъ напряженія, и обѣими руками расправляя усы, спросилъ:

— А какъ говорю?

— Да будто васъ никто никогда не обижалъ...

Онъ всталъ, подошелъ къ ней и, тряхнувъ головой, заговорилъ, улыбаясь:

— Развѣ же есть гдѣ на землѣ необиженная душа? Но меня столько обижали, что я уже усталъ обижаться. Что подѣлаешь, если люди не могутъ иначе? Обиды очень мѣшаютъ мнѣ дѣло мое дѣлать... обойти ихъ нельзя, останавливаться около нихъ—даромъ время терять. Такая жизнь! Я прежде, бывало, сердился на людей... а подумалъ—вижу всѣ разбиты сердцемъ!.. Всякій боится какъ бы сосѣдъ не ударилъ, ну, и старается поскорѣе самъ въ ухо дать. Такая жизнь, ненько моя!

Рѣчь его лилась спокойно и властно отталкивала куда-то всторону тревогу ожиданія обыска, выпуклые глаза свѣтло и печально улыбались, и весь онъ, хотя и нескладный, былъ такой гибкій, неломкій.

Мать вздохнула и тепло пожелала ему:

— Далъ бы вамъ Богъ счастья, Андрюша!

Хохолъ широко шагнулъ къ самовару, снова сѣлъ на корточки передъ нимъ и тихо пробормоталъ:

— Дадутъ счастья—не откажусь, просить—не стану, взять—некогда!

И засвистѣлъ.

Вошелъ Павелъ со двора, увѣренно сказалъ:

— Не найдутъ!—и сталъ умываться.

Потомъ, крѣпко и тщательно вытирая руки, заговорилъ:

— Если вы, мамаша, покажете имъ, что испугались, они подумаютъ: значитъ, въ этомъ домѣ что-то есть, коли она такъ дрожитъ. А мы еще ничего не сдѣлали... ничего! Вы вѣдь знаете—дурного мы не хотимъ, на нашей сторонѣ правда и всю жизнь мы будемъ работать для нея—вотъ вся наша вина! Чего же бояться?

— Я, Паша, скрѣплюсь!—пообѣщала она. И вслѣдъ за тѣмъ у нея тоскливо вырвалось:—Ужъ скорѣе бы приходили они!

А они не пришли въ эту ночь, и на утро, предупреждая возможность шутокъ надъ ея страхомъ, мать первая стала шутить надъ собой.

IX.

Они явились какъ разъ тогда, когда ихъ не ждали, почти черезъ мѣсяцъ послѣ тревожной ночи. У Павла сидѣлъ Николай Вѣсовщиковъ и втроемъ съ Андреемъ они говорили о своей газетѣ. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слушала озабоченные, тихіе голоса. Вотъ Андрей, осторожно шагая, прошелъ черезъ кухню, тихо притворилъ за собой дверь. Въ сѣняхъ загремѣло желѣзное ведро. И вдругъ дверь широко распахнулась—хохолъ шагнулъ въ кухню, громко шепнувъ:

— Эй, шпоры звенятъ на улицѣ!..

Мать вскочила съ постели, дрожащими руками хватая платье, но въ двери изъ комнаты явился Павелъ и спокойно сказалъ:

— Вы лежите... вамъ нездоровится!

Въ сѣняхъ былъ слышенъ осторожный шорохъ. Павелъ подошелъ къ двери, и толкнувъ ее рукой, спросилъ:

— Кто тамъ?

Въ дверь странно быстро ввернулась высокая, сѣрая фигура, за ней другая, двое жандармовъ оттѣснили Павла, встали по бокамъ у него и прозвучалъ высокій, насмѣшливый голосъ:

— Не тѣ, кого вы ждали, а?

Это сказалъ высокій, худой тонкій офицеръ съ черными, рѣдкими усами. У постели матери появился слободскій полицейскій Федякинъ и приложивъ одну руку къ фуражкѣ, а другою указывая въ лицо матери, сказалъ, сдѣлавъ страшные глаза:

— Вотъ это мать его, ваше благородіе!—И махнувъ рукой на Павла, прибавилъ:—А это—онъ самый!

— Павелъ Власовъ?—спросилъ офицеръ, прищуривъ

глаза и когда Павелъ молча кивнулъ головой, онъ заявилъ, крутя усъ:

— Я долженъ произвести обыскъ у тебя... Старуха, встань! Тамъ—кто?—спросилъ онъ, заглядывая въ комнату, и порывисто шагнулъ къ двери.

— Ваши фамиліи?—раздался оттуда его голосъ.

Изъ сѣней вышли двое понятыхъ—старый литейщикъ Тверяковъ и его постоялецъ, кочегаръ Рыбинъ, солидный, черный мужикъ. Онъ густо и громко сказалъ:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одѣвалась и, чтобы придать себѣ бодрости, тихонько говорила:

— Что ужъ это!.. приходятъ ночью... люди спать легли, а они приходятъ!..

Въ комнатѣ было тѣсно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармовъ и слободскій приставъ Рыскинъ, громко топая ногами, снимали съ полки книги и складывали ихъ на столъ передъ офицеромъ. Другіе двое стучали кулаками по стѣнамъ, заглядывали подъ стулья, одинъ неуклюже лѣзъ на печь. Хохолъ и Вѣсовщиковъ, тѣсно прижавшись другъ къ другу, стояли въ углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами и его маленькіе, сѣрые глаза не отрываясь смотрѣли на офицера. Хохолъ крутилъ усы, и когда мать вошла въ комнату, онъ, усмѣхнувшись, ласково кивнулъ ей головой.

Стараясь подавить свой страхъ, она двигалась не бокомъ, какъ всегда, а прямо, грудью впередъ,—это придавало ея фигурѣ смѣшную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нея дрожали...

Офицеръ быстро хваталъ книги тонкими пальцами бѣлой руки, перелистывалъ ихъ, встряхивалъ и ловкимъ движеніемъ кисти отбрасывалъ всторону. Порою книга мягко шлепалась на полъ. Всѣ молчали, было слышно тяжелое сопѣніе вспотѣвшихъ жандармовъ, звякали шпоры, иногда раздавался негромкій вопросъ:

— Здѣсь смотрѣлъ?

Мать встала рядомъ съ Павломъ у стѣны, сложила руки на груди, какъ это сдѣлалъ онъ и тоже смотрѣла на офицера. У нея вздрагивало подъ колѣнями и глаза застилалъ сухой туманъ.

Вдругъ среди молчанія раздался рѣжущій ухо голосъ Николая:

— А зачѣмъ это нужно—бросать книги на полъ?

Мать вздрогнула. Тверяковъ качнулъ головой, точно его толкнули въ затылокъ, а Рыбинъ крякнулъ и внимательно посмотрѣлъ на Николая.

Офицеръ вскинулъ голову, прищурилъ глаза и воткнулъ ихъ на секунду въ рябое, пестрое и неподвижное лицо... Пальцы его еще быстрѣе стали перебрасывать страницы книгъ. Порою онъ такъ широко открывалъ свои большіе, сѣрые глаза, какъ будто ему было невыносимо больно и онъ готовъ крикнуть громкимъ крикомъ безсильной злобы на эту боль.

— Солдатъ!—снова сказалъ Вѣсовщиковъ.—Подними книги...

Всѣ жандармы обернулись къ нему, потомъ взглянули на офицера. Онъ снова поднялъ голову, и окинувъ широкую фигуру Николая испытующимъ взглядомъ, протянулъ въ носъ:

— Н-но... поднимите...

Одинъ жандармъ нагнулся, и искоса глядя на Вѣсовщикова, сталъ подбирать съ пола растрепанныя книги...

— Молчать бы Николаю-то!.. — тихо шепнула мать Павлу.

Онъ пожалъ плечами. Хохолъ опустилъ голову.

— Что тамъ за шопотъ? Кто это читаетъ Библію?

— Я!—сказалъ Павелъ.

— Ага... А чьи всѣ эти книги?

— Мои!—отвѣтилъ Павелъ.

— Такъ!—сказалъ офицеръ, откидываясь на спинку

стула. Хрустнулъ пальцами тонкихъ рукъ, вытянулъ подъ столомъ ноги, поправилъ усы и спросилъ Николая:

— Это ты—Андрей Находка?

— Я!—отвѣтилъ Николай, подвигаясь впередъ. Хохолъ вытянулъ руку, взялъ его за плечо и отодвинулъ назадъ.

— Это—онъ ошибся! Я—Андрей!..

Офицеръ поднялъ руку и, грозя Вѣсовщикову маленькимъ пальцемъ, сказалъ:

— Смотри ты у меня!..

Онъ началъ рыться въ своихъ бумагахъ.

Съ улицы въ окно бездушными глазами смотрѣла свѣтлая, лунная ночь. Кто-то медленно ходилъ за окномъ, скрипѣлъ снѣгъ.

— Ты, Находка, привлекался уже къ дознанію по политическимъ преступленіямъ? — спросилъ офицеръ.

— Въ Ростовѣ привлекался и въ Саратовѣ... Только тамъ жандармы говорили мнѣ—вы...

Офицеръ мигнулъ правымъ глазомъ, потеръ его и, оскаливъ мелкіе зубы, заговорилъ:

— А не извѣстно ли вамъ, Находка,—именно вамъ,—кто тѣ мерзавцы, которые разбрасываютъ на фабрикѣ преступныя воззванія и книжки, а?

Хохолъ покачнулся на ногахъ и, широко улыбаясь, хотѣлъ что-то сказать, но вновь прозвучалъ раздражающій голосъ Николая:

— Мы мерзавцевъ первый разъ видимъ...

Наступило молчаніе, всѣ остановились на секунду.

Шрамъ на лицѣ матери побѣлѣлъ и правая бровь всползла кверху. У Рыбина странно задрожала его черная борода, онъ поднялъ руку и, опустивъ глаза, сталъ медленно расчесывать ее пальцами.

— Выведите вонъ этого скота!—сказалъ офицеръ.

Двое жандармовъ взяли Николая подъ руки, грубо

повели его въ кухню. Тамъ онъ остановился, крѣпко упираясь ногами въ полъ, и крикнулъ:

— Стойте... я одѣнусь!

Со двора явился приставъ и сказалъ:

— Ничего нѣтъ, все осмотрѣли!

— Ну, разумѣется! — воскликнулъ офицеръ усмѣхаясь.—Я такъ и зналъ! Здѣсь опытный человѣкъ... естественно!

Мать слушала его слабый, вздрагивающій и ломкій голосъ и, со страхомъ глядя въ желтое лицо, чувствовала въ этомъ человѣкѣ врага, врага безъ жалости, съ сердцемъ, полнымъ барскаго презрѣнія къ людямъ. Она и раньше мало видѣла такихъ людей, а теперь почти забыла, что они есть.

— Вотъ кого потревожили!—думала она.

— Васъ, г. Андрей Онисимовъ Находка, незаконнорожденный, я арестую!

— За что?—спокойно спросилъ хохолъ.

— Это я вамъ послѣ скажу!—со злой вѣжливостью отвѣтилъ офицеръ. И обратясь къ Власовой, крикнулъ ей:

— Ты грамотна?

— Нѣтъ!—отвѣтилъ Павелъ.

— Я не тебя спрашиваю! —строго сказалъ офицеръ и снова спросилъ:—Старуха, отвѣчай! Ты грамотная?

Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти къ этому человѣку, вдругъ, точно прыгнувъ въ холодную воду, вся охваченная дрожью, выпрямилась, ея шрамъ побагровѣлъ и бровь низко опустилась.

— Вы не кричите!—заговорила она, протянувъ къ нему руку.—Вы еще молодой человѣкъ... вы горя не знаете...

— Успокойтесь, мамаша!—остановилъ ее Павелъ.

— Тутъ, ненько, надо сердце въ зубы взять и—стиснуть!—сказалъ хохолъ.

— Погоди, Паша! — крикнула мать, порываясь къ столу.—Зачѣмъ вы людей хватаете?

— Это васъ не касается... замолчать!—крикнулъ офицеръ, вставая.—Введите арестованнаго Вѣсовщикова!

И началъ читать какую-то бумагу, поднявъ ее къ лицу.

Ввели Николая.

— Шапку снять!—крикнулъ офицеръ, прервавъ чтеніе.

Рыбинъ подошелъ къ Власовой и, толкнувъ ее плечомъ, тихонько сказалъ:

— Не горячись...

— Какъ-же я сниму шапку, если меня за руки держатъ? — спросилъ Николай, заглушая чтеніе протокола.

Офицеръ бросилъ бумагу на столъ.

— Подписать!

Мать смотрѣла, какъ всѣ подписываютъ протоколъ, ея возбужденіе погасло, сердце упало и на глаза навернулись ѣдкія слезы обиды, безсилія. Этими слезами она плакала двадцать лѣтъ своего замужества, но послѣдніе годы почти забыла ихъ разъѣдающій вкусъ; офицеръ посмотрѣлъ на нее и, брезгливо сморщивъ лицо, замѣтилъ:

— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите, вамъ не хватитъ слезъ впослѣдствіи!..

Снова озлобляясь, она сказала:

— У матери на все слезъ хватитъ... на все! Коли у васъ есть мать, она это знаетъ, да!

Офицеръ торопливо укладывалъ бумаги въ новенькій портфель съ блестящимъ замкомъ.

— Какіе они,—обратился онъ къ приставу,—самостоятельные всѣ!..

— Озорство!—пробормоталъ приставъ.

— Маршъ!—скомандовалъ офицеръ.

— До свиданья, Андрей до свиданья, Николай!—тепло и тихо говорилъ Павелъ, пожимая товарищамъ руки.

— Вотъ именно—до свиданья!—усмѣхаясь заявилъ офицеръ.

Вѣсовщиковъ молча давилъ руки своими короткими пальцами и тяжело сопѣлъ. Его толстая шея налилась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохолъ блестѣлъ улыбками, кивалъ головой и что-то говорилъ матери, она крестила его и тоже говорила:

— Богъ видитъ правыхъ...

Наконецъ, толпа людей въ сѣрыхъ шинеляхъ вывалилась въ сѣни и, прозвенѣвъ тамъ шпорами, исчезла. Послѣднимъ вышелъ Рыбинъ, онъ окинулъ Павла внимательнымъ взглядомъ темныхъ глазъ, задумчиво сказалъ:

— Н-ну... прощайте!

И, покашливая въ бороду, неторопливо вышелъ въ сѣни.

Заложивъ руки за спину, Павелъ медленно ходилъ по комнатѣ, перешагивая черезъ книги и бѣлье, валявшіяся на полу, и говорилъ угрюмо:

— Видишь, какъ это дѣлается?.. Меня оставили...

Недоумѣнно разсматривая развороченную комнату, мать тоскливо прошептала:

— Зачѣмъ Николай грубилъ ему?..

— Испугался, должно быть...—тихо сказалъ Павелъ.—Да... съ ними нельзя говорить... ничего нельзя!..

— Пришли, схватили, увели...—бормотала мать, разводя руками.

Сынъ остался дома, сердце ея стало биться спокойнѣе, а мысль стояла неподвижно передъ фактомъ и не могла обнять его.

— Насмѣхается этотъ желтый, грозитъ...

— Хорошо, мать!—вдругъ рѣшительно сказалъ Павелъ.—Давай, уберемъ все это...

Онъ сказалъ ей мать и ты, какъ говорилъ только тогда, когда вставалъ ближе къ ней. Она подвинулась къ нему, заглянула въ его лицо и тихонько спросила:

— Обидѣли тебя?..

— Да! — отвѣтилъ онъ. — Это противно... тяжело!.. Лучше бы съ ними...

Ей показалось, что у него на глазахъ слезы, и желая утѣшить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнувъ, сказала:

— Погоди... возьмутъ и тебя!..

— Возьмутъ!—отозвался онъ.

Помолчавъ, мать грустно замѣтила:

— Экій ты, Паша, суровый! Хоть бы ты когда-нибудь утѣшилъ меня... А то — я скажу страшно, а ты еще страшнѣе.

Онъ взглянулъ на нее, подошелъ и тихо проговорилъ:

— Не умѣю я, мама! Не могу я лгать... Надо тебѣ привыкнуть къ этому.

Она вздохнула и, помолчавъ, заговорила, сдерживая дрожь страха:

— А вдругъ они пытаютъ людей? Рвутъ тѣло, ломаютъ косточки... Какъ подумаю я объ этомъ... Паша, милый, страшно!..

— Они рвутъ душу, а не тѣло, мнѣ кажется... Это больнѣе—когда хватаютъ душу грязными руками...

X.

... На другой день стало извѣстно, что арестованы Букинъ, Самойловъ, Сомовъ и еще пятеро. Вечеромъ къ нимъ забѣгалъ Федя Мазинъ—у него тоже былъ обыскъ и, довольный этимъ, онъ чувствовалъ себя героемъ.

— Боялся, Федя?—спросила мать.

Онъ поблѣднѣлъ, лицо его заострилось, ноздри дрогнули.

— Боялся, что ударитъ офицеръ! Онъ чернобородый, толстый, пальцы у него въ шерсти, а на носу—черныя

очки и онъ точно—безглазый. Кричалъ, топалъ ногами! Въ тюрьмѣ сгною, говоритъ!.. А меня никогда не били, ни отецъ, ни мать, потому что я одинъ сынъ, они меня любили. Всѣхъ вездѣ бьютъ, а меня никогда...

Онъ закрылъ на мигъ глаза, сжалъ губы, быстрымъ жестомъ обѣихъ рукъ взбилъ волосы на головѣ и, глядя на Павла покраснѣвшими глазами, сказалъ:

— Если меня когда-нибудь ударятъ... я весь, какъ ножъ, воткнусь въ человѣка... зубами буду грызть... пусть ужъ сразу добьютъ!..

— Защищаться—твое право!—замѣтилъ Павелъ.

— Тонкій ты, худенькій!—воскликнула мать.—Куда тебѣ драться?

— Я буду!—тихо отвѣтилъ Федя.

Когда онъ ушелъ, мать сказала Павлу:

— Этотъ раньше всѣхъ сломится!..

Павелъ промолчалъ.

Черезъ нѣсколько минутъ дверь въ кухню медленно отворилась и вошелъ Рыбинъ.

— Здравствуйте!—усмѣхаясь молвилъ онъ.—Вотъ—я опять явился. Вчера привели, а сегодня—самъ пришелъ, да!—Онъ сильно потрясъ руку Павла, взялъ мать за плечо и спросилъ:

— Чаемъ напоишь?

Павелъ молча разсматривалъ его смуглое, широкое лицо, въ густой, черной бородѣ и темные, умные глаза. Въ ихъ спокойномъ взглядѣ свѣтилось что-то значительное и вся его крупная фигура располагала къ себѣ увѣренной стойкостью.

Мать ушла въ кухню ставить самоваръ. Рыбинъ сѣлъ, погладилъ бороду, и положивъ локти на столъ, окинулъ Павла темнымъ взглядомъ.

— Такъ вотъ! — сказалъ онъ, какъ бы продолжая прерванный разговоръ.—Мнѣ съ тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывалъ, прежде чѣмъ придти. Живемъ мы почти рядомъ, вижу—народу къ тебѣ хо-

дить много, а пьянства и безобразія нѣтъ. Это—первое. Если люди не безобразятъ, они сразу замѣтны—что такое? Вотъ. Потому и самъ я всѣмъ глаза намялъ, что живу въ сторонѣ, безъ пакостей...

Рѣчь его лилась тяжело, но свободно и въ ней звучали ноты, вызывающія довѣріе къ этому человѣку.

— Такъ. Заговорили всѣ про тебя. Мои хозяева зовутъ еретикомъ—въ церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потомъ бумажки явились, листки эти... Это ты ихъ придумалъ?

— Я!—отвѣтилъ Павелъ, не отводя глазъ отъ лица Рыбина. Тотъ тоже неотрывно смотрѣлъ ему въ глаза.

— Ужъ и ты!—тревожно воскликнула мать, выглядывая изъ кухни.—Не одинъ ты...

Павелъ усмѣхнулся. Рыбинъ тоже.

— Такъ!—сказалъ онъ.

Мать громко потянула носомъ воздухъ и ушла, немного обиженная тѣмъ, что они не обратили вниманія на ея слова.

— Листки — это хорошо придумано... Они народъ безпокоятъ... Девятнадцать было?

— Да!—отвѣтилъ Павелъ.

— Значитъ, всѣ я читалъ! Такъ. Есть въ нихъ непонятное, есть лишнее... ну, когда человѣкъ много говоритъ, ему словъ съ десятокъ и зря сказать приходится...

Рыбинъ улыбнулся, зубы у него были бѣлые и крѣпкіе.

— Потомъ обыскъ. Это меня расположило къ вамъ больше всего... И ты, и хохолъ, и Николай—всѣ вы обнаружились...

Не находя нужнаго слова, онъ замолчалъ, взглянулъ въ окно, постукалъ пальцами по столу.

— Обнаружили рѣшеніе ваше. Дескать ты, ваше благородіе, дѣлай свое дѣло, а мы будемъ дѣлать свое... Хохолъ тоже хорошій парень. Иной разъ слушаю я, какъ онъ на фабрикѣ говоритъ, и думаю—этого не со-

мнешь, его только смерть одолѣетъ. Жилистый человѣкъ! Ты мнѣ, Павелъ, вѣришь?

— Вѣрю!—сказалъ Павелъ, кивнувъ головой.

— Вотъ такъ. Гляди—мнѣ сорокъ лѣтъ, я вдвое старше тебя, въ двадцать разъ больше видѣлъ. Въ солдатахъ три года слишкомъ шагалъ, женатъ былъ два раза, одна жена померла, другую бросилъ. На Кавказѣ былъ, духоборцевъ знаю... Они, братъ, жизнь не одолѣютъ, нѣтъ!

Мать жадно слушала его крѣпкую рѣчь, и ей было пріятно видѣть, что, вотъ, къ сыну ея пришелъ пожилой человѣкъ и говоритъ съ нимъ, точно исповѣдуется. Но ей казалось, что Павелъ ведетъ себя слишкомъ сухо съ гостемъ, и чтобы смягчить его отношеніе, она спросила Рыбина:

— Можетъ, поѣсть хочешь, Михаилъ Ивановичъ?

— Спасибо, мать! Я поужиналъ. Такъ вотъ, Павелъ, ты, значитъ, думаешь, что жизнь идетъ незаконно?

Павелъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, заложивъ руки за спину.

— Она вѣрно идетъ!—говорилъ онъ.—Вотъ, она привела васъ ко мнѣ съ открытой душой. Насъ, которые всю жизнь работаютъ, она соединяетъ понемногу и все больше, будетъ время,—соединитъ всѣхъ! Несправедливо, тяжело построена она для насъ, но сама же и открываетъ намъ глаза на свой горькій смыслъ, сама указываетъ человѣку, какъ ускорить ея ходъ.

— Вѣрно. Но, погоди!—остановилъ его Рыбинъ.—Человѣка надо обновить—вотъ что я думаю! Если опаршивѣетъ человѣкъ—своди его въ баню,—вымой, надѣнь чистую одежду — выздоровѣетъ! Такъ? И если сердце опаршивѣло, сними съ него кожу, хотя бы съ кровью, омой, одѣнь во все новое—такъ? Какъ же изнутри очистить человѣка? Вотъ!

Павелъ заговорилъ горячо и рѣзко о Богѣ, о царѣ, о начальствѣ, о фабрикѣ, о томъ, какъ за границей рабочіе отстаиваютъ свои права. Рыбинъ порою улыбался,

порой ударялъ пальцемъ по столу, какъ бы ставя точку. Не однажды онъ восклицалъ:

— Такъ!

И разъ, засмѣявшись, тихо сказалъ:

— Э-эхъ, молодъ ты... Мало знаешь людей!

Тогда Павелъ, остановясь противъ него, серьезно замѣтилъ:

— Не будемъ говорить о старости и о молодости! Посмотримъ лучше чьи мысли вѣрнѣе.

— Значитъ, по твоему, и Богомъ обманули насъ? Такъ. Я тоже думаю, что религія наша фальшивая и вредная намъ...

Тутъ вмѣшалась мать. Когда сынъ говорилъ о Богѣ и обо всемъ, что она связывала съ своей вѣрой въ Него, что было дорого и свято для нея, она всегда искала встрѣтить его глаза, ей хотѣлось молча попросить сына, чтобы онъ не царапалъ ей сердце острыми и рѣзкими словами своего невѣрія. Но за невѣріемъ его, ей чувствовалась вѣра, и это успокаивало ее.

— Гдѣ мнѣ понять мысли его?—думала она.

Ей казалось, что Рыбину, пожилому человѣку, тоже непріятно и обидно слушать рѣчи Павла. Но когда Рыбинъ спокойно поставилъ Павлу свой вопросъ, она не стерпѣла и кратко, но настойчиво сказала:

— Насчетъ Господа—вы бы поосторожнѣе! Вы, какъ хотите... вамъ дѣла ваши зачтутся...—Переведя дыханіе она съ силой, еще бо́льшей, продолжала:—А мнѣ, старухѣ, опереться будетъ не на что въ тоскѣ моей, если вы Господа Бога у меня отнимете...

Глаза ея налились слезами. Она мыла посуду и пальцы у нея дрожали.

— Вы насъ не поняли, мамаша!—тихо и ласково сказалъ Павелъ.

— Ты прости, мать!—медленно и густо прибавилъ Рыбинъ и, усмѣхаясь, посмотрѣлъ на Павла.

— Забылъ я, что стара ты для того, чтобы тебѣ бородавки срѣзывать...

— Я говорилъ,—продолжалъ Павелъ,—не о томъ добромъ и милостивомъ Богѣ, въ котораго вы вѣруете, а о томъ, которымъ попы грозятъ намъ, какъ палкой... о Богѣ, именемъ котораго хотятъ заставить всѣхъ людей подчиниться злой волѣ немногихъ...

— Вотъ такъ, да!—воскликнулъ Рыбинъ, стукнувъ пальцами по столу.—Они и Бога подмѣнили намъ, они все, что у нихъ въ рукахъ, противъ насъ направляютъ! Ты помни, мать, Богъ создалъ человѣка по образу и подобію своему,—значитъ, онъ подобенъ человѣку, если человѣкъ ему подобенъ! А мы не Богу—подобны стали, но дикимъ звѣрямъ. Въ церкви намъ пугало показываютъ. Очистить надо Бога! Въ ложь и въ клевету одѣли Его, исказили лицо Ему, чтобы души намъ убить!..

Онъ говорилъ тихо, но какъ-то особенно внятно, каждое слово его рѣчи падало на голову матери мягкимъ и тяжелымъ, оглушающимъ ударомъ. И его лицо, въ черной рамѣ бороды, большое, траурное, пугало ее. Темный блескъ глазъ былъ невыносимъ, онъ будилъ тоску и ноющій страхъ въ сердцѣ.

— Нѣтъ, я лучше уйду!—сказала она, отрицательно качая головой. -Слушать это—нѣтъ моихъ силъ... не могу!

И быстро ушла въ кухню, сопровождаемая словами Рыбина:

— Вотъ оно, Павелъ! Не въ головѣ, а въ сердцѣ—начало!.. Это есть такое мѣсто въ душѣ человѣческой, на которомъ ничего другого не выростетъ...

— Только разумъ!—твердо сказалъ Павелъ.—Только разумъ освободитъ человѣка!

— Разумъ силы не даетъ!—возражалъ Рыбинъ, громко и настойчиво.—Сердце даетъ силу, а не голова, вотъ!

Мать раздѣлась и легла въ постель не молясь. Ей было холодно, непріятно. И Рыбинъ, который показался

ей сначала такимъ солиднымъ, умнымъ, теперь возбуждалъ у нея глухую вражду.

— Еретикъ! Смутьянъ! — думала она, слушая его ровный голосъ, гулко переливавшійся въ широкой, выпуклой груди...—Тоже, пришелъ... понадобилось!

А онъ говорилъ, увѣренно и спокойно:

— Свято мѣсто не должно быть пусто. Тамъ, гдѣ Богъ живетъ—мѣсто наболѣвшее... и ежели выпадетъ онъ изъ души—рана будетъ въ ней—вотъ! Надо, Павелъ, вѣру новую придумать... надо сотворить Бога—для всѣхъ, не судью, не воина, а Бога—друга людей!

— Вотъ—былъ Христосъ!—воскликнулъ Павелъ.

— Погоди! Христосъ былъ не твердъ духомъ... Пронеси, говоритъ, мимо меня чашу... И кесаря признавалъ... Богъ не можетъ признавать власти человѣческой надъ людьми, Онъ есть—вся власть! Онъ душу свою не дѣлитъ: это—божеское, это—человѣческое... если онъ сошелъ утвердить божеское—ему не надо ничего человѣческаго. А онъ—торговлю признавалъ... и бракъ признавалъ... И смоковницу проклялъ онъ неправильно... развѣ по своей волѣ не родила она? Душа тоже не по своей волѣ добромъ неплодна... самъ ли я посѣялъ злобу въ ней? Вотъ!

Въ комнатѣ непрерывно звучали два голоса, какъ бы обнимаясь и борясь другъ съ другомъ въ захватывающей, возбужденной игрѣ. Быстро шагалъ Павелъ, скрипѣлъ полъ подъ его ногами. Когда онъ говорилъ, всѣ звуки тонули въ его рѣчи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голосъ Рыбина,—былъ слышенъ стукъ маятника и тихій трескъ мороза, щупавшаго стѣны дома острыми когтями.

— Скажу тебѣ по-своему, по-кочегарски: Богъ—подобенъ огню. Такъ! Онъ ничего не укрѣпляетъ, не можетъ... Онъ жгетъ и плавитъ, когда освѣщаетъ... Онъ сожигаетъ церкви, а не строитъ ихъ. Живетъ онъ въ сердцѣ. Сказано—Богъ—слово, а слово есть—Духъ...

— Разумъ!—настойчиво сказалъ Павелъ.

— Такъ! Значитъ—Богъ въ сердцѣ и въ разумѣ, а не въ церкви! Въ томъ и горе, и скорбь, и все несчастіе человѣковъ—оторваны всѣ мы стали сами отъ себя! Откинуто сердце отъ разума и разумъ отошелъ... Не единъ человѣкъ... Богъ соединяетъ человѣка во единое, круглое... Богъ всегда создаетъ круглое, такова земля и всѣ звѣзды, и все видимое... Острое—человѣкомъ сдѣлано... Церковь же—могила Бога и человѣка...

Мать заснула и не слышала, когда ушелъ Рыбинъ.

Но онъ сталъ приходить часто и если у Павла былъ кто-либо изъ товарищей, Рыбинъ садился въ уголъ и молчалъ, лишь изрѣдка говоря:

— Вотъ такъ!

А однажды, глядя на всѣхъ изъ угла темнымъ взглядомъ, онъ угрюмо сказалъ:

— Надо говорить о томъ, что есть, а что будетъ—намъ неизвѣстно, вотъ! Когда народъ освободится, онъ самъ увидитъ какъ лучше. Довольно много ему въ голову вколачивали, чего онъ не желалъ совсѣмъ... будетъ... Пусть самъ сообразитъ. Можетъ онъ захочетъ все отвергнуть... всю жизнь и всѣ науки, можетъ онъ увидитъ, что все противу него направлено... какъ, примѣрно, Богъ церковный... Вы только передайте ему всѣ книги въ руки, а ужъ онъ самъ отвѣтитъ—вотъ. Только понялъ бы онъ, что чѣмъ хомутъ туже, тѣмъ работать хуже...

Но если Павелъ былъ одинъ, они тотчасъ же вступали въ безконечный, всегда спокойный споръ и мать, тревожно слушая ихъ рѣчи, молча слѣдила за ними, стараясь понять, что̀ говорятъ они. Порою ей казалось, что широкоплечій, чернобородый мужикъ и ея сынъ, стройный, крѣпкій—оба ослѣпли. Во тьмѣ и въ этой маленькой комнаткѣ, они тычутся изъ стороны въ сторону въ поискахъ свѣта и выхода, хватаются за все сильными, но слѣпыми руками, трясутъ, передвигаютъ съ мѣста на мѣсто, роняютъ на полъ и давятъ упавшее

ногами. Задѣваютъ за все, ощупываютъ каждое и отбрасываютъ отъ себя, спокойные, не теряющіе ни вѣры, ни надежды...

Они пріучили ее слышать множество словъ, страшныхъ своей прямотой и смѣлостью, и эти слова уже не давили ее съ той силой, какъ первый разъ,—она научилась отталкивать ихъ отъ ушей. И порой, за словами, отрицавшими Бога, она чувствовала крѣпкую вѣру въ Него. Тогда она улыбалась тихой и мудрой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбинъ, какъ и раньше, не нравился ей, но уже не возбуждалъ вражды къ себѣ...

Разъ въ недѣлю она носила въ тюрьму бѣлье и книги для хохла; однажды ей дали свиданіе съ нимъ и, придя домой, она умиленно разсказывала:

— Онъ и тамъ какъ дома. Со всѣми ласковый, всѣ съ нимъ шутятъ. Точно у него въ сердцѣ всегда праздникъ. Трудно ему, тяжело, а показать не хочетъ...

— Вотъ такъ и надо!—замѣтилъ Рыбинъ.—Мы всѣ въ горѣ, какъ въ кожѣ... горемъ дышимъ, горемъ одѣваемся... Но хвастаться тутъ нечѣмъ... Не у всѣхъ глаза выколоты, иные сами ихъ закрываютъ... вотъ. А коли глупъ—терпи!..

(*Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ*).

СКИТАЛЕЦЪ.

ЧЕТВЕРО.

Д. АЙЗМАНЪ.

СЕРДЦЕ БЫТІЯ.

Д. Айзманъ. Сердце Бытія.

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.

I.

... Руки поднимались кверху, и большіе, тяжелые кулаки съ крѣпко зажатыми въ нихъ бутылками и осколками бутылокъ гулко били по окровавленнымъ физіономіямъ, по плечамъ, по груди. Стояли крики, рычаніе и дикій вой тупыхъ, большихъ животныхъ, которымъ причиняютъ боль, и которыя охвачены жаждой мести и крови. Переплелись тѣла, тяжело дышавшія, спутались руки, сшибались звѣриные, полные бѣшенства голоса, и непонятно было, кто кого бьетъ, кто разнимаетъ, кто обидчикъ, и кто страдаетъ. И трудно было опредѣлить,—десять ли человѣкъ схватились, пятнадцать ли; только чувствовалось ясно, что всѣ остальные, находившіеся въ трактирѣ, люди колышутся и разгораются все сильнѣе, и вотъ-вотъ изъ простыхъ зрителей превратятся въ горячихъ участниковъ,—и тогда драка эта сразу превратится въ общее огромное побоище...

— Ахъ, анафемскіе!.. ахъ, проклятые!..—надрываясь, вопилъ хозяинъ трактира, высокій, сѣдой старикъ, благообразный, очень похожій на евангелиста Луку, спокойно смотрѣвшаго сверху, изъ угла, изъ-за кротко теплившейся лампадки, на людей, увѣчившихъ другъ друга.—Пошли вы, подлецы, на улицу, тамъ хоть головы себѣ посрывайте всѣ!..

А на улицѣ, внизу лѣстницы, заложивъ два пальца въ ротъ, пронзительно свисталъ какой-то мальчикъ, и

другой мальчикъ, съ засученными выше колѣнъ штанами, радостно, съ наслажденіемъ, призывалъ:

— Палиццыя... Палицццыя!..

Пестрая масса дравшихся, отталкиваемая трактирщикомъ и двумя-тремя охотниками изъ зрителей, подвигалась въ сторону, къ сѣнямъ, къ площадкѣ лѣстницы... Чья-то рука схватила стулъ,—и онъ началъ описывать быстрыя дуги надъ головами, и бить по головамъ... Громче и злѣе сталъ ревъ, ярче и чаще стало сверкать красное; топотъ ногъ сдѣлался такимъ густымъ и тяжелымъ, что, казалось, вбѣжало вдругъ въ трактиръ съ десятокъ большихъ ломовыхъ коней...

Благообразный трактирщикъ и его помощники продолжали напирать на дравшихся; масса тѣлъ изъ зала вывалилась въ сѣни и надвинулась къ самому краю лѣстничной площадки.

— Стопъ!.. Стопъ!..—взвился надъ общимъ ревомъ могучій, звонкій голосъ. — Свалитесь, черти, стопъ... внизъ полетите... Сбѣсились вы, что ли?.. Назадъ!..

Но уже было поздно.

Вся бурно трепетавшая куча людей подалась назадъ, инстинктивно сжалась и даже притихла; но по лѣстницѣ, на спинѣ, внизъ головой, уже скользилъ оступившійся человѣкъ, шорникъ Павлюкъ.

— Палиццыя!.. Палиццыя!..—восторженно визжалъ внизу голоногій мальчикъ.

Лѣстница была не крутая, но длинная, и въ два колѣна. Первыя десять-пятнадцать ступенекъ Павлюкъ скользилъ не быстро, и какъ-то степенно, дѣловито,—точно добровольно и обдумывая дѣлалъ нужное дѣло... Потомъ онъ заболталъ руками, стараясь за что нибудь ухватиться... Ухватиться не удалось. Большое тѣло Павлюка приняло косвенное направленіе, перевернулось, и понеслось съ чрезвычайной быстротой. Оно гулко тяпнуло на узенькую площадку при заворотѣ лѣстницы, и потомъ, стукая объ стѣны, покатилось дальше.

— Голубчики... родненькіе...—разостлалось въ воздухѣ замирающее, жалобное, почти дѣтское причитаніе шорника.

Теперь массивный корпусъ его уже не скользилъ, а катился быстро, переворачиваясь, какъ толстый валъ въ большой машинѣ; и отъ быстрыхъ оборотовъ оно странно пестрѣло синими и красными пятнами,—„голланки“ и залитаго кровью лица.

— Палицыя!.. Палиц...

Но мальчикъ не окончилъ.

Тѣло Павлюка, докатившись до самаго низа, сильно ударило его сзади по голымъ икрамъ. Тоненькая, щуплая фигурка мальчишки вся всколыхнулась, колѣни согнулись, и мальчикъ, какъ подрубленный, повалился на спину, поперекъ лежавшаго безъ движенія, безмолвнаго, бездыханнаго Павлюка...

Впрочемъ, дѣло мальчугана было уже сдѣлано, и полиція, въ лицѣ здоровеннаго, мордастаго городового, уже подбѣгала къ трактиру.

Съ верху, съ мѣста, гдѣ дрались, тоже бѣжали люди, перепуганные, съ разбитыми физіономіями... Сдержанно галдящимъ кольцомъ обступили они Павлюка.

— Двохъ убили!.. Человѣка, мальчика!.. Ахъ, сукины сыны!..—начальственно и съ достоинствомъ сказалъ городовой.—Погибели на васъ, на изверовъ, нѣту.

Увѣренность, что Павлюкъ мертвъ, страхъ отвѣтственности, волокиты, сдѣлали то, что первыя мгновенія толпа была подавлена. Но, когда убѣдились, что шорникъ не убитъ и дышетъ, всѣ вдругъ оживились и загалдѣли громко. Сталъ сбѣгаться народъ съ улицы, изъ сосѣднихъ домовъ. Волновались, ругали кого-то, кому-то угрожали, и на перебой предлагали разныя средства приведенія въ чувство Павлюка и мальчика...

— Воды, воды надо!—кричалъ похожій на евангелиста Луку трактирщикъ.—Бѣжите скорѣе до кранта, воды несите...

— Ничего съ воды съ твоей не будетъ,—сердито оттолкнула его старуха въ мужскомъ пальто, перепоясанномъ синей косынкой. — Вода... какая въ ей крѣпость, въ водѣ? Доканаете человѣка!.. Перцовкой надо! Нѣту ли перцовки?

Перцовки не было, но воду и обыкновенную водку уже принесли и пустили въ ходъ... Подошелъ бритый человѣкъ,—актеръ или лакей,—и сталъ говорить, что вода—хороша, и водка полезна, но теперь уже надо Павлюка „поднять до горы ногами и, какъ слѣдуетъ, потрусить,—отъ этого кровь придетъ въ обращеніе. Мальчика же трусить пока еще нельзя, а надо его“... Но тутъ мальчикъ открылъ вдругъ глаза, обвелъ ими всѣхъ присутствовавшихъ, минутку какъ бы подумалъ о чемъ-то, потомъ быстро вскочилъ на голыя и худыя ноги... Раздался громкій и дружный смѣхъ.

— И объ чемъ хлопотать!..—весело крикнула старуха въ мужскомъ пальто.—Сейчасъ и другой такимъ же родомъ... Вставай, ты, чортъ прѣлый!..

Но Павлюкъ не вставалъ, не шевелился, лежалъ, какъ мертвый; кровь струилась у него изо рта и растекалась по синей „голланкѣ“ и по землѣ...

— Ахъ, сукины сыны!—сзабоченно говорилъ городовой.—Погибели на васъ нѣту... Кликайте извозчика, въ больницу надо!

Городская больница была очень далеко, въ полѣ, за слободкой, и Павлюка повезли въ еврейскую больницу, до которой не было и полуверсты.

— Не шибко ѣзди!.. ишь, какъ кровь тикетъ!

Часть толпы двинулась за извозчикомъ. А голоногій мальчуганъ, который стоялъ въ сторонѣ и съ болѣзненной гримасой растиралъ себѣ обѣими руками ушибленные бока и задъ, сорвался вдругъ съ мѣста, понесся впереди всѣхъ, нагналъ извозчика и съ большимъ комфортомъ устроился на дрожкахъ сзади, на желѣзной жерди между колесами.

— Ишь, байстрюкъ!—весело хлопнулъ себя по бедрамъ евангелистъ-трактирщикъ. Онъ былъ доволенъ, что драка уже закончилась, и такъ благополучно, и чувствовалъ уже приливъ игривыхъ мыслей.

— Это онъ съ перцовки... Ему старуха дала...

... Когда Павлюкъ пришелъ въ себя, первымъ, что увидѣли его раскрывшіеся глаза, была толстая рожа городового, и первымъ, что услышали его уши, было:

— Погибели на васъ нѣту, на сукиныхъ сыновъ!

— Голубчики... родненькіе...—чуть слышно забормоталъ Павлюкъ.

Такой могучій, грубо и крѣпко сколоченный человѣкъ, бородатый, съ огромными ладонями, жесткими, точно копыта, съ чертами лица тяжелыми, какъ у первобытнаго обитателя лѣсовъ,—и хнычетъ, и лепечетъ, какъ обиженная дѣвочка. Сверканіе же крови на концахъ корявыхъ пальцевъ и на передѣ синей „голланки“ вызываютъ въ немъ острое вздрагиваніе, и отъ него еще жалобнѣе и трепетнѣе сдѣлалось визгливое причитаніе:

— Голубчики... родненькіе...

А когда лошадь остановилась у воротъ еврейской больницы, и увидѣлъ Павлюкъ, что вышли оттуда служители и стали хлопотать около него и снимать съ дрожекъ, онъ весь похолодѣлъ, задергался, сталъ всхлипывать и умоляюще стонать:

— Ахъ, Господи.... да какъ же это?.. Голлуббчики... не надо сюда... не надо сюда... не могу я... не надо...

Онъ отмахивался окровавленными руками, упирался всѣмъ ослабѣвшимъ тѣломъ своимъ, и въ глазахъ его былъ страхъ, жестокій, острый страхъ,—такой, отъ котораго гаснетъ душа, и черный холодъ влѣзаетъ подъ черепъ...

II.

Руки и ноги не были повреждены, черепъ тоже не раскололся, кожа была сорвана и вся голова обильно покрыта кровью. Но три ребра оказались переломанными, одно изъ нихъ воткнулось въ легкое, и поранило его. Это причиняло сильную боль, повышало температуру. Павлюкъ не могъ ни присѣсть, ни стоять, ни заснуть; почти не переставая, онъ тяжко стоналъ. Временами же, особенно ночью, онъ горько плакалъ, растерянно метался, вспоминалъ прошлое, далекое и близкое, вчерашній день,—особенно вчерашній день,—и еще тоскливѣе метался... Онъ палъ духомъ, у него не было надеждъ,—хотя докторъ увѣрялъ его, что опасности никакой нѣтъ,—темные страхи тѣснились въ душѣ, и смерть бѣлесоватой, мутной фигурой качалась на бѣлой стѣнѣ, передъ глазами, а ночью, когда въ палатѣ становилось тихо и больные спали, онъ слышалъ шопотъ ея, властно зовущій... Тогда онъ начиналъ плакать обильными слезами, торопливо крестился, крестилъ израненный бокъ и, вздыхая, одну за другой, трепетно шепталъ молитвы,—всѣ, какія могъ припомнить...

Утромъ же приходила фельдшерица, Клара Израилевна, высокая, печальная дѣвушка, уже не молодая, съ усталымъ лицомъ; приносила лѣкарства, ставила подъ мышку термометръ, разспрашивала, какъ проведена ночь, и говорила добрымъ голосомъ успокаивающія, добрыя слова. Улыбалась ласково, улыбался и Павлюкъ... Но онъ улыбался хмуро, какъ-то нерѣшительно и робко, и въ глазахъ у него мелькала растерянность и беззвучная мольба... Онъ смотрѣлъ на фельдшерицу, на товарищей по палатѣ, слушалъ, какъ переговариваются они по-еврейски, какъ молятся странными словами, ударяя кулакомъ въ грудь, напѣ-

вая со стономъ... Тогда, вспоминая прошлое, недавнее и далекое, и вчерашній день,—Павлюкъ недоумѣнно, въ глухой печали, начиналъ озираться направо, налѣво, и горько, съ мукой вздыхалъ... Злыя видѣнія проходили передъ нимъ, и злая тревога душила его...

Ему подкладывали подъ голову подушки, три штуки, и такъ какъ койка его была крайней, у окна, то, съ высоко поднятой на подушкахъ головой, онъ черезъ нижнія широкія стекла отчетливо видѣлъ большой больничный дворъ, очень опрятный, съ длинными аллеями нестарыхъ кленовъ и акацій. Мягко, но скорбно свѣтило осеннее солнце; умершіе листья, желтые и красные, уже лежали на землѣ, или медленно, съ послѣднимъ вздохомъ, падали на нее, и сквозь темные стволы деревьевъ сквозила бѣлымъ глухая стѣна мертвецкой,—одноэтажнаго флигелька съ черной аспидной крышей... Дальше, въ глубинѣ, были входныя ворота. Смотрѣлъ на нихъ Павлюкъ встревоженной душою и, близкій къ бреду, видѣлъ, какъ ломятся испуганные люди въ калитку... Еще и еще ломятся. Врываются, хоть и не впускаетъ ихъ привратникъ, а потомъ привратника ужъ нѣтъ, и все бѣгутъ люди, растрепанные, полуодѣтые, съ дѣтьми на рукахъ, бѣгутъ и стонутъ, сдавленные страхомъ, и плачутъ, и ломаютъ руки, и безумными воплями взываютъ къ Богу... Слышенъ трескъ, слышенъ вой, дикій хохотъ... Звенитъ стекло, съ грохотомъ стонетъ мебель,—и отъ этихъ звуковъ острѣе выраженіе ужаса на лицахъ людей, вбѣгающихъ въ больничный дворъ.

... Мечутся, несчастные, разбѣгаются, бѣгутъ въ палаты, заполняютъ корридоры, лѣстницы, сараи и погреба... И такъ много прибѣжало людей, что нѣтъ имъ мѣста среди стѣнъ, и вотъ стали они на дворѣ располагаться... Еще и еще прибѣгаютъ толпы,—мужчины, женщины, старцы, дѣвочки и дѣвушки, больные и калѣки; нѣкоторыхъ ведутъ подъ руки, нѣкоторыхъ вно-

сять на рукахъ... Обширный дворъ сдѣлался чернымъ отъ народу, всѣ длинныя аллеи густо набиты людьми... Но прибѣгаютъ съ искаженными лицами новые люди, и вдавливаются, втискиваются въ толпы. Нѣтъ мѣста, мѣста нѣтъ уже... Тѣ, которые устроились на землѣ, присѣли или прилегли, должны теперь встать; и больные, и дѣти, и немощныя старухи—всѣ должны потѣснiться, чтобы еще новые несчастные могли найти спасенiе...

... Еще и еще прибѣгаютъ люди. И сливаютъ свой ужасъ съ ужасомъ раньше пришедшихъ...

И когда жестокая ночь запѣла свою черно-кровавую пѣсню,—здѣсь, на больничномъ дворѣ, стояли десятки тысячъ людей, десятки тысячъ несчастныхъ счастливцевъ, укрывшихся отъ смерти. Смерть весело шла за стѣною; за ней, все поражая, шло разрушенiе: лилась кровь, отрубались руки живымъ, вырывались внутренности у труповъ, и младенцевъ били ломами по черепамъ...

Здѣсь же, за стѣною больницы, матери прижимали въ послѣдней надеждѣ дѣтей своихъ къ груди, и думали, что не придетъ сюда смерть, и кровь не прольется...

Думали... Но не вѣрили, и ждали смерти.

Такъ прошло три ночи и три съ половиною дня...

Гремѣли по улицамъ выстрѣлы,—и на больничномъ дворѣ знали, что это войска разстрѣливаютъ самооборону, что громилы стрѣляютъ въ женщинъ и дѣтей. И истерзанные голодомъ, безсонницей, холодомъ осеннихъ ночей, трепетомъ за жизнь свою, мукою за смерть чужую, стояли здѣсь, стояли вплотную, тѣсно прижавшись другъ къ другу, какъ соломинки въ снопѣ, многiя тысячи людей,—безъ слезъ уже стояли, безъ моленiя, надежду утративъ, дыханiе безумiя узнавъ...

И ждали.

Бѣлыя стѣны мертвецкой глухо сквозили въ разрѣ-

женной листвѣ, люди, ожидавшіе мученій и смерти, знали, что туда отнесутъ ихъ,—и не хватитъ тамъ мѣста для всѣхъ, и станутъ тогда окровавленные трупы и части труповъ складывать на землю рядами, длинными рядами, одинъ за другимъ...

.... Павлюкъ смотрѣлъ теперь круглыми глазами въ окно... Онъ зналъ, что это не бредъ. Онъ зналъ, что это воспоминанія... Онъ отворачивалъ голову отъ окна.

Весь красный былъ этотъ дворъ, и черными были аллеи.

Павлюкъ отворачивался и смотрѣлъ въ другую сторону,—вправо отъ себя.

Но вправо отъ него лежалъ Моисей, Моисей Кременецкій.

III.

Онъ былъ черный. Онъ былъ мрачный. Онъ былъ маленькій и однорукій. Онъ всегда молчалъ. Онъ мало шевелился и совсѣмъ не стоналъ. Его лицо, изсохшее, съ короткой, черной бородою, иногда все трепетно дергалось, перекашивалось и сжималось отъ жестокихъ болей, но онъ стискивалъ зубы и переносилъ все молча, не жалуясь, и никогда не просилъ лѣкарствъ,. успокаивающихъ средствъ. Онъ вообще ни о чемъ не просилъ, ему ничего не было нужно. Ѣсть ему тоже не было нужно. Если не придетъ фельдшерица, Клара Израилевна, и не станетъ кроткимъ голосомъ просить его поѣсть, онъ къ ѣдѣ не прикоснется. Но скажетъ только настойчивая фельдшерица два слова, и онъ тотчасъ возьметъ единственной рукой своей ложку и ѣстъ, пока не съѣстъ все, что принесли. И не изъ любви къ фельдшерицѣ слушается онъ, не изъ желанія сдѣлать Кларѣ Израилевнѣ пріятное,—онъ будетъ ѣсть, если станетъ просить любой изъ сосѣдей или служителей. Онъ подчиняется просьбѣ потому, что не хочетъ разговоровъ. Ему некогда отвѣчать, у него нѣтъ времени

слушать. Онъ погруженъ въ свои думы, въ свои большія заботы, и не нужно, чтобы его отвлекали,—ни ѣдой, ни бесѣдой, ни возней по лѣченію...

Изъ его большихъ, черныхъ глазъ не уходитъ выраженіе глубокой, напряженной сосредоточенности; видно, что мысль его безпрестанно стучится въ какую-то дверь. Тяжела дверь и глуха, и отклика нѣтъ... Онъ стучится, тоскливо прислушивается, припавъ ухомъ, и ждетъ... Случалось, что на лицѣ его промелькнетъ вдругъ что-то необычное: какъ будто отсвѣтъ далекаго гимна коснулся души, какъ будто видитъ она отзвуки далекаго неба, и чистые ароматы клубятся и идутъ на нее.

Идутъ...

Какъ будто...

Но уже погасъ тихій лучъ, и умеръ. Тусклыя тѣни снова легли на глаза, и опять, какъ раньше, налитъ сосредоточенный взоръ больною тревогой печали... Опять размышляетъ Кременецкій, упорно ищетъ, а то, что ищетъ онъ,—такъ безконечно далеко, и такъ неприступны дороги къ нему! Въ темныхъ провалахъ безбрежныхъ пространствъ скрытъ талисманъ, и забыты пути...

Отъ страннаго человѣка этого на Павлюка шла непрерывная волна страха,—такая тяжелая и холодная, что легче было шорнику смотрѣть на красный дворъ, чѣмъ на сосѣда. Но даже когда въ сторону смотрѣлъ Павлюкъ, близость таинственнаго человѣка угнетала и томила его, вызывала дикія мысли и представленія, и въ тѣ ночи, когда Павлюку не спалось, и сжигаемый лихорадкой, покорный жесткой власти невѣдомаго, онъ поворачивался къ спящему, его охватывала мелкая, торопливая дрожь, огненная и рвущая. И не могъ онъ вѣрить, что человѣкъ сидитъ здѣсь на койкѣ, а казалось ему, что продолженіе черной аллеи вошло сюда, и въ ней, вмѣсто деревьевъ, стоятъ черные гробы, и

крайній гробъ, самый черный и самый высокій, сталъ на койку,—и на койкѣ ждетъ...

— Мосей,—стоналъ тогда Павлюкъ, закрывая глаза,— Мосей!..

И среди тревожнаго дыханія спящихъ больныхъ раздавался въ ночи негромкій, сумрачный откликъ чернаго гроба:

— Ну?

Перестань быть мрачнымъ? Перестань быть чернымъ? Перестань быть безмолвнымъ, усни, не дави мнѣ виновную душу желѣзомъ беззвучныхъ угрозъ?

Что могъ сказать Павлюкъ?

Онъ не отвѣчалъ.

Безъ словъ лежалъ онъ на спинѣ, тихо вздрагивалъ, крестился торопливо и часто. Бѣлесоватый контуръ смерти уходилъ съ бѣлой стѣны и таялъ. А въ пылавшемъ мозгу больного рождались дикія слова бреда, вскипали дикія свалки призраковъ,—и змѣились по стѣнѣ дымящіеся потоки крови, дѣтской крови. И черный гробъ съ сосѣдней койки надвигался ближе, ближе...

Утромъ же приходила фельдшерица, Клара Израилевна, болѣзненная, немолодая дѣвушка съ усталымъ лицомъ, и печальнымъ голосомъ говорила:

— Вы плохо спали? Вы очень ослабѣли?

IV.

Ничего о Моисеѣ Кременецкомъ Павлюку не было извѣстно.

Лежалъ онъ съ нимъ вторую недѣлю, освѣщало ихъ одно и то же окно, одни и тѣ же люди объ нихъ заботились и за ними ухаживали, а чѣмъ болѣлъ сосѣдъ, давно ли боленъ, надѣется ли выздоровѣть и скоро выйти изъ больницы, — Павлюкъ не зналъ. Мальчикъ съ вытекшимъ лѣвымъ глазомъ, который лежалъ черезъ койку отъ Моисея, пришелъ, опираясь на

костыли, къ Павлюку и долго разсказывалъ о себѣ, о томъ, какъ напала на него банда черносотенцевъ и всего исколола ножами. Было одиннадцать ранъ, ушло страшно много крови, переломлена нога, и вытекъ глазъ, но Богъ, все-таки, не оставилъ, раны стали подживать, и смерть теперь уже не грозитъ, Богу слава!.. И сѣдой старикъ, Нейбергъ, сосѣдъ мальчика, тоже подходилъ къ Павлюку охотно, подробно, много разъ повторяясь, разсказывалъ про свою болѣзнь, воспаленіе червеобразнаго отростка... Изъ сосѣднихъ палатъ заходили больные поговорить о своемъ здоровьѣ и о ходѣ лѣченія. И только Моисей Кременецкій молчалъ, всегда, неизмѣнно,—и ничего, кромѣ того, что на животѣ у него рана, и что рану эту промываютъ, Павлюкъ не зналъ. Пробовалъ спросить Моисея,—тотъ не отвѣчалъ. Разузнать же у другихъ больныхъ было неудобно, такъ какъ Кременецкій изъ палаты не отлучался, а Павлюкъ тоже койки своей не покидалъ. Только къ концу второй недѣли пребыванія въ больницѣ Павлюкъ узналъ кое-что о своемъ сосѣдѣ.

— Вамъ хорошо бы на воздухъ,—сказала кроткимъ голосомъ своимъ фельдшерица Моисею.

Кременецкій посмотрѣлъ на нее, мрачно, задумчиво, пошевелилъ остаткомъ руки, торчавшимъ у лѣваго плеча, и коротко отвѣтилъ:

— Пойду.

Служитель въ синей рубашкѣ и бѣломъ передникѣ взялъ Моисея подъ руку и черезъ длинный корридоръ повелъ во дворъ, въ садъ. Тамъ, въ аллеѣ, больной медленно переступалъ, опираясь на служителя; солнце дружелюбно озаряло и бѣлизну его халата, и черноту его лица; и длинныя тѣни Кременецкаго и служителя медленно и беззвучно двигались по землѣ, неотступно, какъ нѣжныя матери. Моисей сидѣлъ потомъ на скамьѣ, на солнцѣ, довольно долго. Надъ нимъ тихо молились умиравшіе листья, желтые и крас-

ные; они падали, угасшіе, на него и около него, на землю,—и когда онъ вернулся въ палату, большой, уже навѣки умолкшій, листъ клена лежалъ застрявшій въ его волосахъ, свѣтился блескомъ стараго золота и, пятиконечный, былъ какъ ночная звѣзда... Лицо же Моисея было мрачнымъ и напряженнымъ, и—чернымъ...

— Когда жъ онъ психіатрическій! — съ сердцемъ и съ тайной болью говорилъ старикъ Нейбергъ, пока Кременецкій ходилъ въ саду.—Два раза былъ въ психіатрическомъ отдѣленіи... Ну, и больше ничего!..

— Ну по какому же случаю?—тоскливо и, чего-то боясь, спросилъ Павлюкъ.

— По какому случаю?.. Ну-ну?.. Вотъ тебѣ и вопросъ.—Нейбергъ съ досадой пожалъ плечами.

— Уже нѣту у человѣка случаю сойти съ ума?

Павлюкъ помолчалъ. Потомъ, присѣвъ, онъ съ тревогой спросилъ:

— Стало быть, — настояще?.. Въ сумасшедшемъ домѣ?

— Нѣтъ, въ городскомъ театрѣ!—огрызнулся старикъ.—Что онъ, графъ?.. Онъ—не графъ!.. Какъ заболѣлъ, то родные и отправили въ сумасшедшій домъ... Пересталъ ѣсть, пересталъ пить,—съ печальнымъ лицомъ, негромко, задумчиво, какъ бы для самого себя, говорилъ старикъ,—заниматься бросилъ,—онъ былъ учитель,—ни до чего не имѣлъ охоты, не говорилъ, не зналъ уже, что такое сонъ... Все себѣ думалъ про что-то, вотъ какъ и тепериче, а говорить не интересовался... Ну, впослѣдствіе же, вдругъ возьметъ, да какъ начнетъ говорить, такъ тремя тройками коней не удержишь... Про разное... А такъ, вообще, ротъ, какъ запечатанный... Когда жъ разстройство! — вскрикнулъ старикъ.

И онъ сталъ тыкать себя пальцемъ въ лобъ.

— Вотъ тутъ, вотъ!.. Психіатрическій!..

Павлюкъ не сводилъ съ Нейберга тоскливыхъ глазъ.

— А суды же какъ онъ попалъ?

— А вотъ такъ!

Нейбергъ нахмурился и замолчалъ. На столикѣ его были склянка съ микстурой, бѣлая чашка, вилка и ножъ, большая, взбухшая книга въ кожаномъ переплетѣ, и на ней очки въ желтой оправѣ. Старикъ сталъ заботливо передвигать эти вещи съ мѣста на мѣсто.

— А вотъ такъ, что разрѣзали ему животъ!.. Когда жъ онъ кислоты выпилъ... и надо ему полоскать желудокъ... и все... Вовсе не съ чего человѣку съ ума сойти! — ворчливо бормоталъ онъ. — Ого-го, сколько угодно...

Теперь Павлюкъ еще сильнѣе боялся Моисея. Онъ не хотѣлъ на него смотрѣть,—и смотрѣлъ. Онъ не хотѣлъ о немъ думать,—и думалъ... Онъ боялся постояннаго молчанія Моисея, боялся мрачной сосредоточенности его, и того боялся, что одна у Моисея рука. Слѣпой, суевѣрный страхъ давилъ его постоянно, и казался Кременецкій Павлюку чѣмъ-то вѣчно подкрадывающимся, угрожающимъ и безмѣрно опаснымъ, не человѣкомъ казался, но бѣглецомъ изъ угрюмой сказки, существомъ таинственнымъ, съ силой таинственной, съ дѣлами грозными.

Мозгъ у Павлюка былъ простой, душа несложная, мысли бѣдныя, тупыя. И все, что происходило теперь съ этимъ человѣкомъ,—его болѣзнь и его страхъ смерти, и то, что бросила его судьба къ евреямъ, въ больницу, въ эту самую больницу,—все это дѣйствовало на него возбуждающе и сильно... Онъ не понималъ... Онъ терялся... Онъ все теперь подозрѣвалъ и вездѣ видѣлъ знаменія. Глухое смятеніе колыхало его; онъ думалъ, что все это—возмездіе. За грѣхи, за прошлое... И онъ много думалъ о грѣхахъ.

Когда былъ онъ здоровъ и „на волѣ“, онъ хлопоталъ только о хлѣбѣ, о водкѣ, о дѣвкахъ Вѣрилъ или не вѣрилъ въ Бога—этого онъ самъ не зналъ, и себя

объ этомъ не спрашивалъ. Но въ церковь не ходилъ, на исповѣди не бывалъ, и надобности во всемъ этомъ не чувствовалъ. Когда приходилось,—для смѣху или отъ злости,—онъ кощунствовалъ, легко, свободно, глумился надъ Богомъ, надъ святыми. Теперь онъ вспоминалъ это, вспоминалъ многое другое,—свои дѣла, недобрыя, темныя,—и думалъ, что вотъ оно, пришло время расплаты... Оттого, что пришло время расплаты, оттого и сидитъ здѣсь на койкѣ этотъ черный, молчащій, однорукій Моисей... Въ смятенной душѣ тупо бродили спутанныя мысли о какомъ-то искупленіи, о жестокомъ возмездіи, зарождались покаянные порывы, приливали къ устамъ яркія слова страшныхъ признаній, и горѣли въ сердцѣ слезы... Хотѣлось молитвы, церковнаго пѣнія, блеска хоругвей и ризъ... и, жалобно плача, просила душа поддержки, ласки и кроткаго слова. Слова просила,—а молчаливъ и мраченъ, вѣчно мраченъ былъ Моисей Кременецкій, черный, изъ дома умалишенныхъ пришедшій человѣкъ,—человѣкъ ли?..

И ужъ чудились копыта и хвостъ, большіе, черные рога, глаза, красные, какъ зажженная кровь, и душилъ тяжкій запахъ сѣры... Павлюкъ отворачивался съ трепетнымъ стономъ. Когда же отворачивался, передъ глазами его выростало окно съ большими стеклами, и за нимъ — дворъ, весь красный и съ черными аллеями... Стоны Павлюка дѣлались тогда звонкими, гулкими, и такими мучительными, что старый Нейбергъ приподнимался на койкѣ, и черезъ безмолвнаго, вѣчно мрачнаго Моисея Кременецкаго, участливо, съ печальной нѣжностью, говорилъ:

— Боже мой, какъ вы страдаете!

* * *

Такъ лежалъ здѣсь Павлюкъ, въ ожиданіи смерти, сдавленный съ обѣихъ сторонъ тяжелыми видѣніями, ни при свѣтѣ, ни во тьмѣ не уходившими. Ихъ черныя

руки, ихъ мѣдныя когти тянулись къ нему все ближе и дерзновеннѣе, и онъ былъ одѣтъ мертвымъ дыханіемъ призраковъ.

V.

У него сдѣлался гнойный плевритъ; мѣшокъ съ жидкостью, образовавшійся на легкомъ, давилъ на легкое, затруднялъ дыханіе, и воздухъ въ грудь Павлюка не могъ проникнуть, и не могъ выйти изъ груди наружу. Когда больной лежалъ, онъ совсѣмъ задыхался, и только въ сидячемъ положеніи могъ кое-какъ дышать. Онъ сидѣлъ, обложенный подушками, и днемъ, и ночью; былъ блѣденъ, какъ эти подушки; ротъ его былъ широко раскрытъ и жадно, съ усиліемъ, глоталъ воздухъ.

Голубчики... родненькіе...—испуганно, хрипя, бормоталъ Павлюкъ, — и такъ онъ былъ жалокъ и несчастенъ, что, когда смотрѣли на него, плакало сердце.

— Помираю.. Конецъ это мнѣ... конецъ... — не то спрашивая, не то жалуясь, обращался онъ къ Кларѣ Израилевнѣ А когда фельдшерицы не было, съ этими же словами обращался къ человѣку, который ближе всѣхъ лежалъ, къ Моисею. Но тотъ не отвѣчалъ ему, хотя и смотрѣлъ въ его лицо своими черными глазами, и видъ онъ сохранялъ всегда задумчивый и углубленный.

Случился съ Павлюкомъ обморокъ, длительный и крѣпкій; послѣ него еще больше палъ духомъ больной. Теперь онъ зналъ уже навѣрное, что умираетъ; въ тоскѣ метался, раскидывалъ руками, вздыхалъ и тихо плакалъ. Онъ думалъ все о смерти, о Богѣ, о томъ, что было до рожденія, о томъ, что будетъ послѣ смерти. Неясныя были думы, безсвязныя и тусклыя; минутами онѣ приносили улыбку надежды, порою же затопляли мракомъ отчаянія...

Къ тому, что дѣлается теперь, къ своей боли, ко всему, что говоритъ докторъ, къ совѣтамъ и просьбамъ фельдшерицы, онъ сталъ относиться равнодушно, безразлично, почти такъ же безразлично, какъ и Моисей. Онъ постоянно былъ занятъ мыслью о смерти, думой о томъ, что будетъ въ могилѣ, на страшномъ судѣ, въ аду,—въ аду, отъ котораго ему не уйти... И хоть не желалъ онъ, но уносился мыслью въ прошлое, но изъ всего прошлаго ярче всего и чаще всего вставали въ душѣ три дня. Какъ три змѣи, были эти дни, съ глазами изъ огня, съ языками изъ огня, рыдающіе человѣческими голосами, и облитые человѣческою кровью... Онъ судорожно отмахивался отъ нихъ, стоналъ блѣднымъ, гаснущимъ стономъ, и опять проступали въ тусклыхъ глазахъ тусклыя слезы, и опять шептали омертвѣлыя губы разрозненныя слова давно забытыхъ молитвъ.

На шеѣ, на черномъ и липкомъ отъ пота шнуркѣ, висѣлъ у него желтый крестикъ. Павлюкъ стискивалъ его костенѣвшими пальцами и прижималъ къ губамъ... надежда не укрѣплялась... Но, казалось ему, что, если бы могъ онъ сойти съ постели, если бы сталъ на колѣни, передъ большой иконой, осіянной лампадой, и зарыдалъ бы громко, и билъ бы себя въ грудь, и лбомъ ударялъ бы въ землю, молясь,—Богъ, можетъ быть, и услышалъ бы молитву...

Услышалъ бы?

Нѣтъ! Не приметъ Богъ ни слезъ его, ни покаянія. Душѣ его спасенія не будетъ, ничѣмъ не смыть съ нея тяжкихъ грѣховъ, и надо итти туда, прямо туда, въ черноту, къ вѣчнымъ ужасамъ загробныхъ тѣснинъ. Надо итти!

... Все-таки, когда наступилъ вечеръ Рошъ-Гашана, новаго года, и на больницу, на домъ страданія и смерти, спустился невидимый, но всюду проникающій, нѣжный и грустный налетъ праздничнаго умиленія, — душа Павлюка затрепетала отъ страннаго ожиданія... Чужіе

— И ты, Мосей, помрешь... И всѣ...—Онъ приподнялся.—Молилися ваши... до Бога пошли, просить... Я, вотъ, безъ движенія... Ну ты же, Мосей, какъ?.. Не пошелъ ты въ молельню, а?..

— ...Поговорить бы, Мосей!—умоляюще прибавилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Я ничего не отвѣчу тебѣ!..—попрежнему быстро, точно желая отнять всякую надежду на разговоръ, вскрикнулъ Кременецкій. И тутъ же, не дѣлая и мгновенной паузы, продолжалъ:

— Да!.. Не пошелъ!.. Не пошелъ... Я въ молельню не пошелъ...—Онъ быстро поднялъ кверху свою единственную руку и указательнымъ пальцемъ ткнулъ въ потолокъ.—Сорокъ лѣтъ ходилъ!.. Я сорокъ шестой годъ хожу по свѣту, и сорокъ лѣтъ ходилъ въ молельню... Что я тамъ нашелъ?.. Что я тамъ видалъ?.. А?!

Онъ говорилъ это отрывисто, поспѣшно, громко, и было похоже, будто держитъ онъ подъ ступней длинную хрупкую жердь, проворно передвигая ее, отламываетъ куски, и кусками швыряетъ въ Павлюка...

— А?.. Что получилъ я въ молельнѣ?

Павлюкъ слушалъ Кременецкаго и нисколько не удивлялся тому, что сосѣдъ заговорилъ. Почему-то казалась ему эта внезапная словоохотливость Моисея обычной и естественной, совершенно естественной,— точно и до сихъ поръ часто, каждый день, разговаривалъ съ нимъ Кременецкій.

— Я много молился... И всѣ молились... И всѣ молятся... Молится земля... И что же получила она?

— А... а можетъ... простить... Господь... — прохрипѣлъ Павлюкъ.—Грѣхи... простить...

— Ага!.. Вотъ это тебѣ нужно!..—Въ черныхъ глазахъ Кременецкаго сверкнула насмѣшливая злоба.—Но не получишь... Утѣшенія... надежда... обѣщанія...—это будетъ!.. Но вѣдь совсѣмъ не это нужно... Нужно счастье... Покой нуженъ... Нужно не страдать!.. Но этого не по-

лучишь... Мы всѣ горимъ въ страданіяхъ... Послушай, ты—что? русскій?.. Ты кланяешься Кресту!.. А я кланяюсь Торѣ. А турокъ кланяется Корану... А китаецъ кланяется... постой... погоди-ка...

Кременецкій вдругъ сморщился, стянулъ брови, и все лицо его выразило крайнее напряженіе. Онъ что-то припоминалъ... Онъ торопливо похлопалъ себя ладонью по темени, и точно ждалъ, что вытолкнетъ изъ головы запутавшуюся и нужную мысль...

— Я забылъ... я не знаю...—протяжно, жалобно проговорилъ онъ.—Я забылъ, кому поклоняется китаецъ... Но это ничего!—встрепенулся онъ вдругъ.—Китаецъ имѣетъ свою святыню. И отъ нея получаетъ онъ свою надежду и обѣщанія... То есть, отъ нея получаетъ онъ свою ложь... Послушай, ты,—я скажу тебѣ!.. Я все скажу... Хочешь ко мнѣ въ помощники?

Послѣднія слова Кременецкій произнесъ шопотомъ, впиваясь въ Павлюка вспыхнувшими тревожной страстью глазами.

— Мнѣ нуженъ помощникъ... Одинъ я не въ силахъ... Я уже вижу, что одинъ я не смогу... И если хочешь мнѣ помочь, я все открою тебѣ, и ты узнаешь все...

Кременецкій выжидательно умолкъ, а Павлюкъ, всхлипывая, произнесъ:

— Смерть моя... помираю...

— Это ничего, это ничего!..—заторопился Кременецкій.—Мертвый тоже можетъ... И если только ты согласишься, я все тебѣ объясню... Слушай!..—Онъ проворно передвинулся къ краю койки и всѣмъ тѣломъ перегнулся впередъ.—Ты вѣдь знаешь, жизнь мучительна!.. Проклята жизнь на землѣ!.. Жестокостью она обвѣяна и вся облита кровью...

— Мосей... про кровь... ты про кровь... не надо...

— Кровью!.. Кровью!.. Залита кровью!.. До самаго подбородка своего облита жизнь кровью... Зачѣмъ скры

вать?.. Или ты не зналъ?.. Не знаешь!.. Такъ я скажу: года еще нѣтъ, кровавая губка-земля еще и одного оборота около солнца не сдѣлала съ тѣхъ поръ!.. Я зла не дѣлалъ... Я училъ... Я маленькихъ людей Божьему слову училъ... А люди пришли ко мнѣ, разорвали мои вещи, мои книги, мои тетради, и убили мою семью... Года еще нѣтъ!.. Убили всѣхъ моихъ дѣтей... Старшую дочь изнасиловали и убили... Меня за руки крѣпко держали и заставили смотрѣть, какъ ее, беременную, пять человѣкъ насилуютъ... Это жизнь, да!.. И когда изнасиловали, разрѣзали ей животъ и вырвали изъ живота младенца. И въ животъ положили пару калошъ. Да...

— Мосей!..

— А-а-а, это ужасъ!.. Но—это жизнь!.. Это она... ея образъ!.. И четырехъ другихъ дѣтей моихъ убили,— Шлему, восьмилѣтняго мальчика и трехъ дѣвочекъ... Вотъ жизнь!.. Это она!.. Ея образъ!.. Лицо ея!.. Дѣтей убили... А мнѣ,—когда я молилъ, и рыдалъ, и рвался спасать моихъ дѣтей, и къ моимъ дѣтямъ звалъ на помощь Бога,—мнѣ стали пилой пилить руку. Посадили на скамью, крѣпко меня держали и пилили руку... Черезъ рукавъ пилой пилили руку, пилили руку... Текла моя кровь, я видѣлъ, какъ текла она по тѣлу моему, и какъ на полъ падала она, на разрубленный животъ поруганной дочери моей, и на еще неродившееся, но уже раздробленное тѣльце внука моего, первенца ея... Это жизнь! Это она!.. Ея лицо!..

— Не надо, Мосей!..

Павлюкъ вытянулъ впередъ, въ зеленую пустоту, большую руку свою и ею точно отгонялъ отъ себя кипѣвшія слова Кременецкаго.

— Мосей... помираю вѣдь...

— Вотъ жизнь!.. Кто ее далъ?.. Небо?.. Богъ?.. Благая сила?..

Губы Кременецкаго крѣпко сжались межъ черными усами и черной бородой и презрительно скосились на-бокъ.

— Дурачье!.. Они такъ думаютъ... Они такъ вѣрятъ... Дурраччье!.. Но ты хочешь?..—голосомъ, внезапно упавшимъ до чуть слышнаго шопота, прохрипѣлъ Кременецкій.—Ты хочешь?..

И лицо его, и поза его небольшой, однорукой фигурки были какъ у осторожнаго и хитраго заговорщика, впервые открывающаго сообщнику главныя очертанія великаго и драгоцѣннаго плана...

— Пойдешь въ помощники?.. Такъ я разскажу тебѣ.. Вѣдь я былъ тамъ!..

Ухватившись единственной рукой за койку, онъ быстро откинулся всѣмъ корпусомъ назадъ, и на мгновеніе умолкъ.

— Вѣдь я видѣлъ!.. Я все узналъ!.. Они говорятъ, что я сошелъ съ ума. Но они дураки!.. Они люди... Они не знаютъ.. Но я вѣдь былъ тамъ... И я знаю!.. Они въ сумасшедшій домъ меня заперли, и думали, что я тамъ такъ и буду сидѣть, смирно буду сидѣть... Дурраччье!.. Человѣкъ, у котораго убиваютъ дѣтей, смирно не сидитъ. Человѣкъ, который видитъ лицо жизни, смирно сидѣть не можетъ, говорю я тебѣ!.. Я только видъ такой дѣлалъ, что сижу смирно!.. А на самомъ дѣлѣ... а на самомъ дѣлѣ... Ты никому не скажешь?.. Не выдашь?..

— Голубчики... родненькіе...

— Каждую ночь я снималъ наволоку съ моей подушки; я наполнялъ ее вздохами убитыхъ дѣтей моихъ и, какъ на воздушномъ шарѣ, поднимался вверхъ, и улеталъ... Я улеталъ, Павлюкъ!.. Въ глубины тайнъ улеталъ я, въ бездны непостижимаго, въ пространства дикости и жизни... Въ людскія души улеталъ я, и тамъ носился, въ мозгъ людской, въ его мечтанія, въ его дѣла... О, что видѣлъ я!.. И въ первую же ночь я триста милліардовъ двадцать восемь тысячъ пятьсотъ сорокъ одинъ милометръ сдѣлалъ... Вотъ!.. А одинъ милометръ

заключаетъ въ себѣ милліонъ километровъ... Порядочно, вѣдь, а?..

Кременецкій высокомѣрно прищурилъ лѣвый глазъ и единственной рукой своей подбоченился.

— Къ утру я вернулся... Я ничего никому не сказалъ!.. Я имѣлъ самый обыкновенный,—невинный видъ... Наволоку надѣлъ на подушку, на подушку легъ, и лежалъ на ней, какъ человѣкъ... Но, какъ только пробило полночь, я опять за свое... И сдѣлалъ тогда семьсотъ милліардовъ тридцать три милліона восемьсотъ пятнадцать тысячъ двѣсти сорокъ пять миллометровъ... Сложика съ прежнимъ!.. Ты понимаешь теперь, какъ далеко ушелъ я?.. Ну, а потомъ—еще и еще... Каждую ночь... Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ и шестнадцати дней... Среди міровъ, межъ планетъ, по млечнымъ путямъ, обгоняя кометы, заставляя сворачивать солнца, летѣлъ я на бѣлой наволокѣ своей, и небеса разрѣзалъ, и поглощалъ пространства... И, когда добрался до края краевъ, Павлюкъ... тогда... о!..

Кременецкій припалъ къ койкѣ плашмя, протянулъ впередъ руку, выпрямилъ указательный палецъ на ней, и, оскаливая подъ черными усами желтые зубы, и сверкая зелеными отблесками темныхъ глазъ, тихо, медлительно, съ выраженіемъ радостнаго ужаса, рычалъ:

— А-а-а-а!.. Я увидѣлъ его!.. Его... Сердце!.. страшное Сердце Бытія!..

Губы Моисея были стиснуты. Облитая бѣлымъ рукавомъ халата рука сильно тряслась въ мутномъ полумракѣ, и трясся указательный палецъ. Но лицо было неподвижно, какъ вырубленное въ скалѣ, и неподвижны были огромные глаза.

— Оно небольшое!..—вдругъ, вскочивъ, сказалъ Кременецкій.—Вотъ какое!..

И толстый, и указательный палецъ протянутой руки онъ сложилъ въ кружочекъ.

— Оно совсѣмъ маленькое .. Оно черное, какъ грѣхъ...

И идутъ отъ него во всѣ стороны нити... Къ солнцу, къ звѣздамъ, къ зелени полей, къ улыбкамъ неба. Къ звукамъ красокъ и къ молчанію цвѣтовъ, къ лучезарнымъ чувствамъ человѣка и къ звѣринымъ его страстямъ... А-а-а, всѣмъ управляетъ это страшное Сердце и всѣмъ двигаетъ. Все рождаетъ и всему оно законъ!.. Нѣтъ во вселенной шелеста и не можетъ быть въ ней атома, которые не были бы связаны съ проклятымъ Сердцемъ Бытія. И жизнь отъ него, и смерть отъ него, и радость, и боль, и стужа отчаянія, и пламя восторга... Все въ немъ, и отъ него все!.. И сторожитъ его—знаешь ли кто?—тоненькимъ фальцетомъ, прищурившись, вдругъ перебилъ себя Кременецкій.

— Кто сторожитъ? — полубезсознательно спросилъ Павлюкъ.

— Сторожитъ его русскій генералъ!.. Самый обыкновенный русскій генералъ... Вотъ такой, изъ манчжурскихъ полей... Ахъ, какъ близко, какъ безумно близко былъ я отъ Сердца Бытія!. Мнѣ нужно было только шагнуть, только протянуть вотъ эту, остающуюся мнѣ руку... Но...

Тихій скрежетъ стиснутыхъ зубовъ пронесся вдругъ въ палатѣ.

— Но старшій врачъ вошелъ! — поникнувъ черной головой, прошепталъ Кременецкій.

Въ голосѣ его, и на лицѣ его было страданіе. И мольба слышалась въ голосѣ, мольба безконечно виноватаго, преступнаго и сознающаго безмѣрную тяжесть своего преступленія человѣка, который ужъ и не смѣетъ просить пощады, но не просить ея не можетъ...

— Старшій врачъ... Строгій такой, пузатый человѣкъ, съ большой рыжей бородой... На груди раздвоенная... И я долженъ былъ вернуться, Павлюкъ!.. Ахъ, я долженъ былъ!.. Я открылъ въ наволокѣ клапанъ, спустился внизъ, и смирнехонько легъ на койку...

— И въ тотъ же день меня выписали!—со стономъ,

горестно качая головой, протянулъ Кременецкій.—Выписали!.. Они сказали, что мнѣ лучше... И наволока моя осталась тамъ... и я не могу теперь... и невозможно уже теперь полетѣть къ этому Сердцу...

VI.

Павлюкъ лежалъ на спинѣ и тусклыми глазами смотрѣлъ на потолокъ. Раза два онъ дѣлалъ попытки подняться, сильно нажимая ладонями на кровать, по обѣимъ сторонамъ могучаго тѣла своего, но подняться не могъ. Онъ жалобно вздыхалъ и хрипѣлъ, и когда приступы удушья становились менѣе тяжкими, что-то быстро и тихо про себя бормоталъ, и, загибая пальцы, считалъ: одинъ, два, три, четыре...

Старый Нейбергъ спалъ и дышалъ спокойно и ровно, а мальчикъ съ вытекшимъ глазомъ, заметавшись на койкѣ, тихо, сквозь сонъ, засмѣялся... За окномъ стонали деревья, призывая другъ друга къ борьбѣ съ усиливающимся вѣтромъ. Они роняли послѣдніе листья,—своихъ безповоротно осужденныхъ на смерть дѣтей,—и, скорбно волнуясь, звонко и гнѣвно голосили среди ненастья и тьмы...

— И вотъ Сердце уцѣлѣло,—съ тоской прошепталъ Кременецкій.—И люди живутъ... Въ порокахъ, въ преступленіи, въ страданіи...

— А которые... которые по праведному,—съ усиліемъ сказалъ Павлюкъ.—Которые по Божьи... угодники если...

— Нѣту праведныхъ!.. И, главное, — нѣтъ не страдающихъ!.. Всѣ въ страданіи... Кто счастливъ на землѣ?.. Кто былъ счастливымъ?.. И кто имъ будетъ?.. Всѣ въ страданіи... Въ безмѣрномъ, безбрежномъ, бездонномъ страданіи—и въ страхѣ смерти всѣ!.. И всѣ умрутъ!.. И все умретъ!.. Вѣдь создало жизнь проклятое Сердце!.. Для утѣхи себѣ и ихъ жестокаго злорадства... О, и лукавое же оно!.. Оно знало, что нельзя жизнь сплести

изъ однѣхъ только мукъ! Нельзя человѣка погрузить въ сплошныя страданія: покончилъ бы съ собою человѣкъ!.. И вотъ оно обманами оплело Бытіе, и разсыпало человѣку блестки лжей... Лошади, которую кастрировали и навѣки спустили въ черноту шахтъ, бросаютъ охапку сѣна! Да!.. И даже пригоршню овса даютъ ей время отъ времени... А человѣку, навѣки брошенному въ черноту существованія, проклятое Сердце Бытія швыряетъ охапку обмановъ... Оно солнце зажгло ему въ небѣ, и звонъ морей развернуло внизу. Красоту создало, утѣхи искусства и сладость познанія. Блаженство страсти и свѣтъ надеждъ... Оттого прелесть женщины существуетъ, и смѣхъ дѣтей, экстазъ самоотверженія и упоеніе славы... Въ божественности грезъ купаемъ усталую душу, и на сочиненныя религіи опирается она... Да!.. Средь призраковъ гаснущихъ кружится человѣкъ, въ сверканіи лжи, въ обманномъ сіяніи мгновенныхъ усладъ.. Но смерть не умираетъ!.. Она всегда съ нимъ!.. И всегда страдаетъ онъ... Ему руку, какъ доску, пилятъ всегда, и у беременной дочери его вырубаютъ топоромъ дитя изъ утробы... Вотъ жизнь... Вотъ ея лицо!.. До самаго подбородка залита жизнь кровью, до самыхъ глазъ... Ты видишь, вѣдь, кровь, Павлюкъ?.. Горячую кровь?.. Вѣдь жжетъ она тебя?.. Течетъ вѣдь кровь по тебѣ?.. Огненной, мокрой, красной змѣей обвиваетъ вѣдь душу твою эта жгучая кровь?..

— Про кровь... Мосей... про кровь... Ты слушай... Мосей...

Павлюкъ стоялъ передъ койкой сосѣда, огромный, тяжелый, въ бѣломъ, и на мертвенно-синемъ, распухшемъ лицѣ его, и въ круглыхъ, выпуклыхъ, бѣлыхъ глазахъ былъ трепетъ безумнаго ужаса.

— Мосей!.. — судорожно давясь звуками, обжигая себя ими, и на нихъ опираясь, говорилъ Павлюкъ. — Помираю... смерть мою вижу... Вотъ смерть... А кровь... Есть на мнѣ кровь...

Кременецкій поднялъ голову и сурово посмотрѣлъ на Павлюка.

— Кровь... течетъ она по мнѣ,—сказалъ Павлюкъ.— Крови... много на мнѣ...

Смерть дышала на него зеленымъ дыханіемъ спереди—въ лицо, и сзади—на открытый затылокъ, и на шею,—и онъ холодѣлъ, снизу вверхъ, и доходила уже стужа до бедеръ и до живота. Ноги уже не дрожали и окоченѣли, только верхняя часть огромнаго тѣла и лицо дергались въ мелкой и непрерывающейся судорогѣ.

— Пролилъ я кроеь четверыхъ... али сколько.. пятерыхъ можетъ... убилъ... Вашихъ убилъ... въ октябрѣ, въ прошломъ... Дѣвочку... махонькую... годовъ двѣнадцати.. изнасиловалъ... а потомъ... убилъ... Убилъ я дѣвочку...

... Спалъ, и попрежнему спокойно, какъ здоровое дитя, дышалъ старый Нейбергъ, а мальчикъ съ вытекшимъ глазомъ снова заметался и снова тихимъ смѣхомъ отвѣтилъ на милыя видѣнія, среди которыхъ бродилъ обновленный молитвою духъ его...

— Ты убилъ?.. — тихо и не спѣша спросилъ Моисей.—Четырехъ человѣкъ?.. Пять человѣкъ?..

— Сюда ихъ потомъ...—стоналъ Павлюкъ—въ больницу же ихъ и свозили... во двору складывали...

Кременецкій молчалъ. Онъ внимательно и печально смотрѣлъ на Павлюка.

— Ты изнасиловалъ дѣвочку?

Плакали и стонали деревья и, торжествуя побѣду, свирѣпо скрежетала зубами тьма среди нихъ.

— Ты не знаешь?..—тихо спросилъ Кременецкій,— ты не знаешь,—моихъ дѣтей не ты убилъ?..

И, еще помолчавъ, и, продолжая внимательно вглядываться въ Павлюка, онъ спокойно и, какъ бы о другомъ думая, сказалъ:

— Да... кажется... кажется... это ты пилилъ мнѣ руку... Или я ошибаюсь?..

... Павлюкъ уже лежалъ. Онъ видѣлъ, какъ тутъ же, на койкѣ, у изголовья, сидитъ смерть.

Смерть каждую ночь бродила по больницѣ и когонибудь уводила изъ нея. Теперь она зашла за Павлюкомъ. Она сидѣла на койкѣ его, положивъ ногу на ногу, и кулакомъ подперла голую челюсть. Она была сѣроватая, бѣдно отсвѣчивала, какъ слюда въ ноябрьскій день, и мѣстами вспыхивали на ней и перебѣгали, исчезая, зеленоватыя полоски. Она сидѣла и думала, спокойная и угрюмая. А около нея стоялъ Кременецкій и, сверкая глазами, быстрымъ, страстнымъ шопотомъ, размахивая единственной рукой, весь корчась, трепетно говорилъ Павлюку:

— Я не убью тебя!.. Я мстить не стану!.. Зачѣмъ месть?.. Она тоже отъ проклятаго Сердца Бытія!.. Но ты помоги мнѣ найти мою наволоку... Помоги мнѣ наполнить ее вздохами убитыхъ дѣтей моихъ... И я полечу туда... Я знаю дорогу... Одинъ я знаю ее!.. Ахъ, теперь я знаю, что я туда полечу... Когда я въ этомъ усомнился, когда меня изъ сумасшедшаго дома выписали, и отняли у меня мою наволоку,—ты знаешь,—я впалъ въ такое отчаяніе, что выпилъ сѣрной кислоты... Меня привезли тогда сюда, мнѣ разрѣзали животъ и стали мыть мнѣ кишки и желудокъ... О, это хорошо, что они меня спасли!.. Теперь я ихъ спасу... Я все спасу!.. Я полечу туда, къ проклятому Сердцу!.. Ты знаешь?.. Ты понимаешь?.. Ты видишь это?.. Я все разрушу, я уничтожу все!.. Сожму единственной рукой моей проклятое Сердце Бытія и оборву всѣ его нити!.. Я уничтожу все!.. Ни птицы въ облакахъ, ни гада въ болотѣ, ни цвѣтка на стеблѣ, ни стебля на землѣ!.. И самой земли не будетъ... Я все убью!.. Я убью красоту, и любовь, и лгущую правду. Сіяніе молитвы и благовѣстъ свободы!.. Всѣ приманки и все, что лжетъ... Погибнетъ все! Погибнетъ все!.. Нѣтъ солнца въ небѣ, и высохъ на землѣ океанъ... И самой земли уже нѣтъ.

Я убилъ ее... И самой смерти уже нѣтъ,—я убилъ ее!.. И она сама сгинетъ, ибо нечего будетъ ей жрать... Конецъ страданію!.. Гнусному пиру Сердца Бытія навѣки конецъ!..

И, упавъ на колѣни и прильнувъ щекой къ холодной рукѣ Павлюка, Кременецкій въ мукѣ молилъ:

— Но ты поможешь мнѣ?.. Ты мнѣ поможешь ли?..

Старикъ Нейбергъ отъ шума проснулся. Онъ поднялъ голову, осмотрѣлся, отвелъ сухой, старческой рукой свою длинную, желто-серебристую бороду и на глухіе, страдальческіе стоны Павлюка участливо, съ печальной нѣжностью, сказалъ:

— Боже мой, вы такъ страдаете?..

Смерть въ эту минуту встала съ койки Павлюка и тихо вышла изъ палаты.

VII.

Павлюкъ не умеръ.

Онъ сталъ поправляться.

Можетъ быть, вовсе и не была его жизнь въ такой опасности, какъ это ему казалось.

Онъ былъ мнителенъ, трусливъ, болѣть не привыкъ, а проявлялась болѣзнь въ формахъ такихъ тяжелыхъ и пугающихъ, что онъ считалъ себя безповоротно погибшимъ. Докторъ же всегда думалъ, что Павлюкъ выздоровѣетъ, и даже не былъ теперь особенно удивленъ, когда процессъ выздоровленія пошелъ съ большой быстротой...

... Уже совсѣмъ тихими стояли побѣжденныя деревья, и одѣвалъ ихъ по ночамъ искрящійся иней. Не въ радость былъ деревьямъ ихъ новый уборъ; они стояли молча, печально поникнувъ, погруженныя въ черную скорбь, въ нѣжныя воспоминанія о другихъ ночахъ, объ ароматныхъ ночахъ влюбленнаго лѣта... Молча сидѣлъ на своей койкѣ Кременецкій и, какъ деревья за окномъ, напряженно вспоминалъ... Вспоминалъ и обдумывалъ...

А Павлюкъ поправлялся.

И по мѣрѣ того, какъ возвращались къ нему силы, онъ становился шумнѣе и развязнѣе, смѣлѣе въ разговорѣ, менѣе деликатнымъ въ поступкахъ.

Появлялась у него требовательность, и она все возрастала, ему не нравилась теперь пища, не удовлетворялъ его уходъ. Замѣчанія свои онъ дѣлалъ рѣзко, безцеремонно, вообще становился грубоватымъ,—и съ одноглазымъ мальчикомъ, и съ другими больными; и даже кроткой фельдшерицѣ, Кларѣ Израилевнѣ, не оказывалъ прежняго уваженія. На Кременецкаго же смотрѣлъ исподлобья, съ глухой непріязнью, разговоровъ съ нимъ не заводилъ, и видимо даже избѣгалъ разговоровъ. Моисей тоже не вызывалъ ихъ, и весь ушелъ въ себя, въ свои далекія грезы.

Уже подумывалъ Павлюкъ о выпискѣ.

И, думая о ней, думалъ о дракѣ, которая привела его въ больницу, о пріятеляхъ, которые сбросили его съ лѣстницы. Сволочи, прохвосты, и расчетъ съ ними надо будетъ хорошій сдѣлать, съ арестантами.

Всѣ мысли Павлюка теперь принимали совсѣмъ новую окраску и новое направленіе, и были совсѣмъ не тѣ, какія были во время остраго періода болѣзни. Онъ ужъ не думалъ о Богѣ, о божественномъ, о страшномъ судѣ, о покаяніи. Крѣпло здоровье, новой кровью наливалось тѣло, и новой грубостью и цинизмомъ обростала душа. Мысли Павлюка были о земномъ, о томъ, что всегда до краевъ заполняло его жизнь,—о мелкомъ и грязномъ, и о жестокомъ... Кипѣла въ немъ злоба, когда онъ вспоминалъ о дракѣ, и жажда расправы томила, онъ мысленно разражался свирѣпой бранью, и съ горячностью клялся, много разъ въ день, что, какъ только выйдетъ изъ больницы, разыщетъ всѣхъ, кого надо,—и отомститъ, отомститъ страшно. Все разнесетъ. Всѣмъ попомнитъ. И ужъ кого-кого, а Гришку Молокана и Акульку Козлоногую живыми изъ

рукъ его не вырвутъ. Сволочь, такъ сволочь, и смотрѣть на сволочь нечего!..

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ дня ухода... И когда день этотъ наступилъ, Павлюкъ и радовался сильно, и оторопь чувствовалъ... Что-то тревожило... что-то мутило...

Ему принесли его одежду,—штаны, синюю „голланку“, на которой были большія, темныя пятна,—слѣды крови, и тяжелые сапоги, со строченными голенищами. Пока онъ надѣвалъ ихъ, старый Нейбергъ, которому въ этотъ день было особенно плохо, съ ласковой нѣжностью говорилъ:

— Ну вотъ вы, слава Богу, и выздоровѣли, и уходите отседова... Уй-уй-уй, какъ вы страдали!.. Нехай вамъ Богъ избавитъ въ другой разъ!

Павлюкъ сквозь зубы поблагодарилъ. А на Кременецкаго не смотрѣлъ, и взглянуть не рѣшался... Тревожило что-то...

Но когда все уже было сдѣлано, Павлюкъ одѣлся и надо было уходить,—онъ быстро приблизился къ Моисею и, въ упоръ на него глядя, тихо, внушительно сказалъ.

— Слухай... тамъ говорилъ я что когда... или не говорилъ... враки это все... А ты языкомъ не очень старайся!..

Моисей молчалъ, спокойный и углубленный.

— Не очень, между прочимъ, за вашего брата и ищутъ теперь,—также тихо и сурово продолжалъ Павлюкъ. — Да и какая тебѣ можетъ быть дана вѣра, когда ты психіатрическій... Ну все же,—сурьезно тебѣ говорю,—лучше ты помалкивай...

Моисей Кременецкій тихо и свѣтло улыбался. Онъ зналъ что-то... Онъ въ это утро узналъ вдругъ, что и здѣсь, и на этой койкѣ, есть у него наволока... Помощниковъ ему не надо. Послѣ полуночи, когда всѣ будутъ спать, онъ наполнитъ наволоку вздохами убитыхъ дѣтей своихъ, и полетитъ туда, къ Сердцу Бытія, и уничтожитъ его.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

ІУДА ИСКАРІОТЪ и ДРУГІЕ.

Л. Андреевъ. Іуда Искаріотъ и другіе.

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.

I.

Іисуса Христа много разъ предупреждали, что Іуда изъ Каріота—человѣкъ очень дурной славы, и его нужно остерегаться. Одни изъ учениковъ, бывавшіе въ Іудеѣ, хорошо знали его сами, другіе много слыхали о немъ отъ людей, и не было никого, кто могъ бы сказать о немъ доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Іуда корыстолюбивъ, коваренъ, наклоненъ къ притворству и лжи, то и дурные, которыхъ разспрашивали объ Іудѣ, поносили его самыми жестокими словами. Онъ ссоритъ насъ постоянно,—говорили они, отплевываясь; онъ думаетъ что-то свое, и въ домъ влѣзаетъ тихо, какъ скорпіонъ, а выходитъ изъ него съ шумомъ. И у воровъ есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецовъ есть жены, которымъ говорятъ они правду, а Іуда смѣется надъ ворами, какъ и надъ честными, хотя самъ крадетъ искусно, и видомъ своимъ безобразнѣе всѣхъ жителей въ Іудеѣ. Нѣтъ, не нашъ онъ, этотъ рыжій Іуда изъ Каріота—говорили дурные, удивляя этимъ людей добрыхъ, для которыхъ не было большой разницы между нимъ и всѣми остальными порочными людьми Іудеи.

Разсказывали далѣе, что свою жену Іуда бросилъ давно и живетъ она, несчастная и голодная, безуспѣшно стараясь изъ тѣхъ трехъ камней, что составляютъ помѣстье Іуды, выжать хлѣбъ себѣ на пропитаніе. Самъ же онъ много лѣтъ шатается безсмысленно въ народѣ

и доходилъ даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду онъ лжетъ, кривляется, зорко высматриваетъ что-то своимъ воровскимъ глазомъ, и вдругъ уходитъ внезапно, оставляя по себѣ непріятности и ссору—любопытный, лукавый и злой, какъ одноглазый бѣсъ. Дѣтей у него не было, и это еще разъ говорило, что Іуда дурной человѣкъ и не хочетъ Богъ потомства отъ Іуды.

Никто изъ учениковъ не замѣтилъ, когда впервые оказался около Христа этотъ рыжій и безобразный Іудей; но ужъ давно неотступно шелъ онъ по ихнему пути, вмѣшивался въ разговоры, оказывалъ маленькія услуги, кланялся, улыбался и заискивалъ. И то совсѣмъ привыченъ онъ становился, обманывая утомленное зрѣніе, то вдругъ бросался въ глаза и въ уши, раздражая ихъ, какъ нѣчто невиданно безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время онъ пропадалъ гдѣ-то у дороги,—а потомъ снова незамѣтно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, какъ одноглазый бѣсъ. И не было сомнѣнія для нѣкоторыхъ изъ учениковъ, что въ желаніи его приблизиться къ Іисусу скрывалось какое-то тайное намѣреніе, былъ злой и коварный расчетъ.

Но не послушалъ ихъ совѣтовъ Іисусъ; не коснулся Его слуха ихъ пророческій голосъ. Съ тѣмъ духомъ свѣтлаго противорѣчія, который неудержимо влекъ Его къ отверженнымъ и нелюбимымъ, Онъ рѣшительно принялъ Іуду и включилъ его въ кругъ избранныхъ. Ученики волновались и сдержанно роптали, а Онъ тихо сидѣлъ, лицомъ къ заходящему солнцу, и слушалъ задумчиво—можетъ быть ихъ, а можетъ быть и что-нибудь другое. Ужъ десять дней не было вѣтра и все тотъ же оставался, не двигаясь и не мѣняясь, прозрачный воздухъ, внимательный и чуткій. И казалось будто бы сохранилъ онъ въ своей прозрачной глубинѣ все то, что кричалось и пѣлось въ эти дни людьми, жи-

вотными и птицами—слезы, плачъ и веселую пѣсню, молитву и проклятія; и отъ этихъ стеклянныхъ застывшихъ голосовъ былъ онъ такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще разъ заходило солнце. Тяжело пламенѣющимъ шаромъ скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на землѣ, что было обращено къ нему: смуглое лицо Іисуса, стѣны домовъ и листья деревьевъ—все покорно отражало этотъ далекій и страшно задумчивый свѣтъ. Бѣлая стѣна уже не была бѣлою теперь, и не остался бѣлымъ красный городъ на красной горѣ.

И вотъ пришелъ Іуда.

Пришелъ онъ, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая впередъ свою безобразную бугроватую голову—какъ разъ такой, какимъ представляли его знающіе. Онъ былъ худощавъ, хорошаго роста, почти такого же, какъ Іисусъ, который слегка сутулился отъ привычки думать при ходьбѣ и отъ этого казался ниже; и достаточно крѣпокъ силою былъ онъ, повидимому, но зачѣмъ-то притворялся хилымъ и болѣзненнымъ, и голосъ имѣлъ перемѣнчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, какъ у старой женщины, ругающей мужа, досадно жидкій и непріятный для слуха; и часто слова Іуды хотѣлось вытащить изъ своихъ ушей, какъ гнилыя, шероховатыя занозы. Короткіе рыжіе волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный съ затылка двойнымъ ударомъ меча и вновь составленный, онъ явственно дѣлился на четыре части и внушалъ недовѣріе, даже тревогу: за такимъ черепомъ не можетъ быть тишины и согласія, за такимъ черепомъ всегда слышится шумъ кровавыхъ и безпощадныхъ битвъ. Двоилось такъ же и лицо Іуды: одна сторона его, съ чернымъ остро высматривающимъ глазомъ, была

живая, подвижная, охотно собиравшаяся въ многочисленныя кривыя морщинки. На другой же не было морщинъ и была она мертвенно гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величинѣ она равнялась первой, но казалась огромною отъ широко открытаго слѣпого глаза. Покрытый бѣлесой мутью, не смыкающійся ни ночью, ни днемъ, онъ одинаково встрѣчалъ и свѣтъ и тьму; но оттого ли, что рядомъ съ нимъ былъ живой и хитрый товарищъ, не вѣрилось въ его полную слѣпоту. Когда въ припадкѣ робости или волненія Іуда закрывалъ свой живой глазъ и качалъ головой, этотъ качался вмѣстѣ съ движеніями головы и молчаливо смотрѣлъ. Даже люди, совсѣмъ лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искаріота, что такой человѣкъ не можетъ принести добра, а Іисусъ приблизилъ его и даже рядомъ съ собою—рядомъ съ собою посадилъ Іуду.

Брезгливо отодвинулся Іоаннъ, любимый ученикъ, и всѣ остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Іуда сѣлъ—и двигая головою направо и налѣво, тоненькимъ голоскомъ сталъ жаловаться на болѣзни, на то, что у него болитъ грудь по ночамъ, что всходя на горы, онъ задыхается, а стоя у края пропасти, испытываетъ головокруженіе и едва удерживается отъ глупаго желанія броситься внизъ. И многое другое безбожно выдумывалъ онъ, какъ будто не понимая, что болѣзни приходятъ къ человѣку не случайно, а родятся отъ несоотвѣтствія поступковъ его съ завѣтами Предвѣчнаго. Потиралъ грудь широкою ладонью и даже кашлялъ притворно, этотъ Іуда изъ Каріота—при общемъ молчаніи и потупленныхъ взорахъ.

Іоаннъ, не глядя на учителя, тихо спросилъ Петра Симонова, своего друга:

— Тебѣ не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петръ взглянулъ на Іисуса, встрѣтилъ его взоръ и быстро всталъ.

— Подожди!—сказалъ онъ другу.

Еще разъ взглянулъ на Іисуса, быстро какъ камень, оторванный отъ горы, двинулся къ Іудѣ Искаріоту и громко сказалъ ему съ широкой и ясной привѣтливостью:

— Вотъ и ты съ нами, Іуда.

Ласково похлопалъ его рукою по согнутой спинѣ, и не глядя на учителя, но чувствуя на себѣ взоръ Его, рѣшительно добавилъ своимъ громкимъ голосомъ, вытѣснявшимъ всякія возраженія, какъ вода вытѣсняетъ воздухъ:

— Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: въ наши сѣти попадаются еще и не такія уродины, а при ѣдѣ-то они и есть самыя вкусныя. И не намъ, рыбарямъ Господа нашего, выбрасывать уловъ только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видѣлъ однажды въ Тирѣ осьминога, пойманнаго тамошними рыбаками, и такъ испугался, что хотѣлъ бѣжать. А они посмѣялись надо мною, рыбакомъ изъ Тиверіады, и дали мнѣ поѣсть его, и я попросилъ еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я разсказывалъ тебѣ объ этомъ и ты тоже смѣялся. А ты, Іуда, похожъ на осьминога—только одною половиною.

И громко захохоталъ, довольный своею шуткой. Когда Петръ что-нибудь говорилъ, слова его звучали такъ твердо, какъ будто онъ прибивалъ ихъ гвоздями. Когда Петръ двигался или что-нибудь дѣлалъ, онъ производилъ далеко слышный шумъ и вызывалъ отвѣтъ у самыхъ глухихъ вещей: каменный полъ гудѣлъ подъ его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздухъ пугливо вздрагивалъ и шумѣлъ. Въ ущельяхъ горъ его голосъ будилъ сердитое эхо, а по утрамъ на озерѣ, когда ловили рыбу, онъ кругло перекатывался по сонной и блестящей водѣ и заставлялъ улыбаться первые робкіе солнечные лучи. И вѣроятно они любили за это Петра: на всѣхъ другихъ лицахъ еще лежала ночная тѣнь, а его крупная голова, и широкая обна-

женная грудь и свободно закинутыя руки уже горѣли въ заревѣ восхода.

Слова Петра, видимо одобренныя учителемъ, разсѣяли тягостное состояніе собравшихся. Но нѣкоторыхъ, также бывавшихъ у моря и видѣвшихъ осьминога, смутилъ его чудовищный образъ, пріуроченный Петромъ столь легкомысленно къ новому ученику. Имъ вспомнились: огромные глаза, десятки жадныхъ щупальцевъ, притворное спокойствіе—и разъ!—обнялъ, облипъ, раздавилъ и высосалъ, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Іисусъ молчитъ, Іисусъ улыбается и исподлобья съ дружеской насмѣшкой смотритъ на Петра, продолжающаго горячо разсказывать объ осьминогѣ—и одинъ за другимъ подходили къ Іудѣ смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Іоаннъ Зеведеевъ упорно молчалъ, да Ѳома видимо не рѣшался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Онъ внимательно разглядывалъ Христа и Іуду, сидѣвшихъ рядомъ, и эта странная близость божественной красоты и чудовищнаго безобразія, человѣка съ кроткимъ взоромъ и осьминога съ огромными, неподвижными, тускло жадными глазами—угнетала его умъ, какъ неразрѣшимая загадка. Онъ напряженно морщилъ прямой, гладкій лобъ, щурилъ глаза, думая, что такъ будетъ видѣть лучше, но добивался только того, что у Іуды какъ будто и вправду появлялось восемь безпокойно шевелящихся ногъ. Но это было невѣрно. Ѳома понималъ это и снова упорно смотрѣлъ.

А Іуда понемногу осмѣливался: расправилъ руки, согнутыя въ локтяхъ, ослабилъ мышцы, державшія его челюсти въ напряженіи, и осторожно началъ выставлять на свѣтъ свою бугроватую голову. Она и раньше была у всѣхъ на виду, но Іудѣ казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта отъ глазъ какой-то невидимой, но густою и хитрой пеленою. И вотъ теперь,

точно вылѣзая изъ ямы, онъ почувствовалъ на свѣту свой странный черепъ, потомъ глаза—остановился—и рѣшительно открылъ все свое лицо. Ничего не произошло. Петръ ушелъ куда-то. Іисусъ сидѣлъ задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивалъ загорѣлой ногою; ученики разговаривали между собой и только Ѳома внимательно и серьезно разсматривалъ его, какъ добросовѣстный портной, снимающій мѣрку. Іуда улыбнулся—Ѳома не отвѣтилъ на улыбку, но видимо принялъ ее въ разсчетъ, какъ и все остальное, и продолжалъ разглядывать. Но что-то непріятное тревожило лѣвую сторону Іудина лица—оглянулся: на него изъ темнаго угла холодными и красивыми очами смотритъ Іоаннъ, красивый, чистый, не имѣющій ни одного пятна на снѣжно бѣлой совѣсти. И идя, какъ и всѣ ходятъ, но чувствуя такъ, будто онъ волочится по землѣ подобно наказанной собакѣ, Іуда приблизился къ нему и сказалъ:

— Почему ты молчишь, Іоаннъ? Твои слова, какъ золотыя яблоки въ прозрачныхъ серебряныхъ сосудахъ—подари одно изъ нихъ Іудѣ, который такъ бѣденъ.

Іоаннъ пристально смотрѣлъ въ неподвижный, широко открытый глазъ и молчалъ. И видѣлъ, какъ отползъ Іуда, помедлилъ нерѣшительно и скрылся въ темной глубинѣ открытой двери.

Такъ какъ встала полная луна, то многіе пошли гулять. Іисусъ также пошелъ гулять, и съ невысокой кровли, гдѣ устроилъ свое ложе Іуда, онъ видѣлъ уходившихъ. Въ лунномъ свѣтѣ каждая бѣлая фигура казалась легкою и неторопливою, и не шла, а точно скользила впереди своей черной тѣни; и вдругъ человѣкъ пропадалъ въ чемъ-то черномъ и тогда слышался его голосъ. Когда же люди вновь появлялись подъ луною, они казались молчащими—какъ бѣлыя стѣны, какъ черныя тѣни, какъ вся прозрачно-мгли-

стая ночь. Уже почти всѣ спали, когда Іуда услыхалъ тихій голосъ возвратившагося Христа. И все стихло въ домѣ и вокругъ него. Пропѣлъ пѣтухъ; обиженно и громко, какъ днемъ, закричалъ гдѣ-то проснувшійся оселъ и, неохотно, съ перерывами умолкъ. А Іуда все не спалъ и слушалъ, притаившись. Луна освѣтила половину его лица и, какъ въ замерзшемъ озерѣ, отразилась странно въ огромномъ открытомъ глазу.

Вдругъ онъ что-то вспомнилъ и поспѣшно закашлялъ, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть можетъ кто-нибудь еще не спитъ и слушаетъ, что думаетъ Іуда.

II.

Постепенно къ Іудѣ привыкли и перестали замѣчать его безобразіе. Іисусъ поручилъ ему денежный ящикъ, и вмѣстѣ съ этимъ на него легли всѣ хозяйственныя заботы: онъ покупалъ необходимую пищу и одежду, раздавалъ милостыню, а во время странствованій пріискивалъ мѣсто для остановки и ночлега. Все это онъ дѣлалъ очень искусно, такъ что въ скоромъ времени заслужилъ расположеніе нѣкоторыхъ учениковъ, видѣвшихъ его старанія. Лгалъ Іуда постоянно, но и къ этому привыкли, такъ какъ не видѣли за ложью дурныхъ поступковъ, а разговору Іуды и его разсказамъ она придавала особенный интересъ и дѣлала жизнь похожею на смѣшную, а иногда и страшную сказку.

По разсказамъ Іуды выходило такъ, будто онъ знаетъ всѣхъ людей и каждый человѣкъ, котораго онъ знаетъ, совершилъ въ своей жизни какой-нибудь дурной поступокъ или даже преступленіе. Хорошими же людьми, по его мнѣнію, называются тѣ, которые умѣютъ скрывать свои дѣла и мысли; но если такого человѣка обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то

изъ него потечетъ, какъ гной изъ проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Онъ охотно сознавался, что иногда лжетъ и самъ, но увѣрялъ съ клятвою, что другіе лгутъ еще больше, и если есть въ мірѣ кто-нибудь обманутый, такъ это онъ, Іуда. Случалось, что нѣкоторые люди по многу разъ обманывали его, и такъ и этакъ. Такъ нѣкій хранитель сокровищъ у богатаго вельможи сознался ему однажды, что ужъ десять лѣтъ непрестанно хочетъ украсть ввѣренное ему имущество, но не можетъ, такъ какъ боится вельможи и своей совѣсти. И Іуда повѣрилъ ему—а онъ вдругъ укралъ и обманулъ Іуду. Но и тутъ Іуда ему повѣрилъ,—а онъ вдругъ вернулъ украденное вельможѣ и опять обманулъ Іуду. И всѣ обманываютъ его, даже животныя: когда онъ ласкаетъ собаку, она кусаетъ его за пальцы, а когда онъ бьетъ ее палкой, она лижетъ ему ноги и смотритъ въ глаза, какъ дочь. Онъ убилъ эту собаку, глубоко зарылъ ее и даже заложилъ большимъ камнемъ, но кто знаетъ?—можетъ быть оттого, что онъ ее убилъ, она стала еще болѣе живою, и теперь не лежитъ въ ямѣ, а весело бѣгаетъ съ другими собаками.

Всѣ весело смѣялись на разсказъ Іуды и самъ онъ пріятно улыбался, щуря свой живой и насмѣшливый глазъ—и тутъ же съ тою же улыбкой сознавался, что немного солгалъ: собаки этой онъ не убивалъ. Но онъ найдетъ ее непремѣнно и непремѣнно убьетъ, потому что не желаетъ быть обманутымъ. И отъ этихъ словъ Іуды смѣялись еще больше.

Но иногда въ своихъ разсказахъ онъ переходилъ границы вѣроятнаго и правдоподобнаго и приписывалъ людямъ такія наклонности, какихъ не имѣетъ даже животное, обвинялъ въ такихъ преступленіяхъ, какихъ не было и никогда не бываетъ. И такъ какъ онъ называлъ при этомъ имена самыхъ почтенныхъ людей, то нѣкоторые возмущались клеветою, другіе же шутливо спрашивали:

— Ну, а твои отецъ и мать, Іуда,—не были ли они хорошіе люди?

Іуда прищуривалъ глазъ, улыбался и разводилъ руками. И вмѣстѣ съ покачиваніемъ головы, качался его застывшій, широко открытый глазъ и молчаливо смотрѣлъ.

— А кто былъ мой отецъ? Можетъ быть, тотъ человѣкъ, который билъ меня розгой, а можетъ быть и дьяволъ, и козелъ, и пѣтухъ. Развѣ можетъ Іуда знать всѣхъ, съ кѣмъ дѣлила ложе его мать? У Іуды много отцовъ—про котораго вы говорите?

Но тутъ возмущались всѣ, такъ какъ сильно почитали родителей, и Матвей, весьма начитанный въ писаніи, строго говорилъ словами Соломона:

— Кто злословитъ отца своего и свою мать, того свѣтильникъ погаснетъ среди глубокой тьмы.

Іоаннъ же Зеведеевъ надменно бросалъ:

— Ну, а мы? Что о насъ дурного скажешь ты, Іуда изъ Каріота?

Но тотъ съ притворнымъ испугомъ замахалъ руками, сгорбился и занылъ, какъ нищій, тщетно выпрашивающій подаянія у прохожаго:

— Ахъ, искушаютъ бѣднаго Іуду! Смѣются надъ Іудой, обмануть хотятъ бѣднаго, довѣрчиваго Іуду!

И пока въ шутовскихъ гримасахъ корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрѣлъ никогда не смыкающійся глазъ. Больше всѣхъ и громче всѣхъ хохоталъ надъ шутками Искаріота Петръ Симоновъ. Но однажды случилось такъ, что онъ вдругъ нахмурился, сдѣлался молчаливъ и печаленъ, и поспѣшно отвелъ Іуду въ сторону, таща его за рукавъ.

— А Іисусъ? Что ты думаешь объ Іисусѣ?—наклонившись, спросилъ онъ громкимъ шопотомъ.—Только не шути, прошу тебя.

Іуда злобно взглянулъ на него:

— А ты что думаешь?

Петръ испуганно и радостно прошепталъ:

— Я думаю, что Онъ сынъ Бога живаго.

— Зачѣмъ же ты спрашиваешь? Что можетъ тебѣ сказать Іуда, у котораго отецъ—козелъ!

— Но ты Его любишь? Ты какъ будто никого не любишь, Іуда.

Съ той же странной злобою Искаріотъ бросилъ отрывисто и рѣзко:

— Люблю.

Послѣ этого разговора Петръ дня два громко называлъ Іуду своимъ другомъ - осьминогомъ, а тотъ неповоротливо и все также злобно старался ускользнуть отъ него куда-нибудь въ темный уголъ, и тамъ сидѣлъ угрюмо, свѣтлѣя своимъ бѣлымъ несмыкающимся глазомъ.

Вполнѣ серьезно слушалъ Іуду одинъ только Ѳома: онъ не понималъ шутокъ, притворства и лжи, игры словами и мыслями, и во всемъ доискивался основательнаго и положительнаго. И всѣ разсказы Искаріота о дурныхъ людяхъ и поступкахъ онъ часто перебивалъ короткими дѣловыми замѣчаніями:

— Это нужно доказать. Ты самъ это слышалъ? А кто еще былъ при этомъ, кромѣ тебя? Какъ его зовутъ?

Іуда раздражался и визгливо кричалъ, что онъ все это самъ видѣлъ и самъ слышалъ, но упрямый Ѳома продолжалъ допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Іуда не сознавался, что солгалъ, или не сочинялъ новой правдоподобной лжи, надъ которою тотъ надолго задумывался. И найдя ошибку, немедленно приходилъ и равнодушно уличалъ лжеца. Вообще Іуда возбуждалъ въ немъ сильное любопытство и это создало между ними что-то вродѣ дружбы, полной крика, смѣха и ругательствъ съ одной стороны—и спокойныхъ, настойчивыхъ вопросовъ съ другой. Временами Іуда чув-

ствовалъ нестерпимое отвращеніе къ своему странному другу и, пронизывая его острымъ взглядомъ, говорилъ раздраженно, почти съ мольбою:

— Но чего ты хочешь? Я все сказалъ тебѣ, все.

— Я хочу, чтобы ты доказалъ, какъ можетъ быть козелъ твоимъ отцомъ?—съ равнодушной настойчивостью допрашивалъ Ѳома и ждалъ отвѣта. Случилось, что послѣ одного изъ такихъ вопросовъ Іуда вдругъ замолчалъ и удивленно съ ногъ до головы ощупалъ его глазомъ: увидѣлъ длинный, прямой станъ, сѣрое лицо, прямые прозрачно-свѣтлые глаза, двѣ толстыя складки, идущія отъ носа и пропадающія въ жесткой, ровно подстриженной бородѣ, и убѣдительно сказалъ:

— Какой ты глупый, Ѳома! Ты что видишь во снѣ: дерево, стѣну, осла?

И Ѳома какъ-то странно смутился и ничего не возразилъ. А ночью, когда Іуда уже заволакивалъ для сна свой живой и безпокойный глазъ, онъ вдругъ громко сказалъ съ своего ложа—они оба спали теперь вмѣстѣ на кровлѣ:

— Ты не правъ, Іуда. Я вижу очень дурные сны. Какъ ты думаешь: за свои сны также долженъ отвѣчать человѣкъ?

— А развѣ сны видитъ кто-нибудь другой, а не онъ самъ?

Ѳома тихо вздохнулъ и задумался. А Іуда презрительно улыбнулся, плотно закрылъ свой воровской глазъ и спокойно отдался своимъ мятежнымъ снамъ, чудовищнымъ грезамъ, безумнымъ видѣніямъ, на части раздиравшимъ его бугроватый черепъ.

Когда во время странствованій Іисуса по Іудеѣ, путники приближались къ какому-нибудь селенію, Искаріотъ разсказывалъ дурное о жителяхъ его и предвѣщалъ бѣду. Но почти всегда случалось такъ, что люди, о которыхъ говорилъ онъ дурно, съ радостью встрѣчали Христа и его друзей, окружали ихъ внима-

ніемъ и любовью и становились вѣрующими, а денежный ящикъ Іуды дѣлался такъ полонъ, что трудно было его нести. И тогда надъ его ошибкой смѣялись, а онъ покорно разводилъ руками и говорилъ:

— Такъ, такъ! Іуда думалъ, что они плохіе, а они хорошіе: и повѣрили быстро, и дали денегъ. Опять, значитъ, обманули Іуду, бѣднаго, довѣрчиваго Іуду изъ Каріота!

Но какъ-то разъ, уже далеко отойдя отъ селенія, встрѣтившаго ихъ радушно, Ѳома и Іуда горячо заспорили и, чтобы рѣшить споръ, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Іисуса съ учениками, и Ѳома имѣлъ видъ смущенный и грустный, а Іуда глядѣлъ такъ гордо, какъ будто ожидалъ, что вотъ сейчасъ всѣ начнутъ его поздравлять и благодарить. Подойдя къ учителю, Ѳома рѣшительно заявилъ:

— Іуда правъ, Господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало сѣмя твоихъ словъ.

И разсказалъ, что произошло въ селеніи. Ужъ послѣ ухода изъ него Іисуса и его учениковъ, одна старая женщина начала кричать, что у нея украли молоденькаго бѣленькаго козленка и обвинила въ покражѣ ушедшихъ. Вначалѣ съ нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, какъ Іисусу, то многіе повѣрили и даже хотѣли пуститься въ погоню. И хотя вскорѣ нашли козленка запутавшимся въ кустахъ, но все-таки рѣшили, что Іисусъ обманщикъ и, можетъ быть, даже воръ.

— Такъ вотъ какъ!—вскричалъ Петръ, раздувая ноздри.—Господи, хочешь, я вернусь къ этимъ глупцамъ и...

Но молчавшій все время Іисусъ сурово взглянулъ на него и Петръ замолчалъ и скрылся сзади, за спинами другихъ. И уже никто больше не заговаривалъ о происшедшемъ, какъ будто ничего не случилось совсѣмъ и какъ будто не правъ оказался Іуда. Напрасно

со всѣхъ сторонъ показывалъ онъ себя, стараясь сдѣлать скромнымъ свое раздвоенное, хищное, съ крючковатымъ носомъ лицо—на него не глядѣли, а если кто и взглядывалъ, то очень недружелюбно, даже съ презрѣніемъ какъ будто.

И съ этого же дня какъ-то странно измѣнилось къ нему отношеніе Іисуса. И прежде почему-то было такъ, что Іуда никогда не говорилъ прямо съ Іисусомъ и тотъ никогда прямо не обращался къ нему, но зато часто взглядывалъ на него ласковыми глазами, улыбался на нѣкоторыя его шутки, и если долго не видѣлъ, то спрашивалъ: а гдѣ же Іуда? А теперь глядѣлъ на него, точно не видя, хотя попрежнему, и даже упорнѣе, чѣмъ прежде, искалъ его глазами, всякій разъ, какъ начиналъ говорить къ ученикамъ или къ народу,—но или садился къ нему спиною и черезъ голову бросалъ слова свои на Іуду, или дѣлалъ видъ, что совсѣмъ его не замѣчаетъ. И что бы Онъ ни говорилъ, хотя бы сегодня одно, а завтра совсѣмъ другое, хотя бы даже то самое, что думаетъ и Іуда—казалось, однако, что Онъ всегда говоритъ противъ Іуды. И для всѣхъ онъ былъ нѣжнымъ и прекраснымъ цвѣткомъ, благоухающей розою ливанскою, а для Іуды оставлялъ одни только острые шипы—какъ будто нѣтъ сердца у Іуды, какъ будто глазъ и носа нѣтъ у него и не лучше, чѣмъ всѣ, понимаетъ онъ красоту нѣжныхъ и безпорочныхъ лепестковъ.

— Ѳома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, какъ у серны?—спросилъ онъ своего друга однажды и тотъ равнодушно отвѣтилъ:

— Розу? Да, мнѣ пріятенъ ея запахъ. Но я не слыхалъ, чтобы у розъ были смуглыя лица и глаза, какъ у серны.

— Какъ? Ты не знаешь и того, что у многорукаго кактуса, который вчера разорвалъ твою новую одежду, одинъ только красный цвѣтокъ и одинъ только глазъ?

Но и этого не зналъ Ѳома, хотя вчера кактусъ дѣйствительно вцѣпился въ его одежду и разорвалъ ее на жалкіе клочки. Онъ ничего не зналъ, этотъ Ѳома, хотя обо всемъ разспрашивалъ, и смотрѣлъ такъ прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, какъ сквозь финикійское стекло, было видно стѣну позади его и привязаннаго къ ней понураго осла.

Произошелъ нѣкоторое время спустя и еще одинъ случай, въ которомъ опять-таки правымъ оказался Іуда. Въ одномъ іудейскомъ селеніи, которое онъ настолько не хвалилъ, что даже совѣтовалъ обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а послѣ проповѣди Его и обличенія лицемѣровъ, пришли въ ярость и хотѣли побить камнями Его и учениковъ. Враговъ было много, и несомнѣнно, имъ удалось бы осуществить свое пагубное намѣреніе, если бы не Іуда изъ Каріота. Охваченный безумнымъ страхомъ за Іисуса, точно видя уже капли алой крови на Его бѣлой рубашкѣ—Іуда яростно и слѣпо бросался на толпу, грозилъ, кричалъ, умолялъ и лгалъ, и тѣмъ далъ время и возможность уйти Іисусу и ученикамъ. Разительно проворный, какъ будто онъ бѣгалъ на десяткѣ ногъ, смѣшной и страшный въ своей ярости и мольбахъ, онъ бѣшено метался передъ толпою и очаровывалъ ее какой-то странной силой. Онъ кричалъ, что вовсе не одержимъ бѣсомъ Назорей, что Онъ просто обманщикъ, воръ, любящій деньги, какъ и всѣ Его ученики, какъ и самъ Іуда—потрясалъ денежнымъ ящикомъ, кривлялся и молилъ, припадая къ землѣ. И постепенно гнѣвъ толпы перешелъ въ смѣхъ и отвращеніе, и опустились поднятыя съ каменьями руки.

— Недостойны эти люди, чтобы умереть отъ руки честнаго,—говорили одни, въ то время, какъ другіе задумчиво провожали глазами быстро удалявшагося Іуду.

И снова ожидалъ Іуда поздравленій, похвалъ и бла-

годарности, и выставлялъ на видъ свою изодранную одежду, и лгалъ, что били его—но и на этотъ разъ былъ онъ непонятно обманутъ. Разгнѣванный Іисусъ шелъ большими шагами и молчалъ, и даже Іоаннъ съ Петромъ не осмѣливались приблизиться къ Нему; и всѣ, кому попадался на глаза Іуда въ изодранной одеждѣ, съ своимъ счастливо-возбужденнымъ, но все еще немного испуганнымъ лицомъ—отгоняли его отъ себя короткими и гнѣвными восклицаніями. Какъ будто не онъ спасъ ихъ всѣхъ, какъ будто не онъ спасъ ихъ учителя, котораго они такъ любятъ.

— Ты хочешь видѣть глупцовъ?—сказалъ онъ Ѳомѣ, задумчиво шедшему сзади.—Посмотри: вотъ идутъ они по дорогѣ, кучкой, какъ стадо барановъ и подымаютъ пыль. А ты умный, Ѳома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Іуда, плетусь сзади, какъ грязный рабъ, которому не мѣсто рядомъ съ господиномъ.

— Почему ты называешь себя прекраснымъ?—удивился Ѳома.

— Потому что я красивъ,—убѣжденно отвѣтилъ Іуда, и разсказалъ, многое прибавляя, какъ онъ обманулъ враговъ Іисуса и посмѣялся надъ ними и ихъ глупыми каменьями.

— Но ты солгалъ!—сказалъ Ѳома.

— Ну да, солгалъ,—согласился спокойно Искаріотъ.—Я имъ далъ то, что они просили, а они вернули то, что мнѣ нужно. И что такое ложь, мой умный Ѳома? Развѣ не большею ложью была бы смерть Іисуса?

— Ты поступилъ не хорошо. Теперь я вѣрю, что отецъ твой—дьяволъ. Это онъ научилъ тебя, Іуда.

Лицо Искаріота побѣлѣло и вдругъ какъ-то быстро надвинулось на Ѳому—словно бѣлое облако нашло, и закрыло дорогу и Іисуса. Мягкимъ движеніемъ Іуда такъ же быстро прижалъ его къ себѣ, прижалъ сильно, парализуя движенія, и зашепталъ въ ухо:

— Значитъ дьяволъ научилъ меня? Такъ, такъ, Ѳома. А я спасъ Іисуса? Значитъ дьяволъ любитъ Іисуса, значитъ дьяволу нуженъ Іисусъ и правда? Такъ, такъ, Ѳома. Но вѣдь мой отецъ не дьяволъ, а козелъ. Можетъ и козлу нуженъ Іисусъ? Хе? А вамъ Онъ не нуженъ, нѣтъ? И правда не нужна?

Разсерженный и слегка испуганный Ѳома съ трудомъ вырвался изъ липкихъ объятій Іуды и быстро зашагалъ впередъ, но вскорѣ замедлилъ шаги, стараясь понять происшедшее.

А Іуда тихонько плелся сзади и понемногу отставалъ. Вотъ въ отдаленіи смѣшались въ пеструю кучку идущіе и уже нельзя было разсмотрѣть, которая изъ этихъ маленькихъ фигурокъ Іисусъ. Вотъ и маленькій Ѳома превратился въ сѣрую точку—и внезапно всѣ пропали за поворотомъ. Оглянувшись, Іуда сошелъ съ дороги и огромными скачками спустился въ глубину каменистаго оврага. Отъ быстраго и порывистаго бѣга платье его раздувалось и руки взмывали вверхъ, какъ для полета. Вотъ на обрывѣ онъ поскользнулся и быстро сѣрымъ комкомъ скатился внизъ, обдираясь о камни—вскочилъ и гнѣвно погрозилъ горѣ кулакомъ:

— Ты еще, проклятая!..

И внезапно смѣнивъ быстроту движеній угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбралъ мѣсто у большого камня и сѣлъ неторопливо. Повернулся, точно ища удобнаго положенія, приложилъ руки ладонь съ ладонью къ сѣрому камню и тяжело прислонился къ нимъ головою. И такъ часъ и два сидѣлъ онъ, не шевелясь и обманывая птицъ, неподвижный и сѣрый, какъ самъ сѣрый камень. И впереди его, и сзади, и со всѣхъ сторонъ поднимались стѣны оврага, острой линіей обрѣзая края синяго неба; и всюду, впиваясь въ землю, высились огромные сѣрые камни—словно прошелъ здѣсь когда-то каменный дождь и въ безконечной думѣ за-

стыли его тяжелыя капли. И на опрокинутый, обрубленный черепъ похожъ былъ этотъ дико пустынный оврагъ и каждый камень въ немъ былъ, какъ застывшая мысль, и ихъ было много, и всѣ они думали—тяжело, безгранично, упорно.

Вотъ дружелюбно проковылялъ возлѣ Іуды на своихъ шаткихъ ногахъ обманутый скорпіонъ. Іуда взглянулъ на него, не отнимая отъ камня головы, и снова неподвижно остановились на чемъ-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые бѣлесою странною мутью, оба точно слѣпые и страшно зрячіе. Вотъ изъ земли, изъ камней, изъ разсѣлинъ стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижнаго Іуду и быстро поползла вверхъ—къ свѣтлому поблѣднѣвшему небу. Наступала ночь съ своими мыслями и снами.

Въ эту ночь Іуда не вернулся на ночлегъ, и ученики, оторванные отъ думъ своихъ, хлопотали о пищѣ и питьѣ, роптали на его нерадивость.

III.

Однажды, около полудня, Іисусъ и ученики Его проходили по каменистой и горной дорогѣ, лишенной тѣни, и такъ какъ уже болѣе пяти часовъ находились въ пути, то началъ Іисусъ жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петръ съ другомъ своимъ Іоанномъ разостлали на землѣ плащи свои и другихъ учениковъ, сверху же укрѣпили ихъ между двумя высокими камнями, и такимъ образомъ сдѣлали для Іисуса какъ бы шатеръ. И онъ возлегъ въ шатрѣ, отдыхая отъ солнечнаго зноя, они же развлекали Его веселыми рѣчами и шутками. Но видя, что и рѣчи утомляютъ Его, сами же будучи мало чувствительны къ усталости и жару, удалились на нѣкоторое разстояніе и предались различнымъ занятіямъ. Кто по склону горы между камнями разыскивалъ съѣдобные корни, и найдя, при-

носилъ Іисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искалъ задумчиво границъ голубѣющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхіе камни. Іоаннъ нашелъ между камней красивую, голубенькую ящерицу и въ нѣжныхъ ладоняхъ, тихо смѣясь, принесъ ее Іисусу; и ящерица смотрѣла своими выпуклыми загадочными глазами въ Его глаза, а потомъ быстро скользнула холоднымъ тѣльцемъ по Его теплой рукѣ и быстро унесла куда-то свой нѣжный вздрагивающій хвостикъ.

Петръ же, не любившій тихихъ удовольствій, а съ нимъ и Филиппъ, занялись тѣмъ, что отрывали отъ горы большіе камни и пускали ихъ внизъ, состязаясь въ силѣ. И привлеченные ихъ громкимъ смѣхомъ, понемногу собрались вокругъ нихъ остальные и приняли участіе въ игрѣ. Напрягаясь, они отдирали отъ земли старый, обросшій камень, поднимали его высоко обѣими руками и пускали по склону. Тяжелый, онъ ударялся коротко и тупо и на мгновеніе задумывался; потомъ нерѣшительно дѣлалъ первый скачекъ—и съ каждымъ прикосновеніемъ къ землѣ, беря отъ нея быстроту и крѣпость, становился легкій, свирѣпый, всесокрушающій. Уже не прыгалъ, а летѣлъ онъ съ оскаленными зубами, и воздухъ, свистя, пропускалъ его тупую, круглую тушу. Вотъ край—плавнымъ послѣднимъ движеніемъ камень взмывалъ кверху и спокойно, въ тяжелой задумчивости округло летѣлъ внизъ, на дно невидимой пропасти.

— Ну-ка, еще одинъ!—кричалъ Петръ. Бѣлые зубы его сверкали среди черной бороды и усовъ, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей ихъ силѣ, одинъ за другимъ покорно уносились въ бездну. Даже хрупкій Іоаннъ бросалъ небольшіе камушки—и тихо улыбаясь, смотрѣлъ на ихъ забаву Іисусъ.

— Что же ты, Іуда? Отчего ты не примешь участія

въ игрѣ,—это, повидимому, такъ весело?—спросилъ Ѳома, найдя своего страннаго друга въ неподвижности, за большимъ сѣрымъ камнемъ.

— У меня грудь болитъ, и меня не звали.

— А развѣ нужно звать? Ну, такъ вотъ я тебя зову, иди. Посмотри, какіе камни бросаетъ Петръ.

Іуда какъ-то бокомъ взглянулъ на него, и тутъ Ѳома впервые смутно почувствовалъ, что у Іуды изъ Каріота—два лица. Но не успѣлъ онъ этого понять, какъ Іуда сказалъ своимъ обычнымъ тономъ, льстивымъ и въ то же время насмѣшливымъ:

— Развѣ есть кто-нибудь сильнѣе Петра? Когда онъ кричитъ, всѣ ослы въ Іерусалимѣ думаютъ, что пришелъ ихъ Мессія и тоже поднимаютъ крикъ. Ты слышалъ когда-нибудь ихъ крикъ, Ѳома?

И привѣтливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Іуда вступилъ въ кругъ играющихъ. И такъ какъ всѣмъ было очень весело, то встрѣтили его съ радостію и громкими шутками и даже Іоаннъ снисходительно улыбнулся, когда Іуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вотъ онъ легко поднялъ его и бросилъ—и слѣпой, широко открытый глазъ его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихимъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, ты еще брось!—сказалъ Петръ обиженно.

И вотъ одинъ за другимъ поднимали они и бросали гигантскіе камни, и, удивляясь, смотрѣли на нихъ ученики. Петръ бросалъ большой камень—Іуда еще больше. Петръ, хмурый и сосредоточенный, гнѣвно ворочалъ обломокъ скалы, шатаясь поднималъ его и ронялъ внизъ—Іуда, продолжая улыбаться, отыскивалъ глазомъ еще большій обломокъ, ласково впивался въ него длинными пальцами, облипалъ его, качался вмѣстѣ съ нимъ и, блѣднѣя, посылалъ его въ пропасть. Бросивъ свой камень, Петръ откидывался назадъ и такъ

слѣдилъ за его паденіемъ,—Іуда же наклонялся впередъ, выгибался и простиралъ длинныя шевелящіяся руки, точно самъ хотѣлъ улетѣть за камнемъ. Наконецъ оба они, сперва Петръ, потомъ Іуда, схватились за старый, сѣдой камень—и не могли его поднять, ни тотъ, ни другой. Весь красный, Петръ рѣшительно подошелъ къ Іисусу и громко сказалъ:

— Господи! я не хочу, чтобы Іуда былъ сильнѣе меня. Помоги мнѣ поднять тотъ камень и бросить.

И тихо отвѣтилъ ему что-то Іисусъ. Петръ недовольно пожалъ широкими плечами, но ничего не осмѣлился возразить и вернулся назадъ со словами:

— Онъ сказалъ: а кто поможетъ Искаріоту?

Но вотъ взглянулъ онъ на Іуду, который, задыхаясь и крѣпко стиснувъ зубы, продолжалъ еще обнимать упорный камень, и весело засмѣялся:

— Вотъ такъ больной! Посмотрите, что дѣлаетъ нашъ больной, бѣдный Іуда!

И засмѣялся самъ Іуда, такъ неожиданно уличенный въ своей лжи, и засмѣялись всѣ остальные—даже Ѳома слегка раздвинулъ улыбкой свои прямые, нависшіе на губы, сѣрые усы. И такъ, дружелюбно болтая и смѣясь, всѣ двинулись въ путь, и Петръ, совершенно примирившійся съ побѣдителемъ, время отъ времени подталкивалъ его кулакомъ въ бокъ и громко хохоталъ:

— Вотъ такъ больной!

Всѣ хвалили Іуду, всѣ признавали, что онъ побѣдилъ, всѣ дружелюбно болтали съ нимъ, но Іисусъ—но Іисусъ и на этотъ разъ не захотѣлъ похвалить Іуду. Молча шелъ Онъ впереди, покусывая сорванную травку; и понемногу одинъ за другимъ переставали смѣяться ученики и переходили къ Іисусу. И въ скоромъ времени опять вышло такъ, что всѣ они тѣсною кучкою шли впереди, а Іуда—Іуда побѣдитель—Іуда сильный—одинъ плелся сзади, глотая пыль.

Вотъ они остановились, и Іисусъ положилъ руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, гдѣ уже показался въ дымкѣ Іерусалимъ. И широкая могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую загорѣлую руку.

На ночлегъ они остановились въ Виѳаніи, въ домѣ Лазаря. И когда всѣ собрались для бесѣды, Іуда подумалъ, что теперь вспомнятъ о его побѣдѣ надъ Петромъ и сѣлъ поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденнаго пути: и солнце, и камень, и трава, и Христосъ, возлежащій въ шатрѣ, тихо плыли въ головѣ, навѣвая мягкую задумчивость, рождая смутныя, но сладкія грезы о какомъ-то вѣчномъ движеніи подъ солнцемъ. Сладко отдыхало утомленное тѣло, и все оно думало о чемъ-то, загадочно прекрасномъ и большомъ—и никто не вспомнилъ объ Іудѣ.

Іуда вышелъ. Потомъ вернулся. Іисусъ говорилъ и въ молчаніи слушали Его рѣчь ученики. Неподвижно, какъ изваяніе, сидѣла у ногъ Его Марія и, закинувъ голову, смотрѣла въ Его лицо. Іоаннъ, придвинувшись близко, старался сдѣлать такъ, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обезпокоила Его. Коснулся—и замеръ. И громко и сильно дышалъ Петръ, вторя дыханіемъ своимъ рѣчи Іисуса.

Искаріотъ остановился у порога, и, презрительно миновавъ взглядомъ собравшихся, весь огонь его сосредоточилъ на Іисусѣ. И по мѣрѣ того, какъ смотрѣлъ, гасло все вокругъ него, одѣвалось тьмою и безмолвіемъ, и только свѣтлѣлъ Іисусъ съ своею поднятой рукою. Но вотъ и Онъ словно поднялся въ воздухъ, словно растаялъ и сдѣлался такой, какъ будто весь Онъ состоялъ изъ надозернаго тумана, пронизаннаго свѣтомъ заходящей луны; и мягкая рѣчь Его зазвучала гдѣ-то далеко-далеко и нѣжно. И вглядываясь въ колеблющійся призракъ, вслушиваясь въ нѣжную мелодію далекихъ и призрачныхъ словъ, Іуда забралъ въ желѣзные

пальцы всю душу и въ необъятномъ мракѣ ея, молча, началъ строить что-то огромное. Медленно, въ глубокой тьмѣ, онъ поднималъ какія-то громады, подобныя горамъ, и плавно накладывалъ одна на другую; и снова поднималъ и снова накладывалъ; и что-то росло во мракѣ, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вотъ куполомъ почувствовалъ онъ голову свою и въ непроглядномъ мракѣ его продолжало расти огромное и кто-то молча работалъ: поднималъ громады, подобныя горамъ, накладывалъ одна на другую и снова поднималъ... И нѣжно звучали гдѣ-то далекія и призрачныя слова.

Такъ стоялъ онъ, загораживая дверь, огромный и черный, и говорилъ Іисусъ, и громко вторило Его словамъ прерывистое и сильное дыханіе Петра. Но вдругъ Іисусъ смолкъ—рѣзкимъ незаконченнымъ звукомъ и Петръ, точно проснувшись, восторженно воскликнулъ:

— Господи! Тебѣ вѣдомы глаголы вѣчной жизни!

Но Іисусъ молчалъ и пристально глядѣлъ куда-то. И когда послѣдовали за Его взоромъ, то увидѣли у дверей окаменѣвшаго Іуду съ раскрытымъ ртомъ и остановившимися глазами. И не понявъ, въ чемъ дѣло, засмѣялись. Матвѣй же, начитанный въ писаніи, притронулся къ плечу Іуды и сказалъ словами Соломона:

— Смотрящій кротко—помилованъ будетъ, а встрѣчающійся въ воротахъ стѣснитъ другихъ.

Іуда вздрогнулъ и даже вскрикнулъ слегка отъ испуга и все у него: глаза, руки и ноги, точно побѣжало въ разныя стороны—какъ у животнаго, которое внезапно увидѣло надъ собою глаза человѣка. Прямо къ Іудѣ шелъ Іисусъ и слово какое-то несъ на устахъ своихъ—и прошелъ мимо Іуды въ открытую и теперь свободную дверь.

Уже въ серединѣ ночи обезпокоенный Ѳома подо-

шелъ къ ложу Іуды, присѣлъ на корточки и спросилъ:

— Ты плачешь, Іуда?

— Нѣтъ. Отойди, Ѳома.

— Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоровъ?

Іуда помолчалъ, и изъ устъ его, одно за другимъ, стали падать тяжелыя слова, налитыя тоскою и гнѣвомъ.

— Почему Онъ не любитъ меня? Почему Онъ любитъ тѣхъ? Развѣ я не красивѣе, не лучше, не сильнѣе ихъ? Развѣ не я спасъ Ему жизнь, пока тѣ бѣжали согнувшись, какъ трусливыя собаки?

— Мой бѣдный другъ, ты не совсѣмъ правъ. Ты вовсе некрасивъ, и языкъ твой такъ же непріятенъ, какъ и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, какъ же ты хочешь, чтобы тебя любилъ Іисусъ!

Но Іуда точно не слышалъ его и продолжалъ, тяжело шевелясь въ темнотѣ:

— Почему Онъ не съ Іудой, а съ тѣми, кто Его не любитъ? Іоаннъ принесъ Ему ящерицу—я принесъ бы Ему ядовитую змѣю. Петръ бросалъ камни—я гору бы повернулъ для Него! Но что такое ядовитая змѣя? Вотъ вырванъ у нея зубъ, и ожерельемъ ложится она вокругъ шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я далъ бы Ему Іуду, смѣлаго, прекраснаго Іуду? А теперь Онъ погибнетъ и вмѣстѣ съ Нимъ погибнетъ и Іуда.

— Ты что-то странное говоришь, Іуда!

— Сухая смоковница, которую нужно порубить сѣкирою—вѣдь это я, это обо мнѣ Онъ сказалъ. Почему же Онъ не рубитъ? Онъ не смѣетъ, Ѳома. Я Его знаю: Онъ боится Іуды! Онъ прячется отъ смѣлаго, сильнаго, прекраснаго Іуды! Онъ любитъ глупыхъ, предателей, лжецовъ. Ты лжецъ, Ѳома, ты слыхалъ объ этомъ?

Ѳома очень удивился и хотѣлъ возражать, но по-

думалъ, что Іуда просто бранится, и только покачалъ въ темнотѣ головою. И еще сильнѣе затосковалъ Іуда; онъ стоналъ, скрежеталъ зубами и слышно было, какъ безпокойно движется подъ покрываломъ все его большое тѣло.

— Что такъ болитъ у Іуды? Кто приложилъ огонь къ его тѣлу? Онъ сына своего отдастъ собакамъ! Онъ дочь свою отдастъ разбойникамъ на поруганіе, невѣсту свою на непотребство. Но развѣ не нѣжное сердце у Іуды? Уйди, Ѳома, уйди, глупый. Пусть одинъ останется сильный, смѣлый, прекрасный Іуда!

IV.

Іуда утаилъ нѣсколько динаріевъ, и это открылось благодаря Ѳомѣ, который видѣлъ случайно, сколько было дано денегъ. Можно было предположить, что это уже не въ первый разъ Іуда совершаетъ кражу, и всѣ пришли въ негодованіе. Разгнѣванный Петръ схватилъ Іуду за воротъ его платья и почти волокомъ притащилъ къ Іисусу, и испуганный, поблѣднѣвшій Іуда не сопротивлялся.

— Учитель, смотри! Вотъ онъ—шутникъ! Вотъ онъ—воръ! Ты ему повѣрилъ, а онъ крадетъ наши деньги. Воръ! Негодяй! Если Ты позволишь, я самъ...

Но Іисусъ молчалъ. И внимательно взглянувъ на него, Петръ быстро покраснѣлъ и разжалъ руку, державшую воротъ—Іуда стыдливо оправился, искоса поглядѣлъ на Петра и принялъ покорно-угнетенный видъ раскаявшагося преступника.

— Такъ вотъ какъ!—сердито сказалъ Петръ и громко хлопнулъ дверью, уходя. И всѣ были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь съ Іудою,—но Іоаннъ что-то быстро сообразилъ и проскользнулъ въ дверь, за которою слышался тихій и какъ будто даже ласковый голосъ Іисуса. И когда по прошествіи

времени вышелъ оттуда, то былъ блѣдный и потупленные глаза его краснѣли какъ бы отъ недавнихъ слезъ.

— Учитель сказалъ... учитель сказалъ, что Іуда можетъ брать денегъ, сколько онъ хочетъ.

Петръ сердито засмѣялся. Быстро, съ укоромъ взглянулъ на него Іоаннъ—и внезапно загорѣвшись весь, смѣшивая слезы съ гнѣвомъ, восторгъ со слезами, звонко воскликнулъ:

— И никто не долженъ считать, сколько денегъ получилъ Іуда. Онъ нашъ братъ, и всѣ деньги его какъ и наши, и если ему нужно много, пусть беретъ много, никому не говоря и ни съ кѣмъ не совѣтуясь. Іуда нашъ братъ и вы тяжко обидѣли его—такъ сказалъ учитель... Стыдно намъ, братья!

Въ дверяхъ стоялъ блѣдный, криво улыбавшійся Іуда и легкимъ движеніемъ Іоаннъ приблизился и трижды поцѣловалъ его. За нимъ, оглядываясь другъ на друга, смущенно подошли Іаковъ, Филиппъ и другіе—и послѣ каждаго поцѣлуя Іуда вытиралъ ротъ, но чмокалъ громко, какъ будто этотъ звукъ доставлялъ ему удовольствіе. Послѣднимъ подошелъ Петръ.

— Всѣ мы тутъ глупые, всѣ мы слѣпые, Іуда. Одинъ Онъ видитъ, одинъ Онъ умный. Мнѣ можно поцѣловать тебя?

— Отчего же? Цѣлуй!—согласился Іуда.

Петръ крѣпко поцѣловалъ его и на ухо громко сказалъ:

— А я тебя чуть не удушилъ! Они хоть такъ, а я прямо за горло! Тебѣ не больно было?

— Немножко.

— Пойду къ Нему и все разскажу. Вѣдь я и на Него разсердился,—мрачно сказалъ Петръ, стараясь тихонько, безъ шуму, отворить дверь.

— А что же ты, Ѳома?—строго спросилъ Іоаннъ, наблюдавшій за дѣйствіями и словами учениковъ.

— Я еще не знаю. Мнѣ нужно подумать.

И долго думалъ Ѳома, почти весь день. Разошлись по дѣламъ своимъ ученики и уже гдѣ-то за стѣною громко и весело кричалъ Петръ, а онъ все соображалъ. Онъ сдѣлалъ бы это быстрѣе, но ему нѣсколько мѣшалъ Іуда, неотступно слѣдившій за нимъ насмѣшливымъ взглядомъ и изрѣдка серьезно спрашивавшій:

— Ну какъ, Ѳома? Какъ идетъ дѣло?

Потомъ Іуда притащилъ свой денежный ящикъ и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Ѳому, сталъ считать деньги.

— Двадцать одинъ, двадцать два, двадцать три... Смотри, Ѳома, опять фальшивая монета. Ахъ, какіе всѣ люди мошенники, они даже жертвуютъ фальшивыя деньги... Двадцать четыре... А потомъ опять скажутъ, что укралъ Іуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Ѳома рѣшительно подошелъ къ нему—уже къ вечеру это было—и сказалъ:

— Онъ правъ, Іуда. Дай я поцѣлую тебя.

— Вотъ какъ? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать одинъ...

— Какъ же можно красть, когда нѣтъ ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебѣ нужно, братъ.

— И это столько времени тебѣ понадобилось, чтобы повторить только Его слова? Не дорожишь же ты временемъ, умный Ѳома.

— Ты, кажется, смѣешься надо мною, братъ?

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродѣтельный Ѳома, повторяя слова Его. Вѣдь это Онъ сказалъ—„свое“—а не ты. Это Онъ поцѣловалъ меня—вы же только осквернили мнѣ ротъ. Я и до сихъ поръ чувствую, какъ ползаютъ по мнѣ ваши мокрыя губы. Это такъ отвратительно, добрый Ѳома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорокъ. Сорокъ динаріевъ. Ѳома, не хочешь ли провѣрить?

— Вѣдь Онъ нашъ учитель. Какъ же намъ не повторять словъ учителя?

— Развѣ отвалился воротъ у Іуды? Развѣ онъ теперь голый и его не за что схватить? Вотъ уйдетъ учитель изъ дому, и опять украдетъ нечаянно Іуда три динарія и развѣ не за тотъ же воротъ вы схватите его?

— Мы теперь знаемъ, Іуда. Мы поняли.

— А развѣ не у всѣхъ учениковъ плохая память? И развѣ не всѣхъ учителей обманывали ихъ ученики? Вотъ поднялъ учитель розгу—ученики кричатъ: мы знаемъ, учитель! А ушелъ учитель спать и говорятъ ученики: не этому ли училъ насъ учитель? И тутъ. Сегодня утромъ ты назвалъ меня: воръ. Сегодня вечеромъ ты зовешь меня: братъ. А какъ ты назовешь меня завтра?

Іуда засмѣялся и, легко поднимая рукою тяжелый звенящій ящикъ, продолжалъ:

— Когда дуетъ сильный вѣтеръ, онъ поднимаетъ соръ. И глупые люди смотрятъ на соръ и говорятъ: вотъ вѣтеръ! А это только соръ, мой добрый Ѳома, ослиный пометъ, растоптанный ногами. Вотъ встрѣтилъ онъ стѣну и тихо легъ у подножія ея, а вѣтеръ летитъ дальше, вѣтеръ летитъ дальше, мой добрый Ѳома!

Іуда предупредительно показалъ рукою черезъ стѣну и снова засмѣялся.

— Я радъ, что тебѣ весело,—сказалъ Ѳома.—Но очень жаль, что въ твоей веселости такъ много зла.

— Какъ же не быть веселымъ человѣку, котораго столько цѣловали и который такъ полезенъ? Если бы я не укралъ трехъ динаріевъ, развѣ узналъ бы Іоаннъ, что такое восторгъ? И развѣ не пріятно быть крюкомъ, на который вывѣшиваетъ для просушки—Іоаннъ свою отсырѣвшую добродѣтель, Ѳома—свой умъ, поѣденный молью?

— Мнѣ кажется, что лучше мнѣ уйти.

— Но вѣдь я же шучу! Я шучу, мой добрый Ѳома,— я только хотѣлъ знать, дѣйствительно ли ты желаешь поцѣловать стараго, противнаго Іуду, вора, который укралъ три динарія и отдалъ ихъ блудницѣ.

— Блудницѣ? — удивился Ѳома.—А объ этомъ ты сказалъ учителю?

— Вотъ ты опять сомнѣваешься, Ѳома. Да, блудницѣ. Но если бы ты зналъ, Ѳома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ѣла...

— Ты это знаешь навѣрное?—смутился Ѳома.

— Да, конечно. Вѣдь я самъ два дня былъ съ нею и видѣлъ, что она ничего не ѣстъ и пьетъ только красное вино. Она шаталась отъ истощенія и я падалъ вмѣстѣ съ нею...

Ѳома быстро всталъ и, уже отойдя на нѣсколько шаговъ, кинулъ Іудѣ:

— Повидимому, въ тебя вселился Сатана, Іуда.

И уходя, слышалъ въ наступившихъ сумеркахъ, какъ жалобно позванивалъ въ рукахъ Іуды тяжелый денежный ящикъ. И какъ будто смѣялся Іуда.

Но уже на другой день Ѳомѣ пришлось сознаться, что онъ ошибся въ Іудѣ—такъ простъ, мягокъ и въ то же время серьезенъ былъ Искаріотъ. Онъ не кривлялся, не шутилъ злорѣчиво, не кланялся и не оскорблялъ, но тихо и незамѣтно дѣлалъ свое хозяйственное дѣло. Былъ онъ проворенъ, какъ и прежде—точно не двѣ ноги, какъ у всѣхъ людей, а цѣлый десятокъ имѣлъ ихъ, но бѣгалъ безшумно, безъ писка, воплей и смѣха, похожаго на смѣхъ гіены, какимъ раньше сопровождалъ онъ всѣ дѣйствія свои. А когда Іисусъ начиналъ говорить, онъ тихо усаживался въ углу, складывалъ свои руки и ноги и смотрѣлъ такъ хорошо своими большими глазами, что многіе обратили на это вниманіе. И о людяхъ пересталъ онъ говорить дурное, и больше молчалъ, такъ что самъ строгій Матвѣй счелъ возможнымъ похвалить его, сказавъ словами Соломона:

— Скудоумный высказываетъ презрѣніе къ ближнему своему; но разумный человѣкъ молчитъ.

И поднялъ палецъ, намекая тѣмъ на прежнее злорѣчіе Іуды. Въ скоромъ времени и всѣ замѣтили въ Іудѣ эту перемѣну и порадовались ей; и только Іисусъ все также чуждо смотрѣлъ на него, хотя прямо ничѣмъ не выражалъ своего нерасположенія. И самъ Іоаннъ, которому Іуда оказывалъ теперь глубокое почтеніе, какъ любимому ученику Іисуса и своему заступнику въ случаѣ съ тремя динаріями, сталъ относиться къ нему нѣсколько мягче и даже иногда вступалъ въ бесѣду.

— Какъ ты думаешь, Іуда,—сказалъ онъ однажды снисходительно,—кто изъ насъ, Петръ или я, будетъ первымъ возлѣ Христа въ Его небесномъ царствіи?

Іуда подумалъ и отвѣтилъ:

— Я полагаю, что ты.

— А Петръ думаетъ, что онъ,—усмѣхнулся Іоаннъ.

— Нѣтъ. Петръ всѣхъ ангеловъ разгонитъ своимъ крикомъ—ты слышишь, какъ онъ кричитъ? Конечно, онъ будетъ спорить съ тобою и постарается первый занять мѣсто, такъ какъ увѣряетъ, что тоже любитъ Іисуса,—но онъ уже старовать, а ты молодъ, онъ тяжелъ на ногу, а ты бѣгаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христомъ. Не такъ ли?

— Да, я не оставлю Іисуса,—согласился Іоаннъ.

И въ тотъ же самый день и съ такимъ же вопросомъ обратился къ Іудѣ Петръ Симоновъ. Но боясь, что громкій голосъ его будетъ услышанъ другими, отвелъ Іуду въ самый дальній уголъ, за домъ.

— Такъ какъ же ты думаешь?— тревожно спрашивалъ онъ.—Ты умный, тебя за умъ самъ учитель хвалитъ, и ты скажешь правду.

— Конечно ты,—безъ колебанія отвѣтилъ Искаріотъ; и Петръ съ негодованіемъ воскликнулъ:

— Я ему говорилъ!

— Но конечно и тамъ онъ будетъ стараться отнять у тебя первое мѣсто.

— Конечно!

— Но что онъ можетъ сдѣлать, когда мѣсто уже будетъ занято тобою? Вѣдь ты первый пойдешь туда съ Іисусомъ? Ты не оставишь Его одного? Развѣ не тебя назвалъ Онъ—камень?

Петръ положилъ руку на плечо Іуды и горячо сказалъ:

— Говорю тебѣ, Іуда, ты самый умный изъ насъ. Зачѣмъ только ты такой насмѣшливый и злой? Учитель не любитъ этого. А то вѣдь и ты могъ бы стать любимымъ ученикомъ, не хуже Іоанна. Но только и тебѣ—Петръ угрожающе поднялъ руку—не отдамъ я своего мѣста возлѣ Іисуса, ни на землѣ, ни тамъ! Слышишь!

Такъ старался Іуда доставить всѣмъ пріятное, но и свое что-то думалъ при этомъ. И оставаясь все тѣмъ же скромнымъ, сдержаннымъ и незамѣтнымъ, каждому умѣлъ сказать то, что ему особенно нравится. Такъ, Ѳомѣ онъ сказалъ:

— Глупый вѣритъ всякому слову, благоразумный же внимателенъ къ путямъ своимъ.

Матвѣю же, который страдалъ нѣкоторымъ излишествомъ въ пищѣ и питьѣ и стыдился этого, привелъ слова мудраго и почитаемаго имъ Соломона:

— Праведникъ ѣстъ до сытости, а чрево беззаконныхъ терпитъ лишеніе.

Но и пріятное говорилъ рѣдко, тѣмъ самымъ придавая ему особенную цѣнность, а больше молчалъ, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думалъ о чемъ-то. Размышляющій Іуда имѣлъ, однако, видъ непріятный, смѣшной и въ то же время внушающій страхъ. Пока двигался его живой и хитрый глазъ, Іуда казался простымъ и добрымъ, но когда оба глаза останавливались неподвижно и въ странные

бугры и складки собиралась кожа на его выпукломъ лбу—являлась тягостная догадка о какихъ-то совсѣмъ особенныхъ мысляхъ, ворочающихся подъ этимъ черепомъ. Совсѣмъ чужія, совсѣмъ особенныя, совсѣмъ не имѣющія языка, онѣ глухимъ молчаніемъ тайны окружали размышляющаго Искаріота и хотѣлось, чтобы онъ поскорѣе началъ говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человѣческимъ языкомъ, казалась правдою и свѣтомъ передъ этимъ безнадежно глухимъ и неотзывчивымъ молчаніемъ.

— Опять задумался, Іуда?—кричалъ Петръ, своимъ яснымъ голосомъ и лицомъ внезапно разрывая глухое молчаніе іудиныхъ думъ, отгоняя ихъ куда-то въ темный уголъ.—О чемъ ты думаешь?

— О многомъ, — съ покойной улыбкой отвѣчалъ Искаріотъ. И замѣтивъ, вѣроятно, какъ нехорошо дѣйствуетъ на другихъ его молчаніе, чаще сталъ удаляться отъ учениковъ и много времени проводилъ въ уединенныхъ прогулкахъ, или же забирался на плоскую кровлю и тамъ тихонько сидѣлъ. И уже нѣсколько разъ слегка пугался Ѳома, наткнувшись неожиданно въ темнотѣ на какую-то сѣрую груду, изъ которой вдругъ высовывались руки и ноги Іуды, и слышался его шутливый голосъ.

Только однажды Іуда какъ-то особенно рѣзко и странно напомнилъ прежняго Іуду, и произошло это какъ разъ во время спора о первенствѣ въ царствіи небесномъ. Въ присутствіи учителя Петръ и Іоаннъ перекорялись другъ съ другомъ, горячо оспаривая свое мѣсто возлѣ Іисуса; перечисляли свои заслуги, мѣряли степень своей любви къ Іисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно — Петръ, весь красный отъ гнѣва, рокочущій; Іоаннъ, блѣдный и тихій, съ дрожащими руками и кусающейся рѣчью. Уже непристойнымъ дѣлался ихъ споръ и началъ хму-

риться учитель, когда Петръ взглянулъ случайно на Іуду и самодовольно захохоталъ; взглянулъ на Іуду Іоаннъ и такъ же улыбнулся—каждый изъ нихъ вспомнилъ, что говорилъ ему умный Искаріотъ. И уже предвкушая радость близкаго торжества, они молча и согласно призвали Іуду въ судьи и Петръ закричалъ:

— Ну-ка, умный Іуда! Скажи-ка намъ, кто будетъ первый возлѣ Іисуса—онъ или я?

Но Іуда молчалъ, дышалъ тяжело и глазами жадно спрашивалъ о чемъ-то спокойно-глубокіе глаза Іисуса.

— Да—подтвердилъ снисходительно Іоаннъ—скажи ты ему, кто будетъ первый возлѣ Іисуса.

Не отрывая глазъ отъ Христа, Іуда медленно поднялся и отвѣтилъ тихо и важно:

— Я!

Іисусъ медленно опустилъ взоры. И тихо бія себя въ грудь костлявымъ пальцемъ, Искаріотъ повторилъ торжественно и строго:

— Я! Я буду возлѣ Іисуса!

И вышелъ. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали и только Петръ, вдругъ вспомнивъ что-то, шепнулъ Ѳомѣ неожиданно тихимъ голосомъ:

— Такъ вотъ о чемъ онъ думаетъ!.. Ты слышалъ?

V.

Какъ разъ въ это время Іуда Искаріотъ совершилъ первый, рѣшительный шагъ къ предательству: тайно посѣтилъ первосвященника Анну. Былъ онъ встрѣченъ очень сурово, но не смутился этимъ и потребовалъ продолжительной бесѣды съ глазу на глазъ. И оставшись наединѣ съ сухимъ и суровымъ старикомъ, презрительно смотрѣвшимъ на него изъ-подъ нависшихъ, тяжелыхъ вѣкъ, разсказалъ, что онъ, Іуда, человѣкъ благочестивый, и въ ученики къ Іисусу Назорею всту-

пилъ съ единственной цѣлью уличить обманщика и предать Его въ руки закона.

— А кто онъ, этотъ Назорей?—пренебрежительно спросилъ Анна, дѣлая видъ, что въ первый разъ слышитъ имя Іисуса.

Іуда также сдѣлалъ видъ, что вѣритъ странному невѣдѣнію первосвященника и подробно разсказалъ о проповѣди Іисуса и чудесахъ, о ненависти Его къ фарисеямъ и храму, о постоянныхъ нарушеніяхъ Имъ закона и, наконецъ, о желаніи Его исторгнуть власть изъ рукъ церковниковъ и создать свое особенное царство. И такъ искусно перемѣшивалъ правду съ ложью, что внимательнѣе взглянулъ на него Анна и лѣниво сказалъ:

— Мало ли въ Іудеѣ обманщиковъ и безумцевъ?

— Нѣтъ, Онъ опасный человѣкъ,—горячо возразилъ Іуда:—Онъ нарушаетъ законъ. И пусть лучше одинъ человѣкъ погибнетъ, чѣмъ весь народъ.

Анна одобрительно кивнулъ головою.

— Но у Него, кажется, много учениковъ?

— Да, много.

— И они, вѣроятно, очень любятъ Его?

— Да, они говорятъ, что любятъ. Очень любятъ, больше, чѣмъ себя.

— Но если мы захотимъ взять Его, не вступятся ли они? Не поднимутъ ли они возстанія?

— Іуда засмѣялся продолжительно и зло:

— Они? Эти трусливыя собаки, которыя бѣгутъ, какъ только человѣкъ наклоняется за камнемъ. Они!

— Развѣ они такіе дурные?—холодно спросилъ Анна.

— А развѣ дурные бѣгаютъ отъ хорошихъ, а не хорошіе—отъ дурныхъ? Хе! Они хорошіе—и поэтому побѣгутъ. Они хорошіе—и поэтому они спрячутся. Они хорошіе—и поэтому они явятся только тогда, когда Іисуса надо будетъ класть въ гробъ. И они положатъ Его сами, а ты только казни!

— Но вѣдь они же любятъ Его? Ты самъ сказалъ!

— Своего учителя они всегда любятъ, но больше мертвымъ, чѣмъ живымъ. Когда учитель живъ, онъ можетъ спросить у нихъ урокъ и тогда имъ будетъ плохо. А когда учитель умираетъ, они сами становятся учителями и плохо дѣлается уже другимъ! Хе!

Анна проницательно взглянулъ на Предателя и сухія губы его сморщились—это значило, что Анна улыбается.

— Ты обиженъ ими? Я это вижу.

— Развѣ можетъ укрыться что либо отъ твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проникъ въ самое сердце Іуды. Да. Они обидѣли бѣднаго Іуду. Они сказали, что онъ укралъ у нихъ три динарія—какъ будто Іуда не самый честный человѣкъ въ Израилѣ!

И еще долго говорили они объ Іисусѣ, объ ученикахъ Его, о гибельномъ вліяніи Его на израильскій народъ,—но рѣшительнаго отвѣта не далъ на этотъ разъ осторожный и хитрый Анна. Онъ ужъ давно слѣдилъ за Іисусомъ и на тайныхъ совѣщаніяхъ съ родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями, уже давно рѣшилъ участь пророка изъ Галилеи. Но онъ не довѣрялъ Іудѣ, о которомъ и раньше слыхалъ, какъ о дурномъ и лживомъ человѣкѣ, не довѣрялъ его легкомысленнымъ надеждамъ на трусость учениковъ и народа. Въ свою силу Анна вѣрилъ, но боялся кровопролитія, боялся грознаго бунта, на который такъ легко шелъ непокорный и гнѣвливый народъ іерусалимскій, боялся, наконецъ, суроваго вмѣшательства властей изъ Рима. Раздутая сопротивленіемъ, оплодотворенная красной кровію народа, дающей жизнь всему, на что она падетъ—еще сильнѣе разростется ересь и въ гибкихъ кольцахъ своихъ задушитъ Анну, и власть и всѣхъ его друзей. И когда во второй разъ постучался къ нему Искаріотъ, Анна смутился духомъ и не принялъ его. Но и въ третій, и въ четвертый разъ пришелъ къ нему Искаріотъ, настойчивый, какъ вѣтеръ,

который и днемъ и ночью стучится въ запертую дверь и дышитъ въ скважины ея.

— Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна,—сказалъ Іуда, допущенный, наконецъ, къ первосвященнику.

— Я довольно силенъ, чтобы ничего не бояться,— надменно отвѣтилъ Анна, и Искаріотъ раболѣпно поклонился, простирая руки.—Чего ты хочешь?

— Я хочу предать вамъ Назорея.

— Онъ намъ не нуженъ.

Іуда поклонился и ждалъ, покорно устремивъ свой глазъ на первосвященника.

— Ступай.

— Но я долженъ прійти опять. Не такъ ли, почтенный Анна?

— Тебя не пустятъ. Ступай.

Но вотъ и еще разъ, и еще разъ постучался Іуда изъ Каріота и былъ впущенъ къ престарѣлому Аннѣ. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядѣлъ онъ на предателя и точно считалъ волосы на бугроватой головѣ его. Но молчалъ и Іуда—точно и самъ подсчитывалъ волоски въ рѣденькой сѣдой бородкѣ первосвященника.

— Ну? Ты опять здѣсь?—надменно бросилъ, точно плюнулъ на голову, раздраженный Анна.

— Я хочу предать вамъ Назорея.

Оба замолчали, продолжая со вниманіемъ разглядывать другъ друга. Но Искаріотъ смотрѣлъ спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, какъ предутренній иней зимою.

— Сколько же ты хочешь за твоего Іисуса?

— А сколько вы дадите?

Анна съ наслажденіемъ оскорбительно сказалъ:

— Вы всѣ шайка мошенниковъ. Тридцать серебряниковъ—вотъ сколько мы дадимъ.

И тихо порадовался, видя, какъ весь затрепыхалъ, задвигался, забѣгалъ Іуда—проворный и быстрый, какъ

будто не двѣ ноги, а цѣлый десятокъ ихъ было у него.

— За Іисуса? Тридцать серебряниковъ?—закричалъ онъ голосомъ дикаго изумленія, порадовавшимъ Анну.— За Іисуса Назорея! И вы хотите купить Іисуса за тридцать серебряниковъ? И вы думаете, что вамъ могутъ продать Іисуса за тридцать серебряниковъ?

Іуда быстро повернулся къ стѣнѣ и захохоталъ въ ея бѣлое плоское лицо, поднимая длинныя руки:

— Ты слышишь? Тридцать серебряниковъ! За Іисуса!

Съ той же тихой радостью Анна равнодушно замѣтилъ:

— Если не хочешь, то ступай. Мы найдемъ человѣка, который продастъ дешевле.

И точно торговцы старымъ платьемъ, которые на грязной площади перебрасываютъ съ рукъ на руки негодную ветошь, кричатъ, клянутся и бранятся, они вступили въ горячій и бѣшеный торгъ. Упиваясь страннымъ восторгомъ, бѣгая, вертясь, крича, Іуда по пальцамъ вычислялъ достоинства Того, Кого онъ продаетъ.

— А то, что онъ добръ и исцѣляетъ больныхъ, это такъ уже ничего и не стоитъ по вашему? А? Нѣтъ, вы скажите, какъ честный человѣкъ!

— Если ты...—пробовалъ вставить порозовѣвшій Анна, холодная злость котораго быстро нагрѣвалась на раскаленныхъ словахъ Іуды,—но тотъ беззастѣнчиво перебивалъ его.

— А то, что Онъ красивъ и молодъ—какъ нарцисъ саронскій, какъ лилія долины? А? Это ничего не стоитъ? Вы, быть можетъ, скажете, что Онъ старъ и никуда не годенъ, что Іуда продаетъ вамъ стараго пѣтуха? А?

— Если ты...—старался кричать Анна, но его старческій голосъ, какъ пухъ вѣтромъ, уносила отчаянно-бурная рѣчь Іуды.

— Тридцать серебряниковъ! Вѣдь это одного обола не выходитъ за каплю крови! Половины обола не вы-

ходитъ за слезу! Четверть обола за стонъ! А крики! А судороги! А за то, чтобы Его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись Его глаза? Это даромъ?—вопилъ Искаріотъ, наступая на первосвященника, всего его одѣвая безумнымъ движеніемъ своихъ рукъ, пальцевъ, крутящихся словъ.

— За все! За все!—задыхался Анна.

— А сами вы сколько наживете на этомъ? Хе? Вы ограбить хотите Іуду, кусокъ хлѣба вырвать у его дѣтей! Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбилъ бѣднаго Іуду! Спасите!

Утомленный, совсѣмъ закружившійся Анна бѣшено затопалъ по полу мягкими туфлями и замахалъ руками:

— Вонъ!.. Вонъ!..

Но Іуда вдругъ смиренно согнулся и покорно развелъ руками.

— Но если ты такъ... Зачѣмъ же ты сердишься на бѣднаго Іуду, который желаетъ добра своимъ дѣтямъ? У тебя тоже есть дѣти, прекрасные молодые люди...

— Мы другого... Мы другого... Вонъ!

— Но развѣ я сказалъ, что я не могу уступить? И развѣ я вамъ не вѣрю, что можетъ прійти другой и отдать вамъ Іисуса за пятнадцать оболовъ? За два обола? За одинъ?

И кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Іуда покорно согласился на предложенныя ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовѣвшій Анна отдалъ ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждалъ пока Іуда перепробовалъ на зубахъ всѣ серебряныя монеты. Изрѣдка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднималъ голову къ потолку и усиленно жевалъ губами.

— Теперь такъ много фальшивыхъ денегъ,—спокойно пояснилъ Іуда.

— Это деньги, пожертвованныя благочестивыми людьми на храмъ,—сказалъ Анна, быстро оглянувшись

и еще быстрѣе подставивъ глазамъ Іуды свой розоватый лысый затылокъ.

— Но развѣ благочестивые люди умѣютъ отличить фальшивое отъ настоящаго? Это умѣютъ только мошенники.

Полученныя деньги Іуда не отнесъ домой, но выйдя за городъ спряталъ ихъ подъ камнемъ. И назадъ онъ возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, какъ раненое животное, медленно уползающее въ свою темную нору послѣ жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Іуды, а былъ домъ, и въ этомъ домѣ онъ увидѣлъ Іисуса. Усталый, похудѣвшій, измученный непрерывной борьбою съ фарисеями, стѣною бѣлыхъ, блестящихъ, ученыхъ лбовъ окружавшихъ Его каждодневно въ храмѣ, Онъ сидѣлъ прижавшись щекою къ шершавой стѣнѣ, и повидимому крѣпко спалъ. Въ открытое окно влетали безпокойные звуки города, за стѣною стучалъ Петръ, сбивая для трапезы новый столъ, и напѣвалъ тихую галилейскую пѣсенку,—но Онъ ничего не слышалъ и спалъ спокойно и крѣпко. И это былъ тотъ, кого они купили за тридцать серебряниковъ.

Безшумно продвинувшись впередъ, Іуда съ нѣжной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, съ изумленіемъ вылѣзшаго изъ логовища звѣря, котораго вдругъ очаровалъ бѣленькій цвѣтокъ—тихо коснулся Его мягкихъ волосъ и быстро отдернулъ руку. Еще разъ коснулся—и выползъ безшумно.

— Господи!—сказалъ онъ—Господи!

И выйдя въ мѣсто, куда ходили по нуждѣ, долго плакалъ тамъ, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкалъ воображаемые волосы Іисуса, нашептывалъ тихо что-то нѣжное и смѣшное и скрипѣлъ зубами. Потомъ внезапно пересталъ плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался,

склонивъ на сторону мокрое лицо, похожій на человѣка, который прислушивается. И такъ долго стоялъ онъ тяжелый, рѣшительный и всему чужой, какъ сама судьба.

... Тихою любовью, нѣжнымъ вниманіемъ, ласкою окружилъ Іуда несчастнаго Іисуса въ эти послѣдніе дни Его короткой жизни. Стыдливый и робкій, какъ дѣвушка въ своей первой любви, страшно чуткій и проницательный, какъ она—онъ угадывалъ малѣйшія невысказанныя желанія Іисуса, проникалъ въ сокровенную глубину Его ощущеній, мимолетныхъ вспышекъ грусти, тяжелыхъ мгновеній усталости. И куда бы ни ступала нога Іисуса, она встрѣчала мягкое, и куда бы ни обращался Его взоръ, онъ находилъ пріятное. Раньше Іуда не любилъ Марію Магдалину и другихъ женщинъ, которыя были возлѣ Іисуса, грубо шутилъ надъ ними и причинялъ мелкія непріятности—теперь онъ сталъ ихъ другомъ, смѣшнымъ и неповоротливымъ союзникомъ. Съ глубокимъ интересомъ разговаривалъ съ ними о маленькихъ, милыхъ привычкахъ Іисуса, подолгу съ настойчивостью разспрашивая объ одномъ и томъ же, таинственно совалъ деньги въ руку, въ самую ладонь—и тѣ приносили амбру, благовонное дорогое миро, столь любимое Іисусомъ, и обтирали Его ноги. Самъ покупалъ, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Іисуса и потомъ очень сердился, когда почти все его выпивалъ Петръ съ равнодушіемъ человѣка, придающаго значеніе только количеству; и въ каменистомъ Іерусалимѣ, почти вовсе лишенномъ деревьевъ, цвѣтовъ и зелени, доставалъ откуда-то молоденькіе весенніе цвѣты, зелененькую травку и черезъ тѣхъ же женщинъ передавалъ Іисусу. Самъ приносилъ на рукахъ—первый разъ въ жизни—маленькихъ дѣтей, добывая ихъ гдѣ-то по дворамъ или на улицѣ и принужденно цѣлуя ихъ, чтобы не

плакали; и часто случалось, что къ задумавшемуся Іисусу вдругъ всползало на колѣни что-то маленькое, черненькое съ курчавыми волосами и грязнымъ носикомъ и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались другъ на друга, Іуда строго прохаживался въ сторонѣ, какъ суровый тюремщикъ, который самъ весною впустилъ къ заключенному бабочку и теперь притворно ворчитъ, жалуясь на безпорядокъ.

По вечерамъ, когда вмѣстѣ съ тьмою у оконъ становилась на стражѣ и тревога, Искаріотъ искусно наводилъ разговоръ на Галилею, чуждую ему, но милую Іисусу Галилею съ ея тихою водой и зелеными берегами. И до тѣхъ поръ раскачивалъ онъ тяжелаго Петра, пока не просыпались въ немъ заглохшія воспоминанія и въ яркихъ картинахъ, гдѣ все было громко, красочно и густо, не вставала передъ глазами и слухомъ милая галилейская жизнь. Съ жаднымъ вниманіемъ, по-дѣтски полуоткрывъ ротъ, заранѣе смѣясь глазами, слушалъ Іисусъ его порывистую, звонкую, веселую рѣчь и иногда такъ хохоталъ надъ его шутками, что на нѣсколько минутъ приходилось останавливать разсказъ. Но еще лучше, чѣмъ Петръ, разсказывалъ Іоаннъ; у него не было смѣшного и неожиданнаго, но все становилось такимъ задумчивымъ, необыкновеннымъ и прекраснымъ, что у Іисуса показывались на глазахъ слезы и Онъ тихонько вздыхалъ, а Іуда толкалъ въ бокъ Марію Магдалину и съ восторгомъ шепталъ ей:

— Какъ онъ разсказываетъ! Ты слышишь?

— Слышу, конечно.

— Нѣтъ, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умѣете хорошо слушать.

Потомъ всѣ тихо расходились спать и Іисусъ нѣжно съ благодарностью цѣловалъ Іоанна и ласково гладилъ по плечу высокаго Петра.

И безъ зависти, съ снисходительнымъ презрѣніемъ смотрѣлъ Іуда на эти ласки. Что значатъ всѣ эти раз-

сказы, эти поцѣлуи и вздохи сравнительно съ тѣмъ, что знаетъ онъ, Іуда изъ Каріота, рыжій, безобразный іудей, рожденный среди камней!

VI.

Одною рукою предавая Іисуса, другой рукою Іуда старательно искалъ разстроить свои собственные планы. Онъ не отговаривалъ Іисуса отъ послѣдняго, опаснаго путешествія въ Іерусалимъ, какъ дѣлали это женщины, онъ даже склонялся скорѣе на сторону родственниковъ Іисуса и тѣхъ изъ Его учениковъ, которые побѣду надъ Іерусалимомъ считали необходимою для полнаго торжества дѣла. Но настойчиво и упорно предупреждалъ онъ объ опасности и въ живыхъ краскахъ изображалъ грозную ненависть фарисеевъ къ Іисусу, ихъ готовность пойти на преступленіе и тайно или явно умертвить пророка изъ Галилеи. Каждый день и каждый часъ говорилъ онъ объ этомъ и не было ни одного изъ вѣрующихъ, передъ кѣмъ не стоялъ бы Іуда, поднявъ грозящій палецъ, и не говорилъ бы предостерегающе и строго:

— Нужно беречь Іисуса! Нужно беречь Іисуса! Нужно заступиться за Іисуса, когда придетъ на то время.

Но безграничная ли вѣра учениковъ въ чудесную силу ихъ учителя, сознаніе ли правоты своей или просто ослѣпленіе — пугливыя слова Іуды встрѣчались улыбкою, а безконечные совѣты вызывали даже ропотъ. Когда Іуда добылъ откуда-то и принесъ два меча, только Петру понравилось это и только Петръ похвалилъ мечи и Іуду, остальные же недовольно сказали:

— Развѣ мы воины, что должны опоясываться мечами? И развѣ Іисусъ не пророкъ, а военачальникъ?

— Но если они захотятъ умертвить Его?

— Они не посмѣютъ, когда увидятъ, что весь народъ идетъ за Нимъ.

— А если посмѣютъ? Тогда что?

Іоаннъ говорилъ пренебрежительно:

— Можно подумать, что только одинъ ты, Іуда, любишь учителя.

И жадно вцѣпившись въ эти слова, совсѣмъ не обижаясь, Іуда начиналъ допрашивать торопливо, горячо, съ суровой настойчивостью:

— Но вы Его любите, да?

И не было ни одного изъ вѣрующихъ, приходившихъ къ Іисусу, кого онъ не спросилъ бы неоднократно:

— А ты Его любишь? Крѣпко любишь?

И всѣ отвѣчали, что любятъ.

Онъ часто бесѣдовалъ съ Ѳомой и, поднявъ предостерегающе сухой цѣпкій палецъ съ длиннымъ и грязнымъ ногтемъ, таинственно предупреждалъ его:

— Смотри, Ѳома, близится страшное время. Готовы ли вы къ нему? Почему ты не взялъ меча, который я принесъ?

Ѳома разсудительно отвѣтилъ:

— Мы люди непривычные къ обращенію съ оружіемъ. И если мы вступимъ въ борьбу съ римскими воинами, то они всѣхъ насъ перебьютъ. Кромѣ того ты принесъ только два меча,—что можно сдѣлать двумя мечами?

— Можно еще достать. Ихъ можно отнять у воиновъ,—нетерпѣливо возразилъ Іуда, и даже серьезный Ѳома улыбнулся сквозь прямые, нависшіе усы:

— Ахъ, Іуда, Іуда! А эти гдѣ ты взялъ? Они похожи на мечи римскихъ солдатъ?

— Эти я укралъ. Можно было еще украсть, но тамъ закричали—и я убѣжалъ.

Ѳома задумался и печально сказалъ:

— Опять ты поступилъ нехорошо, Іуда. Зачѣмъ ты крадешь?

— Но вѣдь нѣтъ же чужого!

— Да, но завтра воиновъ спросятъ: а гдѣ ваши мечи? И, не найдя, накажутъ ихъ безъ вины.

И впослѣдствіи, уже послѣ смерти Іисуса, ученики припоминали эти разговоры Іуды и рѣшили, что вмѣстѣ съ учителемъ хотѣлъ онъ погубить и ихъ, вызвавъ на неравную и убійственную борьбу. И еще разъ прокляли ненавистное имя Іуды изъ Каріота, предателя.

А разсерженный Іуда, послѣ каждаго такого разговора, шелъ къ женщинамъ и плакался передъ ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нѣжное, что было въ его любви къ Іисусу, сблизило его съ ними, сдѣлало его въ ихъ глазахъ простымъ, понятнымъ и даже красивымъ, хотя попрежнему въ его обращеніи съ ними сквозило нѣкоторое пренебреженіе.

— Развѣ это люди?—горько жаловался онъ на учениковъ, довѣрчиво устремляя на Марію свой слѣпой и неподвижный глазъ. — Это же не люди! У нихъ нѣтъ крови въ жилахъ даже на оболъ!

— Но вѣдь ты же всегда говорилъ дурно о людяхъ,— возражала Марія.

— Развѣ я когда-нибудь говорилъ о людяхъ дурно?—удивлялся Іуда.—Ну да, я говорилъ о нихъ дурно, но развѣ не могли бы они быть немного лучше? Ахъ, Марія, глупая Марія, зачѣмъ ты не мужчина и не можешь носить меча!

— Онъ такъ тяжелъ, я не подниму его,—улыбнулась Марія.

— Поднимешь, когда мужчины будутъ такъ плохи. Отдала ли ты Іисусу лилію, которую нашелъ я въ горахъ? Я всталъ рано утромъ, чтобы найти ее и сегодня было такое красное солнце, Марія! Радъ ли былъ Онъ? Улыбнулся ли Онъ?

— Да, Онъ былъ радъ. Онъ сказалъ, что отъ цвѣтка пахнетъ Галилеей.

— И ты, конечно, не сказала Ему, что это Іуда досталъ, Іуда изъ Каріота?

— Ты же просилъ не говорить.

— Нѣтъ, не надо, конечно, не надо, — вздохнулъ Іуда.—Но ты могла проболтаться, вѣдь женщины такъ болтливы. Но ты не проболталась, нѣтъ? Ты была тверда? Такъ, такъ, Марія, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня гдѣ-то есть жена. Теперь бы я хотѣлъ посмотрѣть на нее: быть-можетъ, она тоже не плохая женщина. Не знаю. Она говорила: Іуда лгунъ, Іуда Симоновъ злой, и я ушелъ отъ нея. Но, можетъ быть, она и хорошая женщина—ты не знаешь?

— Какъ же я могу знать, когда я ни разу не видала твоей жены?

— Такъ, такъ, Марія. А какъ ты думаешь, тридцать серебряниковъ — это большія деньги? Или нѣтъ, небольшія?

— Я думаю, что небольшія.

— Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебряниковъ или десять? Ты была дорогая?

Марія Магдалина покраснѣла и опустила голову, такъ что пышные золотистые волосы совсѣмъ закрыли ея лицо: виднѣлся только круглый и бѣлый подбородокъ.

— Какой ты недобрый, Іуда! Я хочу забыть объ этомъ, а ты вспоминаешь.

— Нѣтъ, Марія, этого забывать не надо. Зачѣмъ? Пусть другіе забываютъ, что ты была блудницей, а ты помни. Это другимъ надо поскорѣе забыть, а тебѣ не надо. Зачѣмъ?

— Вѣдь это—грѣхъ.

— Тому страшно, кто грѣха еще не совершалъ. А кто уже совершилъ его, — чего бояться тому? Развѣ мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смѣется надъ живымъ и надъ страхомъ его.

Такъ дружелюбно сидѣли они и болтали по цѣлымъ часамъ—онъ, уже старый, сухой, безобразный со своею

бугроватой головою и дико раздвоившимся лицомъ; она—молодая, стыдливая, нѣжная, очарованная жизнью, какъ сказкою, какъ сномъ.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебряниковъ лежали подъ камнемъ, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступилъ Іисусъ въ Іерусалимъ на осляти и, разстилая одежды по пути Его, привѣтствовалъ Его народъ восторженными криками:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

И такъ велико было ликованіе, такъ неудержимо въ крикахъ рвалась къ небу любовь, что плакалъ Іисусъ, а ученики Его говорили гордо:

— Не сынъ ли это Божій съ нами?

И сами кричали торжествующе:

— Осанна, Осанна! Грядый во имя Господне!

Въ тотъ вечеръ долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встрѣчу, а Петръ былъ, какъ сумасшедшій, какъ одержимый бѣсомъ веселія и гордости. Онъ кричалъ, заглушая всѣ рѣчи своимъ львинымъ рыканіемъ, хохоталъ, бросая свой хохотъ на головы, какъ круглые, большіе камни, цѣловалъ Іоанна, цѣловалъ Іакова и даже поцѣловалъ Іуду. И сознался шумно, что онъ очень боялся за Іисуса, а теперь ничего не боится, потому что видѣлъ любовь народа къ Іисусу. Удивленно, быстро двигая живымъ и зоркимъ глазомъ, смотрѣлъ по сторонамъ Искаріотъ; задумывался и вновь слушалъ и смотрѣлъ; потомъ отвелъ въ сторону Ѳому и, точно прикалывая его къ стѣнѣ своимъ острымъ взоромъ, спросилъ въ недоумѣніи, страхѣ и какой-то смутной надеждѣ:

— Ѳома! А что, если Онъ правъ? Если камни у Него подъ ногами, а у меня подъ ногою—песокъ только. Тогда что?

— Про кого ты говоришь?—освѣдомился Ѳома.

— Какъ же тогда Іуда изъ Каріота? Тогда я самъ

долженъ удушить Его, чтобы сдѣлать правду. Кто обманываетъ Іуду: вы или самъ Іуда? Кто обманываетъ Іуду? Кто?

— Я тебя не понимаю, Іуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманываетъ Іуду? Кто правъ?

И покачивая головою, Іуда повторилъ, какъ эхо:

— Кто обманываетъ Іуду? Кто правъ?

И на другой еще день, въ томъ, какъ поднималъ Іуда руку съ откинутымъ большимъ пальцемъ, какъ онъ смотрѣлъ на Ѳому, звучалъ все тотъ же странный вопросъ:

— Кто обманываетъ Іуду? Кто правъ?

И еще больше удивился и даже обезпокоился Ѳома, когда вдругъ ночью зазвучалъ громкій и какъ будто радостный голосъ Іуды:

— Тогда не будетъ Іуды изъ Каріота. Тогда не будетъ Іисуса. Тогда будетъ... Ѳома, глупый Ѳома! Хотѣлось ли тебѣ когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, можетъ быть, бросить потомъ.

— Это невозможно. Что ты говоришь, Іуда!

— Это возможно,—убѣжденно сказалъ Искаріотъ.— И мы ее поднимемъ когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Ѳома. Спи! Мнѣ весело, Ѳома! Когда ты спишь, у тебя въ носу играетъ галилейская свирѣль. Спи!

Но вотъ уже разошлись по Іерусалиму вѣрующіе и скрылись въ домахъ, за стѣнами, и загадочны стали лица встрѣчныхъ. Погасло ликованіе. И уже смутные слухи объ опасности поползли въ какія-то щели; пробовалъ сумрачный Петръ подаренный ему Іудою мечъ и все печальнѣе и строже становилось лицо учителя. Такъ быстро пробѣгало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вотъ прошла и послѣдняя вечеря, полная печали и смутнаго страха, и уже прозвучали неясныя слова Іисуса о комъ-то, кто предастъ Его.

— Ты знаешь, кто Его предастъ?—спрашивалъ Ѳома, смотря на Іуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

— Да, знаю,—отвѣтилъ Іуда, суровый и рѣшительный.—Ты, Ѳома, предашь Его. Но Онъ самъ не вѣритъ тому, что говоритъ! Пора! Пора! Почему Онъ не зоветъ къ себѣ сильнаго, прекраснаго Іуду?

... Уже не днями, а короткими быстро летящими часами мѣрялось неумолимое время. И былъ вечеръ, и вечерняя тишина была, и длинныя тѣни ложились по землѣ—первыя острыя стрѣлы грядущей ночи великаго боя, когда прозвучалъ печальный и суровый голосъ. Онъ говорилъ:

— Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать Тебя въ руки твоихъ враговъ.

И было долгое молчаніе, тишина вечера и острыя, черныя тѣни.

— Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мнѣ идти?

И снова молчаніе.

— Позволь мнѣ остаться. Но ты не можешь? Или не смѣешь? Или не хочешь?

И снова молчаніе, огромное, какъ глаза вѣчности.

— Но вѣдь ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты все знаешь. Зачѣмъ ты такъ смотришь на Іуду? Велика тайна Твоихъ прекрасныхъ глазъ, но развѣ моя—меньше? Повели мнѣ остаться!.. Но Ты молчишь, Ты все молчишь? Господи, Господи, затѣмъ ли въ тоскѣ и мукахъ искалъ я Тебя всю мою жизнь, искалъ и нашелъ! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле горъ и свинца. Развѣ Ты не слышишь, какъ трещитъ подъ нею грудь Іуды изъ Каріота?

И послѣднее молчаніе, бездонное, какъ послѣдній взглядъ вѣчности.

— Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала

и не заплакала она, и не зазвенѣла тихимъ звономъ своего тонкаго стекла—такъ слабъ былъ шумъ удалявшихся шаговъ. Прошумѣли и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тѣнями, потемнѣла—и вдругъ вздохнула вся шелестомъ тоскливо взметнувшихся листьевъ, вздохнула и замерла, встрѣчая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другіе голоса — точно развязалъ кто-то мѣшокъ съ живыми звонкими голосами и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, цѣлой кучей. Это говорили ученики. И покрывая ихъ всѣхъ, стукаясь о деревья, о стѣны, падая на самого себя, загремѣлъ рѣшительный и властный голосъ Петра—онъ клялся, что никогда не оставитъ Учителя своего.

— Господи!—говорилъ онъ съ тоскою-гнѣвомъ.— Господи! съ Тобою я готовъ и въ темницу, и на смерть идти.

И тихо, какъ мягкое эхо чьихъ-то удалившихся шаговъ, прозвучалъ безпощадный отвѣтъ:

— Говорю тебѣ, Петръ, не пропоетъ пѣтухъ сегодня, какъ ты трижды отречешься отъ меня.

VII.

Уже встала луна, когда Іисусъ собрался идти на гору Елеонскую, гдѣ проводилъ Онъ всѣ послѣднія ночи свои. Но непонятно медлилъ Онъ и ученики, готовые тронуться въ путь, торопили Его; тогда Онъ сказалъ внезапно:

— Кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ возьми его, такъ же и суму; а у кого нѣтъ, продай одежду свою и купи мечъ. Ибо сказываю вамъ, что должно исполниться на Мнѣ и этому написанному: и къ злодѣямъ причтенъ.

Ученики удивились и смотрѣли другъ на друга съ смущеніемъ. Петръ же отвѣтилъ:

— Господи! вотъ здѣсь два меча.

Онъ взглянулъ испытующе на ихъ добрыя лица, опустилъ голову и сказалъ тихо:

— Довольно.

Звонко отдавались въ узкихъ улицахъ шаги идущихъ—и пугались ученики звука шаговъ своихъ; на бѣлой стѣнѣ, озаренной луною, выростали ихъ черныя тѣни—и тѣней своихъ пугались они. Такъ молча проходили они по спящему Іерусалиму, и вотъ уже за ворота города они вышли, и въ глубокой лощинѣ, полной загадочно неподвижныхъ тѣней, открылся имъ Кедронскій потокъ. Теперь ихъ пугало все. Тихое журчаніе и плескъ воды на камняхъ казался имъ голосами подкрадывающихся людей; уродливыя тѣни скалъ и деревьевъ, преграждавшія дорогу, безпокоили ихъ пестротою своею, и движеніемъ казалась ихъ ночная неподвижность. Но по мѣрѣ того, какъ поднимались они въ гору и приближались къ Геѳсиманскому саду, гдѣ въ безопасности и тишинѣ уже провели столько ночей, они дѣлались смѣлѣе. Изрѣдка оглядываясь на оставленный Іерусалимъ, весь бѣлый подъ луною, они разговаривали между собою о минувшемъ страхѣ; и тѣ, которые шли сзади, слышали отрывочно тихія слова Іисуса. О томъ, что всѣ покинутъ Его, говорилъ Онъ.

Въ саду, въ началѣ его они остановились. Большая часть остались на мѣстѣ и съ тихимъ говоромъ начали готовиться ко сну, разстилая плащи въ прозрачномъ кружевѣ тѣней и луннаго свѣта. Іисусъ же, томимый безпокойствомъ, и четверо Его ближайшихъ учениковъ, пошли дальше въ глубину сада. Тамъ сѣли они на землѣ, неостывшей еще отъ дневного жара и, пока Іисусъ молчалъ, Петръ и Іоаннъ лѣниво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зѣвая отъ усталости, они говорили о томъ, какъ холодна ночь и о томъ, какъ дорого мясо въ Іерусалимѣ, рыбы же совсѣмъ нельзя достать. Старались точнымъ числомъ

опредѣлить количество паломниковъ, собравшихся къ празднику въ городъ, и Петръ, громкою зѣвотою растягивая слова, говорилъ, что двадцать тысячъ, а Іоаннъ и братъ его Іаковъ увѣряли такъ же лѣниво, что не болѣе десяти. Вдругъ Іисусъ быстро поднялся.

— Душа моя скорбитъ смертельно. Побудьте здѣсь и бодрствуйте,—сказалъ Онъ и быстрыми шагами удалился въ чащу и скоро пропалъ въ неподвижности тѣней ея и свѣта.

— Куда Онъ? — сказалъ Іоаннъ, приподнявшись на локтѣ. Петръ повернулъ голову вслѣдъ ушедшему и утомленно отвѣтилъ:

— Не знаю.

И, еще разъ громко зѣвнувъ, опрокинулся на спину и затихъ. Затихли и остальные и крѣпкій сонъ здоровой усталости охватилъ ихъ неподвижныя тѣла. Сквозь тяжелую дрему Петръ видѣлъ смутно что-то бѣлое, наклонившееся надъ нимъ, и чей-то голосъ прозвучалъ и погасъ, не оставивъ слѣда въ его помраченномъ сознаніи:

— Симонъ, ты спишь?

И опять онъ спалъ, и опять какой-то тихій голосъ коснулся его слуха и погасъ, не оставивъ слѣда:

— Такъ ли и одного часа не могли вы бодрствовать со Мною?

„Ахъ, Господи, если бы Ты зналъ, какъ мнѣ хочется спать“,—подумалъ онъ въ полуснѣ, но ему показалось, что сказалъ онъ это громко. И снова онъ уснулъ, и много какъ будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Іисуса и громкій, будящій голосъ мгновенно отрезвилъ его и остальныхъ:

— Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришелъ часъ—вотъ предается сынъ человѣческій въ руки грѣшниковъ.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа отъ холода внезапнаго про-

бужденія. Сквозь чащу деревьевъ, озаряя ихъ бѣгучимъ огнемъ факеловъ, съ топотомъ и шумомъ, въ лязгѣ оружія и хрустѣ ломающихся вѣтокъ приближалась толпа воиновъ и служителей храма. А съ другой стороны прибѣгали трясущіеся отъ холода ученики, съ испуганными, заспанными лицами, и еще не понимая въ чемъ дѣло, торопливо спрашивали:

— Что это? Что это за люди съ факелами?

Блѣдный Ѳома, со сбившимся на сторону прямымъ усомъ, зябко ляскалъ зубами и говорилъ Петру:

— Повидимому, это пришли за нами.

Вотъ толпа воиновъ окружила ихъ и дымный, тревожный блескъ огней отогналъ куда-то въ стороны и вверхъ тихое сіяніе луны. Впереди воиновъ торопливо двигался Іуда изъ Каріота и, остро ворочая живымъ глазомъ своимъ, разыскивалъ Іисуса. Нашелъ Его, на мигъ остановился взоромъ на Его высокой, тонкой фигурѣ и быстро шепнулъ служителямъ:

— Кого я поцѣлую, Тотъ и есть. Возьмите Его и ведите осторожно. Но только осторожно—вы слыхали?

Затѣмъ быстро продвинулся къ Іисусу, ожидавшему его молча, и погрузилъ, какъ ножъ, свой прямой и острый взглядъ въ Его спокойные, потемнѣвшіе глаза.

— Радуйся, Равви!—сказалъ онъ громко, вкладывая странный и грозный смыслъ въ слова обычнаго привѣтствія.

Но Іисусъ молчалъ—и съ ужасомъ глядѣли на предателя ученики, не понимая, какъ можетъ столько зла вмѣстить въ себя душа человѣка. Быстрымъ взглядомъ окинулъ Искаріотъ ихъ смятенные ряды, замѣтилъ трепетъ, готовый перейти въ громко ляскающую дрожь испуга, замѣтилъ блѣдность, безсмысленныя улыбки, вялыя движенія рукъ, точно стянутыхъ желѣзомъ у предплечья — и зажглась въ его сердцѣ смертельная скорбь, подобная той, какую испыталъ передъ этимъ Христосъ. Вытянувшись въ сотню громко звенящихъ,

рыдающихъ струнъ, онъ быстро рванулся къ Іисусу— и нѣжно поцѣловалъ Его холодную щеку. Такъ тихо, такъ нѣжно, съ такой мучительной любовью и тоской, что будь Іисусъ цвѣткомъ на тоненькомъ стебелькѣ— онъ не колыхнулъ бы его этимъ поцѣлуемъ и жемчужной росы не сронилъ бы съ чистыхъ лепестковъ.

— Іуда! — сказалъ Іисусъ и молніей своего взора освѣтилъ ту чудовищную груду настороживщихся тѣней, что была душой Искаріота,—но въ бездонную глубину ея не могъ проникнуть. — Іуда! Цѣлованіемъ ли предаешь сына человѣческаго?

И видѣлъ, какъ дрогнулъ и пришелъ въ движеніе весь этотъ чудовищный хаосъ. Безмолвнымъ и строгимъ, какъ смерть въ своемъ гордомъ величіи, стоялъ Іуда изъ Каріота, а внутри его все стенало, гремѣло и выло тысячью буйныхъ и огненныхъ голосовъ:

„Да! Цѣлованіемъ любви предаемъ мы Тебя! Цѣлованіемъ любви предаемъ мы Тебя на поруганіе, на истязанія, на смерть! Голосомъ любви скликаемъ мы палачей изъ темныхъ норъ, и ставимъ крестъ — и высоко надъ теменемъ земли мы поднимаемъ на крестѣ любовью распятую любовь".

Такъ стоялъ Іуда безмолвный и холодный, какъ смерть, а крику души его отвѣчали крики и шумъ, поднявшіеся вокругъ Іисуса. Съ грубой нерѣшительностью вооруженной силы, съ неловкостью смутно понимаемой цѣли, уже хватали Его за руки солдаты и тащили куда-то — свою нерѣшительность принимая за сопротивленіе, свой страхъ за насмѣшку надъ ними и издѣвательство. Какъ кучка испуганныхъ ягнятъ, тѣснились ученики, ничему не препятствуя, но всѣмъ мѣшая, и даже самимъ себѣ; и только немногіе рѣшались ходить и дѣйствовать отдѣльно отъ другихъ. Толкаемый со всѣхъ сторонъ, Петръ Симоновъ съ трудомъ, точно потерявъ всѣ свои силы, извлекъ изъ ноженъ мечъ и слабо, косымъ ударомъ опустилъ его на голову одного

изъ служителей,—но никакого вреда не причинилъ. И замѣтившій это Іисусъ приказалъ ему бросить ненужный мечъ, и, слабо звякнувъ, упало подъ ноги желѣзо, столь видимо лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло въ голову поднять его. Такъ и валялось оно подъ ногами, и много дней спустя нашли его на томъ же мѣстѣ играющія дѣти и сдѣлали его своей забавой.

Солдаты распихивали учениковъ, а тѣ вновь собирались и тупо лѣзли подъ ноги, и это продолжалось до тѣхъ поръ, пока не овладѣла солдатами презрительная ярость. Вотъ одинъ изъ нихъ, насупивъ брови, двинулся къ кричащему Іоанну; другой грубо столкнулъ съ своего плеча руку Ѳомы, въ чемъ-то убѣждавшаго его, и къ самымъ прямымъ и прозрачнымъ глазамъ его поднесъ огромный кулакъ — и побѣжалъ Іоаннъ, и побѣжалъ Ѳома и Іаковъ, и всѣ ученики, сколько ни было ихъ здѣсь, оставивъ Іисуса, бѣжали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бѣжали въ горы, гонимые страхомъ, и въ тишинѣ лунной ночи звонко гудѣла земля подъ топотомъ многочисленныхъ ногъ. Кто-то неизвѣстный, повидимому, только что вставшій съ постели, ибо былъ покрытъ онъ только однимъ одѣяломъ, возбужденно сновалъ въ толпѣ воиновъ и служителей. Но когда его хотѣли задержать и схватили за одѣяло, онъ испуганно вскрикнулъ и бросился бѣжать, какъ и другіе, оставивъ свою одежду въ рукахъ солдатъ. Такъ совершенно голый бѣжалъ онъ отчаянными скачками, и нагое тѣло его странно мелькало подъ луною.

Когда Іисуса увели, вышелъ изъ-за деревьевъ притаившійся Петръ и въ отдаленіи послѣдовалъ за учителемъ. И увидя впереди себя другого человѣка, шедшаго молча, подумалъ, что это Іоаннъ и тихо окликнулъ его:

— Іоаннъ, это ты?

— А это ты, Петръ?—отвѣтилъ тотъ, остановившись, и по голосу Петръ призналъ въ немъ Предателя.—Почему же ты, Петръ, не убѣжалъ вмѣстѣ съ другими?

Петръ остановился и съ отвращеніемъ произнесъ:

— Отойди отъ меня, сатана!

Іуда засмѣялся и, не обращая болѣе вниманія на Петра, пошелъ дальше, туда, гдѣ дымно сверкали факелы и лязгъ оружія смѣшивался съ отчетливымъ звукомъ шаговъ. Двинулся осторожно за нимъ и Петръ, и такъ почти одновременно вошли они во дворъ первосвященника и вмѣшались въ толпу служителей, грѣвшихся у костровъ. Хмуро грѣлъ надъ огнемъ свои костлявыя руки Іуда и слышалъ, какъ гдѣ-то позади него громко заговорилъ Петръ:

— Нѣтъ, я не знаю Его.

Но тамъ, очевидно, настаивали на томъ, что онъ изъ учениковъ Іисуса, потому что еще громче Петръ повторилъ:

— Да нѣтъ же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Іуда мотнулъ утвердительно головой и пробормоталъ:

— Такъ, такъ, Петръ! Никому не уступай своего мѣста возлѣ Іисуса!

И не видѣлъ онъ, какъ ушелъ со двора перепуганный Петръ, чтобы не показываться болѣе. И съ этого вечера до самой смерти Іисуса не видѣлъ Іуда вблизи Его ни одного изъ учениковъ; и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданій—Тотъ, Кого предали на поруганіе и муки, и тотъ, кто Его предалъ. Изъ одного кубка страданій, какъ братья, пили они оба, Преданный и Предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистыя и нечистыя уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявшій глаза ощущеніемъ жара, протягивая къ огню длинныя шевелящіяся руки, весь безформенный въ путаницѣ

рукъ и ногъ, дрожащихъ тѣней и свѣта, Искаріотъ бормоталъ жалобно и хрипло:

— Какъ холодно! Боже мой, какъ холодно!

Такъ, вѣроятно, когда уѣзжаютъ ночью рыбаки, оставивъ на берегу тлѣющій костеръ—изъ темной глубины моря вылѣзаетъ нѣчто, подползаетъ къ огню, смотритъ на него пристально и дико, тянется къ нему всѣми членами своими и бормочетъ жалобно и хрипло:

— Какъ холодно! Боже мой, какъ холодно!

Вдругъ за своей спиной Іуда услышалъ взрывъ громкихъ голосовъ, крики и смѣхъ солдатъ, полные знакомой, сонно-жадной злобы, и хлесткіе, короткіе и частые удары по живому тѣлу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тѣла, всѣхъ костей—это били Іисуса.

Такъ вотъ оно!

Видѣлъ, какъ солдаты увели Іисуса къ себѣ, въ караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пепломъ, а изъ караульни все еще неслись глухіе крики, смѣхъ и ругательства. Это били Іисуса. Точно заблудившись, Искаріотъ проворно бѣгалъ по обезлюдѣвшему двору, останавливался съ разбѣга, поднималъ голову и снова бѣжалъ, удивленно натыкаясь на костры, на стѣны. Потомъ прилипалъ къ стѣнѣ караульни и, вытягиваясь, присасывался къ окну, къ щелямъ дверей и жадно разглядывалъ, что дѣлается тамъ. Видѣлъ тѣсную, душную, комнату, грязную, какъ всѣ караульни въ мірѣ, съ заплеваннымъ поломъ и такими замасленными, запятнанными стѣнами, точно по нимъ ходили или валялись. И видѣлъ человѣка, котораго били. Его били по лицу, по головѣ, перебрасывали, какъ мягкій тюкъ, съ одного конца на другой; и такъ какъ Онъ не кричалъ и не сопротивлялся, то минутами, послѣ напряженнаго смотрѣнія, дѣйствительно начинало казаться, что это не живой человѣкъ,

а какая-то мягкая кукла, безъ костей и крови. И выгибалась она странно, какъ кукла, и когда при паденіи ударялась головой о камни пола, то не было впечатлѣнія удара твердымъ о твердое, а все то же мягкое, безболѣзненное. И когда долго смотрѣть, то становилось похоже на какую-то безконечную, странную игру—иногда до полнаго почти обмана. Послѣ одного сильнаго толчка человѣкъ или кукла опустился плавнымъ движеніемъ на колѣни къ сидящему солдату; тотъ въ свою очередь оттолкнулъ и оно, перевернувшись, сѣло къ слѣдующему, и такъ еще и еще. Поднялся сильный хохотъ и Іуда такъ же улыбнулся—точно чья-то сильная рука желѣзными пальцами разодрала ему ротъ. Это былъ обманутъ ротъ Іуды.

Ночь тянулась и костры еще тлѣли. Іуда отвалился отъ стѣны и медленно прибрелъ къ одному изъ костровъ, раскопалъ уголь, поправилъ его и, хотя холода теперь не чувствовалъ, протянулъ надъ огнемъ слегка дрожащія руки. И забормоталъ тоскливо:

— Ахъ, больно, очень больно, сыночекъ мой, сынокъ, сыночекъ. Больно, очень больно!..

Потомъ опять пошелъ къ окну, желтѣющему тусклымъ огнемъ въ прорѣзѣ частой рѣшетки, и снова сталъ смотрѣть, какъ бьютъ Іисуса. Одинъ разъ передъ самыми глазами Іуды промелькнуло Его смуглое, теперь обезображенное лицо въ чащѣ спутавшихся волосъ. Вотъ чья-то рука впилась въ эти волосы, повалила человѣка и равномѣрно переворачивая голову съ одной стороны на другую, стала лицомъ Его вытирать заплеванный полъ. Подъ самымъ окномъ спалъ солдатъ, открывъ ротъ съ бѣлыми блестящими зубами; вотъ чья-то широкая спина съ толстой, голой шеей загородила окно и больше ничего уже не видно. И вдругъ стало тихо.

Что это? Почему они молчатъ? Вдругъ они догадались?

Мгновенно вся голова Іуды, во всѣхъ частяхъ своихъ, наполняется гуломъ, крикомъ, ревомъ тысячъ взбѣсившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это — самый лучшій человѣкъ — это такъ просто, такъ ясно? Что тамъ теперь? Стоятъ передъ Нимъ на колѣняхъ и плачутъ тихо, цѣлуя Его ноги. Вотъ выходитъ Онъ сюда, а за Нимъ ползутъ покорно тѣ—выходитъ сюда, къ Іудѣ, выходитъ побѣдителемъ, мужемъ, властелиномъ правды, богомъ...

— Кто обманываетъ Іуду? Кто правъ?

Но нѣтъ. Опять крикъ и шумъ. Бьютъ опять. Не поняли, не догадались и бьютъ еще сильнѣе, еще больнѣе бьютъ. А костры догораютъ, покрываясь пепломъ, и дымъ надъ ними такъ же прозрачно синь, какъ и воздухъ, и небо такъ же свѣтло, какъ и луна. Это наступаетъ день.

— Что такое день?—спрашиваетъ Іуда.

Вотъ все загорѣлось, засверкало, помолодѣло, и дымъ наверху уже не синій, а розовый. Это восходитъ солнце.

— Что такое солнце?—спрашиваетъ Іуда.

VIII.

На Іуду показывали пальцами и, нѣкоторые презрительно, другіе съ ненавистью и страхомъ говорили:

— Смотрите: это Іуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрекъ онъ себя во вѣки. Тысячи лѣтъ пройдутъ, народы смѣнятся народами, а въ воздухѣ все еще будутъ звучать слова, произносимыя съ презрѣніемъ и страхомъ добрыми и злыми:

— Іуда Предатель... Іуда Предатель!..

Но онъ равнодушно слушалъ то, что говорили про него, поглощенный чувствомъ всепобѣждающаго жгучаго любопытства. Съ самаго утра, когда вывели изъ караульни избитаго Іисуса, Іуда ходилъ за Нимъ и

какъ-то странно не ощущалъ ни тоски, ни боли, ни радости—одно только непобѣдимое желаніе все видѣть и все слышать. Хотя не спалъ всю ночь, но тѣло свое чувствовалъ легкимъ; когда его не пропускали впередъ, тѣснили, онъ расталкивалъ народъ толчками и проворно вылѣзалъ на первое мѣсто; и ни минуты не оставался въ покоѣ его живой и быстрый глазъ. При допросѣ Іисуса Каіафой, чтобы не пропустить ни одного слова, онъ оттопыривалъ рукою ухо и утвердительно моталъ головою, бормоча:

— Такъ! Такъ! Ты слышишь, Іисусъ!

Но свободнымъ онъ не былъ—какъ муха, привязанная на нитку: жужжа летаетъ она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляетъ ее послушная и упорная нитка. Какія-то каменныя мысли лежали въ затылкѣ у Іуды и къ нимъ онъ былъ привязанъ крѣпко; онъ не зналъ, какъ будто, что это за мысли, не хотѣлъ ихъ трогать, но чувствовалъ ихъ постоянно. И минутами онѣ вдругъ надвигались на него, насѣдали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью—точно сводъ каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда онъ хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, какъ озябшій и спѣшилъ перевести глаза на новое мѣсто, еще на новое мѣсто. Когда Іисуса выводили отъ Каіафы, онъ совсѣмъ близко встрѣтилъ его утомленный взоръ и какъ-то не отдавая отчета, нѣсколько разъ дружелюбно кивнулъ головою.

— Я здѣсь, сынокъ, здѣсь!—пробормоталъ онъ торопливо, и со злобой толкнулъ въ спину какого-то ротозѣя, стоявшаго ему на дорогѣ. Теперь огромной, крикливой толпою всѣ двигались къ Пилату, на послѣдній допросъ и судъ, и съ тѣмъ же невыносимымъ любопытствомъ Іуда быстро и жадно разглядывалъ лица все прибывавшаго народа. Многіе были совершенно незнакомы, ихъ никогда не видѣлъ Іуда, но встрѣчались

и тѣ, которые кричали Іисусу „Осанна!“ и съ каждымъ шагомъ количество ихъ какъ будто возрастало.

— Такъ, такъ!—быстро подумалъ Іуда и голова его закружилась, какъ у пьянаго.—Все кончено. Вотъ сейчасъ закричатъ они: это—нашъ, это Іисусъ, что вы дѣлаете? и всѣ поймутъ и...

Но вѣрующіе шли молча. Одни притворно улыбались, дѣлая видъ, что все это не касается ихъ; другіе что-то сдержанно говорили, но въ гулѣ движенія, въ громкихъ и изступленныхъ крикахъ враговъ Іисуса безслѣдно тонули ихъ тихіе голоса. И опять стало легко. Вдругъ Іуда замѣтилъ невдалекѣ осторожно пробиравшагося Ѳому и, что-то быстро придумавъ, хотѣлъ къ нему подойти. При видѣ предателя Ѳома испугался и хотѣлъ скрыться, но въ узенькой, грязной уличкѣ, между двухъ стѣнъ, Іуда нагналъ его.

— Ѳома! Да погоди же!

Ѳома остановился и, протягивая впередъ обѣ руки, торжественно произнесъ:

— Отойди отъ меня, сатана.

Искаріотъ нетерпѣливо махнулъ рукою.

— Какой ты глупый, Ѳома, я думалъ, что ты умнѣе другихъ. Сатана! Сатана! вѣдь это надо доказать.

Опустивъ руки, Ѳома удивленно спросилъ:

— Но развѣ не ты предалъ учителя? Я самъ видѣлъ, какъ ты привелъ воиновъ и указалъ имъ на Іисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

— Другое, другое,—торопливо сказалъ Іуда.—Слушай, васъ здѣсь много. Нужно, чтобы вы всѣ собрались вмѣстѣ и громко потребовали: отдайте Іисуса, Онъ нашъ. Вамъ не откажутъ, не посмѣютъ. Они сами поймутъ...

— Что ты! Что ты!—рѣшительно отмахнулся руками Ѳома:—развѣ ты не видѣлъ, сколько здѣсь вооруженныхъ солдатъ и служителей храма. И потомъ суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Развѣ

онъ не пойметъ, что Іисусъ невиненъ и не повелитъ немедля освободить Его.

— Ты тоже такъ думаешь? — задумчиво спросилъ Іуда. — Ѳома, Ѳома, но если это правда? Что же тогда? Кто правъ? Кто обманулъ Іуду?

— Мы сегодня говорили всю ночь и рѣшили: не можетъ судъ осудить невиннаго. Если же онъ осудитъ...

— Ну!—торопилъ Искаріотъ.

— ... то это не судъ. И имъ же придется худо, когда надо будетъ дать отвѣтъ передъ настоящимъ судіею.

— Передъ настоящимъ! Есть еще настоящій! — засмѣялся Іуда.

— И всѣ наши прокляли тебя, но такъ какъ ты говоришь, что не ты предатель, то я думаю, тебя слѣдовало бы судить...

Не дослушавъ, Іуда круто повернулся и быстро устремился внизъ по уличкѣ, вслѣдъ за удаляющейся толпой. Но вскорѣ замедлилъ шаги и пошелъ неторопливо, подумавъ, что когда идетъ много народу, то всегда идутъ они медленно и одиноко идущій непремѣнно нагонитъ ихъ.

Когда Пилатъ вывелъ Іисуса изъ своего дворца и поставилъ Его передъ народомъ — Іуда, прижатый къ колоннѣ тяжелыми спинами солдатъ, яростно ворочающій головою, чтобы разсмотрѣть что-нибудь между двухъ блистающихъ шлемовъ, вдругъ ясно почувствовалъ, что теперь все кончено. Подъ солнцемъ, высоко надъ головами толпы онъ увидѣлъ Іисуса, окровавленнаго, блѣднаго, въ терновомъ вѣнцѣ, остріями своими вонзавшимися въ лобъ; у края возвышенія стоялъ Онъ, видимый весь съ головы до маленькихъ загорѣлыхъ ногъ, и такъ спокойно ждалъ, былъ такъ ясенъ въ своей непорочности и чистотѣ, что только слѣпой, который не видитъ самого солнца, не увидѣлъ бы этого, только безумецъ не понялъ бы. И молчалъ народъ — такъ тихо было, что слышалъ Іуда, какъ дышитъ стоя-

щій впереди солдатъ и при каждомъ дыханіи гдѣ-то поскрипываетъ ремень на его тѣлѣ.

— Такъ. Все кончено. Сейчасъ они поймутъ,—подумалъ Іуда и вдругъ что-то странное, похожее на ослѣпительную радость паденія съ безконечно высокой горы въ голубую сіяющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянувъ губы внизъ къ круглому бритому подбородку, Пилатъ бросаетъ въ толпу сухія, короткія слова—такъ кости бросаютъ въ стаю голодныхъ собакъ, думая обмануть ихъ жажду свѣжей крови и живого трепещущаго мяса:

— Вы привели ко мнѣ Человѣка этого, какъ развращающаго народъ; и вотъ я при васъ изслѣдовалъ и не нашелъ Человѣка этого виновнымъ ни въ чемъ томъ, въ чемъ вы обвиняете Его...

Іуда закрылъ глаза. Ждетъ.

И весь народъ закричалъ, завопилъ, завылъ на тысячу звѣриныхъ и человѣческихъ голосовъ:

— Смерть Ему! Распни Его! Распни Его!

И вотъ, точно глумясь надъ самимъ собою, точно въ одномъ мигѣ желая испытать всю безпредѣльность паденія, безумія и позора — тотъ же народъ кричитъ, вопитъ, требуетъ тысячью звѣриныхъ и человѣческихъ голосовъ:

— Варраву отпусти намъ! Его же распни! Распни!

Но вѣдь еще римлянинъ не сказалъ своего рѣшающаго слова: по его бритому надменному лицу пробѣгаютъ судороги отвращенія и гнѣва. Онъ понимаетъ, онъ понялъ! Вотъ онъ говоритъ тихо служителямъ своимъ, но голосъ его не слышенъ въ ревѣ толпы. Что онъ говоритъ? Велитъ имъ взять мечи и ударить на этихъ безумцевъ?

— Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачѣмъ?

Вотъ онъ моетъ руки — зачѣмъ-то моетъ свои бѣ-

лыя, чистыя, украшенныя перстнями руки — и злобно кричитъ, поднимая ихъ, удивленно молчащему народу:

— Неповиненъ я въ крови Праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается съ пальцевъ вода на мраморныя плиты, когда что-то мягко распластывается у ногъ Пилата и горячія, острыя губы цѣлуютъ его безсильно сопротивляющуюся руку—присасываются къ ней, какъ щупальцы, тянутъ кровь, почти кусаютъ. Съ отвращеніемъ и страхомъ онъ взглядываетъ внизъ — видитъ большое извивающееся тѣло, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, такъ странно непохожіе другъ на друга, какъ будто не одно существо, а множество ихъ цѣпляется за его ноги и руки. И слышитъ шопотъ прерывистый, горячій:

— Ты мудрый!..Ты благородный!..Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистинѣ сатанинскою радостью пылаетъ это дикое лицо, что съ крикомъ ногою отталкиваетъ его Пилатъ и Іуда падаетъ навзничь. И лежа на каменныхъ плитахъ, похожій на опрокинутаго дьявола, онъ все еще тянется рукою къ уходящему Пилату и кричитъ, какъ страстно влюбленный:

— Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затѣмъ проворно поднимается и бѣжитъ, провожаемый хохотомъ солдатъ Вѣдь еще не все кончено. Когда они увидятъ крестъ, когда они увидятъ гвозди, они могутъ понять и тогда... Что тогда? Видитъ мелькомъ оторопѣлаго блѣднаго Ѳому и зачѣмъ-то, успокоительно кивнувъ ему головою, нагоняетъ Іисуса, ведомаго на казнь. Идти тяжело, мелкіе камни скатываются подъ ногами, и вдругъ Іуда чувствуетъ, что онъ усталъ. Весь уходитъ въ заботу о томъ, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотритъ по сторонамъ и видитъ плачущую Марію Магдалину, видитъ множество плачущихъ женщинъ—распущенные волосы, красные глаза, искривленныя уста—всю безмѣрную печаль нѣжной женской

души, отданной на поруганіе. Оживляется внезапно и, улучивъ мгновеніе, подбѣгаетъ къ Іисусу:

— Я съ Тобою,—шепчетъ онъ торопливо.

Солдаты отгоняютъ его ударами бичей и извиваясь, чтобы ускользнуть отъ ударовъ, показывая солдатамъ оскаленные зубы, онъ поясняетъ торопливо:

— Я съ Тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытираетъ съ лица кровь и грозитъ кулакомъ солдату, который оборачивается, смѣясь, и показываетъ на него другимъ. Ищетъ зачѣмъ-то Ѳому—но ни его, ни одного изъ учениковъ нѣтъ въ толпѣ провожающихъ. Снова чувствуетъ усталость и тяжело передвигаетъ ноги, внимательно разглядывая острые, бѣлые, разсыпающіеся камушки.

... Когда былъ поднятъ молотъ, чтобы пригвоздить къ дереву лѣвую руку Іисуса, Іуда закрылъ глаза и цѣлую вѣчность не дышалъ, не видѣлъ, не жилъ, а только слушалъ. Но вотъ со скрежетомъ ударилось желѣзо о желѣзо, и разъ за разомъ тупые, короткіе, низкіе удары,—слышно, какъ входитъ острый гвоздь въ мягкое дерево, раздвигая частицы его...

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога—неужели все кончено? Нерѣшительно раскрываетъ глаза и видитъ, какъ поднимается, качаясь, крестъ и устанавливается въ ямѣ. Видитъ, какъ напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Іисуса, расширяютъ раны — и внезапно уходитъ подъ ребра опавшій животъ. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкія, бѣлѣютъ, вывертываются въ плечахъ, и раны подъ гвоздями краснѣютъ, ползутъ—вотъ оборвутся онѣ сейчасъ... Нѣтъ, остановилось. Все остановилось. Только ходятъ ребра, поднимаемыя короткимъ, глубокимъ дыханіемъ.

На самомъ темени земли вздымается крестъ и на

немъ распятый Іисусъ. Осуществился ужасъ и мечты Искаріота,—онъ поднимается съ колѣнъ, на которыхъ стоялъ зачѣмъ-то, и холодно оглядывается кругомъ. Такъ смотритъ суровый побѣдитель, который уже рѣшилъ въ сердцѣ своемъ предать все разрушенію и смерти и въ послѣдній разъ обводитъ взоромъ чужой и богатый городъ, еще живой и шумный, но уже призрачный подъ холодною рукою смерти. И вдругъ такъ же ясно, какъ ужасную побѣду свою — видитъ Искаріотъ ея зловѣщую шаткость. А вдругъ они поймутъ? Еще не поздно. Іисусъ еще живъ. Вонъ смотритъ Онъ зовущими, тоскующими глазами...

Что можетъ удержать отъ разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ея какъ будто нѣтъ совсѣмъ? Вдругъ—они поймутъ? Вдругъ всею своею грозною массой мужчинъ, женщинъ и дѣтей они двинутся впередъ, молча, безъ крика, сотрутъ солдатъ, зальютъ ихъ по уши своею кровью, вырвутъ изъ земли проклятый крестъ и руками оставшихся въ живыхъ высоко надъ теменемъ земли поднимутъ свободнаго Іисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нѣтъ, лучше Іуда ляжетъ на землѣ. Нѣтъ, лучше, лежа на землѣ и ляская зубами, какъ собака, онъ будетъ высматривать и ждать, пока не поднимутся всѣ тѣ. Но что случилось съ временемъ? То почти останавливается оно, такъ что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутомъ, какъ лѣниваго осла—то безумно мчится оно съ какой-то горы и захватываетъ дыханіе, и руки напрасно ищутъ опоры. Вонъ плачетъ Марія Магдалина. Вонъ плачетъ мать Іисуса. Пусть плачутъ. Развѣ значатъ сейчасъ что-нибудь ея слезы, слезы всѣхъ матерей, всѣхъ женщинъ въ мірѣ!

— Что такое слезы?—спрашиваетъ Іуда и бѣшено толкаетъ неподатливое время, бьетъ его кулаками, проклинаетъ, какъ раба. Оно чужое и оттого такъ непослушно. О, если бы оно принадлежало Іудѣ, — но оно

принадлежитъ всѣмъ этимъ плачущимъ, смѣющимся, болтающимъ, какъ на базарѣ; оно принадлежитъ солнцу; оно принадлежитъ кресту и сердцу Іисуса, умирающему такъ медленно.

Какое подлое сердце у Іуды! Онъ держитъ его рукою, а оно кричитъ: осанна, такъ громко, что вотъ услышатъ всѣ. Онъ прижимаетъ его къ землѣ, а оно кричитъ: осанна, осанна!—какъ болтунъ, который на улицѣ разбрасываетъ святыя тайны... Молчи! Молчи!

Вдругъ громкій, оборванный плачъ, глухіе крики, поспѣшное движеніе къ кресту. Что это? Поняли?

Нѣтъ, умираетъ Іисусъ. И это можетъ быть? Да, Іисусъ умираетъ. Блѣдныя руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногамъ пробѣгаютъ короткія судороги. И это можетъ быть? Да, умираетъ. Дыханіе рѣже. Остановилось... Нѣтъ, еще вздохъ, еще на землѣ Іисусъ. И еще?.. Нѣтъ... Нѣтъ... Нѣтъ... Іисусъ умеръ.

Свершилось. Осанна! Осанна!

Осуществился ужасъ и мечты. Кто вырветъ теперь побѣду изъ рукъ Искаріота? Свершилось. Пусть всѣ народы, какіе есть на землѣ, стекутся къ Голгоѳѣ и возопіютъ милліонами своихъ глотокъ: осанна, осанна! и моря крови и слезъ прольютъ къ подножію ея—они найдутъ только позорный крестъ и мертваго Іисуса!

Спокойно и холодно Искаріотъ оглядываетъ умершаго, останавливается на мигъ взоромъ на щекѣ, которую еще только вчера поцѣловалъ онъ прощальнымъ поцѣлуемъ, и медленно отходитъ. Теперь все время принадлежитъ ему, и идетъ онъ неторопливо; теперь вся земля принадлежитъ ему, и ступаетъ онъ твердо, какъ повелитель, какъ царь, какъ тотъ, кто безпредѣльно и радостно въ этомъ мірѣ одинокъ. Замѣчаетъ мать Іисуса и говоритъ ей сурово:

— Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будутъ плакать съ тобою всѣ матери земли. Дотолѣ,

пока не придемъ мы вмѣстѣ съ Іисусомъ и не разрушимъ смерть.

Что онъ—безуменъ или издѣвается, этотъ предатель Но онъ серьезенъ и лицо его строго, и въ безумной торопливости не бѣгаютъ его глаза, какъ прежде. Вотъ останавливается онъ и съ холоднымъ вниманіемъ осматриваетъ новую, маленькую землю. Маленькая она стала и всю ее онъ чувствуетъ подъ своими ногами; смотритъ, на маленькія горы, тихо краснѣющія въ послѣднихъ лучахъ солнца, и горы чувствуетъ подъ своими ногами; смотритъ на небо, широко открывшее свой синій ротъ, смотритъ на кругленькое солнце, безуспѣшно старающееся обжечь и ослѣпить—и небо, и солнце чувствуетъ подъ своими ногами. Безпредѣльно и радостно одинокій, онъ гордо ощутилъ безсиліе всѣхъ силъ, дѣйствующихъ въ мірѣ, и всѣ ихъ бросилъ въ пропасть.

И дальше идетъ онъ спокойными и властными шагами. И не идетъ время ни впереди, ни сзади: покорное, вмѣстѣ съ нимъ движется оно всею своей незримой громадой.

Свершилось.

IX.

Старымъ обманщикомъ, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь безконечно — явился передъ синедріономъ Іуда изъ Каріота, Предатель. Это было на другой день послѣ убійства Іисуса, около полудня. Тутъ были всѣ они, Его судьи и убійцы: и престарѣлый Анна съ своими сыновьями, точными и отвратительными подобіями отца, и снѣдаемый честолюбіемъ Каіафа, зять его, и всѣ другіе члены синедріона, укравшіе имена свои у памяти людской—богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знаніемъ закона. Молча встрѣтили они Предателя и надменныя лица ихъ остались неподвижны: какъ будто не вошло ничего. И даже са-

мый маленькій изъ нихъ и ничтожный, на котораго другіе не обращали вниманія, поднималъ кверху свое птичье лицо и смотрѣлъ такъ, будто не вошло ничего. Іуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрѣли и молчали: какъ будто не человѣкъ вошелъ, а только вползло нечистое насѣкомое, котораго не видно. Но не такой былъ человѣкъ Іуда изъ Каріота, чтобы смутиться: они молчали, а онъ себѣ кланялся и думалъ, что если и до вечера придется, то и до вечера онъ будетъ кланяться.

Наконецъ нетерпѣливый Каіафа спросилъ:

— Что надо тебѣ?

Іуда еще разъ поклонился и скромно сказалъ:

— Это я, Іуда изъ Каріота, тотъ, что предалъ вамъ Іисуса Назорея.

— Такъ что же? Ты получилъ свое. Ступай!—приказалъ Анна, но Іуда какъ будто не слыхалъ приказанія и продолжалъ кланяться. И взглянувъ на него, Каіафа спросилъ Анну:

— Сколько ему дали?

— Тридцать серебряниковъ.

Каіафа усмѣхнулся, усмѣхнулся и самъ сѣдой Анна и по всѣмъ надменнымъ лицамъ скользнула веселая улыбка; а тотъ, у котораго было птичье лицо, даже засмѣялся. И, замѣтно блѣднѣя, быстро подхватилъ Іуда:

— Такъ, такъ. Конечно, очень мало, но развѣ Іуда недоволенъ, развѣ Іуда кричитъ, что его ограбили? Онъ доволенъ. Развѣ не святому дѣлу онъ послужилъ. Святому. Развѣ не самые мудрые люди слушаютъ теперь Іуду и думаютъ: онъ нашъ, Іуда изъ Каріота, онъ нашъ братъ, нашъ другъ, Іуда изъ Каріота, Предатель? Развѣ Аннѣ не хочется стать на колѣни и поцѣловать у Іуды руку?—но только Іуда не дастъ, онъ трусъ, онъ боится, что его укусятъ.

Каіафа сказалъ:

— Выгони этого пса. Что онъ лаетъ?

— Ступай отсюда. Намъ нѣтъ времени слушать твою болтовню,—равнодушно сказалъ Анна.

Іуда выпрямился и закрылъ глаза. То притворство, которое такъ легко носилъ онъ всю свою жизнь, вдругъ стало невыносимымъ бременемъ; и однимъ движеніемъ рѣсницъ онъ сбросилъ его. И когда снова взглянулъ на Анну, то былъ взоръ его простъ и прямъ и страшенъ въ своей голой правдивости. Но и на это не обратили они вниманія.

— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками!—крикнулъ Каіафа.

Задыхаясь подъ тяжестью страшныхъ словъ, которыя онъ поднималъ все выше и выше, чтобы бросить ихъ оттуда на головы судей—Іуда хрипло спросилъ:

— А вы знаете... вы знаете, кто былъ Онъ—Тотъ, котораго вчера вы осудили и распяли?

— Знаемъ. Ступай!

Однимъ словомъ онъ прорветъ сейчасъ ту тонкую пленку, что застилаетъ ихъ глаза — и вся земля дрогнетъ подъ тяжестью безпощадной истины! У нихъ была душа—они лишатся ея; у нихъ была жизнь—они потеряютъ жизнь; у нихъ былъ свѣтъ передъ очами—вѣчная тьма и ужасъ покроютъ ихъ. Осанна! Осанна!

И вотъ они, эти страшныя слова, раздирающія горло:

— Онъ не былъ обманщикъ. Онъ былъ невиненъ и чистъ. Вы слышите? Іуда обманулъ васъ. Онъ предалъ вамъ невиннаго.

Ждетъ. И слышитъ равнодушный, старческій голосъ Анны:

— И это все, что ты хотѣлъ сказать?

— Кажется, вы не поняли меня,—говоритъ Іуда съ достоинствомъ, блѣднѣя.—Іуда обманулъ васъ. Онъ былъ невиненъ. Вы убили невиннаго.

Тотъ, у котораго птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушенъ, Анна скученъ, Анна зѣваетъ. И зѣваетъ вслѣдъ за нимъ Каіафа и говоритъ утомленно:

— Что же мнѣ говорили объ умѣ Іуды изъ Каріота? Это просто дуракъ, очень скучный дуракъ.

— Что! — кричитъ Іуда, весь наливаясь темнымъ бѣшенствомъ.—А кто вы, умные! Іуда обманулъ васъ—вы слышите! Не Его онъ предалъ, а васъ, мудрыхъ, васъ, сильныхъ, предалъ онъ позорной смерти, которая не кончится во вѣки. Тридцать серебряниковъ! Такъ, такъ. Но вѣдь это цѣна вашей крови, грязной, какъ тѣ помои, что выливаютъ женщины за ворота домовъ своихъ. Ахъ, Анна, старый, сѣдой, глупый Анна, наглотавшійся закона,—зачѣмъ ты не далъ однимъ серебряникомъ, однимъ оболомъ больше! Вѣдь въ этой цѣнѣ пойдешь ты во вѣки!

— Вонъ! — закричалъ побагровѣвшій Каіафа. Но Анна остановилъ его движеніемъ руки и все также равнодушно спросилъ Іуду:

— Теперь все?

— Вѣдь если я пойду въ пустыню и крикну звѣрямъ: звѣри, вы слышали, во сколько оцѣнили люди своего Іисуса—что сдѣлаютъ звѣри? Они вылѣзутъ изъ логовищъ, они завоютъ отъ гнѣва, они забудутъ свой страхъ передъ человѣкомъ и всѣ придутъ сюда, чтобы сожрать васъ! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оцѣнили своего Іисуса? Если я скажу горамъ: горы, вы знаете, во сколько люди оцѣнили Іисуса? И море, и горы оставятъ свои мѣста, опредѣленныя изъ вѣка, и придутъ сюда, и упадутъ на головы ваши!

— Не хочетъ ли Іуда стать пророкомъ? Онъ говоритъ такъ громко!—насмѣшливо замѣтилъ тотъ, у котораго было птичье лицо, и заискивающе взглянулъ на Каіафу.

— Сегодня я видѣлъ блѣдное солнце. Оно смотрѣло съ ужасомъ на землю и говорило: гдѣ же человѣкъ? Сегодня я видѣлъ скорпіона. Онъ сидѣлъ на камнѣ, и смѣялся, и говорилъ: гдѣ же человѣкъ? Я подошелъ

близко и въ глаза ему посмотрѣлъ. И онъ смѣялся и говорилъ: гдѣ же человѣкъ, я не вижу! Гдѣ же человѣкъ, скажите мнѣ, я не вижу! Или ослѣпъ Іуда, бѣдный Іуда изъ Каріота!

И Искаріотъ громко заплакалъ. Былъ онъ въ эти минуты похожъ на безумнаго, и Каіафа, отвернувшись, презрительно махнулъ рукою. Анна же подумалъ немного и сказалъ:

— Я вижу, Іуда, что ты дѣйствительно получилъ мало, и это волнуетъ тебя. Вотъ еще деньги, возьми и отдай своимъ дѣтямъ.

Онъ бросилъ что-то, звякнувшее рѣзко. И еще не замолкъ этотъ звукъ, какъ другой, похожій странно продолжилъ его: это Іуда горстью бросалъ серебряники и оболы въ лица первосвященника и судей, возвращая плату за Іисуса. Косымъ дождемъ криво летѣли монеты, попадая въ лица, на столъ, раскатываясь по полу. Нѣкоторые изъ судей закрывались руками, ладонями наружу, другіе, вскочивъ съ мѣстъ, кричали и бранились. Іуда, стараясь попасть въ Анну, бросилъ послѣднюю монету, за которою долго шарила въ мѣшкѣ его дрожащая рука, плюнулъ гнѣвно и вышелъ.

— Такъ, такъ! — бормоталъ онъ, быстро проходя по уличкамъ и пугая дѣтей.—Ты, кажется, плакалъ, Іуда? Развѣ дѣйствительно правъ Каіафа, говоря, что глупъ Іуда изъ Каріота? Кто плачетъ въ день великой мести, тотъ не достоинъ ея—знаешь ты это, Іуда? Не давай глазамъ твоимъ обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Іуда изъ Каріота!

Ученики Іисуса сидѣли въ грустномъ молчаніи и прислушивались къ тому, что дѣлается снаружи дома. Еще была опасность, что месть враговъ Іисуса не ограничится Имъ однимъ, и всѣ ждали вторженія стражи и, быть можетъ, новыхъ казней. Возлѣ Іоанна, кото-

рому, какъ любимому ученику Іисуса, была особенно тяжела смерть Его, сидѣли Марія Магдалина и Матвѣй и вполголоса утѣшали его. Марія, у которой лицо распухло отъ слезъ, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матвѣй же наставительно говорилъ словами Соломона:

— Долготерпѣливый лучше храбраго и владѣющій собою лучше завоевателя города.

И въ это мгновеніе, громко хлопнувъ дверью, вошелъ Іуда Искаріотъ. Всѣ испуганно вскочили и вначалѣ даже не поняли, кто это, а когда разглядѣли ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крикъ. Петръ же поднялъ обѣ руки и закричалъ:

— Уходи отсюда, предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрѣлись лучше въ лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

— Оставьте! Оставьте его! Въ него вселился сатана.

Выждавъ тишину, Іуда громко воскликнулъ:

— Радуйтесь глаза Іуды изъ Каріота! Холодныхъ убійцъ вы видѣли сейчасъ — и вотъ уже трусливые предатели предъ вами! Гдѣ Іисусъ? Я васъ спрашиваю: гдѣ Іисусъ?

Было что-то властное въ хрипломъ голосѣ Искаріота и покорно отвѣтилъ Ѳома:

— Ты же самъ знаешь, Іуда, что учителя нашего вчера вечеромъ распяли.

— Какъ же вы позволили это? Гдѣ же была ваша любовь? Ты, любимый ученикъ, ты—камень, гдѣ были вы, когда на деревѣ распинали вашего друга?

— Что же могли мы сдѣлать, посуди самъ, — развелъ руками Ѳома.

— Ты это спрашиваешь, Ѳома? Такъ, такъ!—склонилъ голову набокъ Іуда изъ Каріота и вдругъ гнѣвно обрушился:—Кто любитъ, тотъ не спрашиваетъ, что дѣлать. Онъ идетъ и дѣлаетъ все. Опъ плачетъ, онъ ку-

сается, онъ душитъ врага и кости ломаетъ у него! Кто любитъ! Когда твой сынъ утопаетъ, развѣ ты идешь въ городъ и спрашиваешь прохожихъ: что мнѣ дѣлать? мой сынъ утопаетъ! а не бросаешься самъ въ воду и не тонешь рядомъ съ сыномъ. Кто любитъ!

Петръ хмуро отвѣтилъ на неистовую рѣчь Іуды:

— Я обнажилъ мечъ, но Онъ самъ сказалъ — не надо.

— Не надо? И ты послушался? — засмѣялся Искаріотъ.—Петръ, Петръ, развѣ можно Его слушать. Развѣ понимаетъ Онъ что-нибудь въ людяхъ, въ борьбѣ!

— Кто не повинуется Ему, тотъ идетъ въ геенну огненную.

— Отчего же ты не пошелъ? Отчего ты не пошелъ, Петръ? Геенна огненная—что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошелъ—зачѣмъ тебѣ душа, если ты не смѣешь бросить ее въ огонь, когда захочешь!

— Молчи! — крикнулъ Іоаннъ, поднимаясь. — Онъ Самъ хотѣлъ этой жертвы. И жертва Его прекрасна!

— Развѣ есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученикъ? Гдѣ жертва, тамъ и палачъ, и предатели тамъ! Жертва — это страданія для одного и позоръ для всѣхъ. Предатели, предатели, что сдѣлали вы съ землею? Теперь смотрятъ на нее и сверху и снизу и хохочутъ и кричатъ: посмотрите на эту землю, на ней распяли Іисуса! И плюютъ на нее—какъ я!

Іуда гнѣвно плюнулъ на землю.

— Онъ весь грѣхъ людей взялъ на себя. Его жертва прекрасна!—настаивалъ Іоаннъ.

— Нѣтъ, вы на себя взяли весь грѣхъ. Любимый ученикъ! Развѣ не отъ тебя начнется родъ предателей, порода малодушныхъ и лжецовъ? Слѣпцы, что сдѣлали вы съ землею? Вы погубить ее захотѣли, вы скоро будете цѣловать крестъ, на которомъ вы распяли Іисуса! Такъ, такъ—цѣловать крестъ, обѣщаетъ вамъ Іуда!

— Іуда, не оскорбляй! — прорычалъ Петръ, багро-

вѣя. — Какъ могли бы мы убить всѣхъ враговъ Его? Ихъ такъ много!

— И ты, Петръ!—съ гнѣвомъ воскликнулъ Іоаннъ.— Развѣ ты не видишь, что въ него вселился сатана? Отойди отъ насъ, искуситель. Ты полонъ лжи! Учитель не велѣлъ убивать.

— Но развѣ Онъ запретилъ вамъ и умирать? Почему же вы живы, когда Онъ мертвъ? Почему ваши ноги ходятъ, вашъ языкъ болтаетъ дрянное, ваши глаза моргаютъ, когда Онъ мертвъ, недвижимъ, безгласенъ? Какъ смѣютъ быть красными твои щеки, Іоаннъ, когда Его блѣдны? Какъ смѣешь ты кричать, Петръ, когда Онъ молчитъ? Что дѣлать, спрашиваете вы Іуду? И отвѣчаетъ вамъ Іуда, прекрасный, смѣлый Іуда изъ Каріота: умереть. Вы должны были пасть на дорогѣ, за мечи, за руки хватать солдатъ. Утопить ихъ въ морѣ своей крови—умереть, умереть! Пусть бы самъ Отецъ Его закричалъ отъ ужаса, когда всѣ вы вошли бы туда!

Іуда замолчалъ, поднявъ руку, и вдругъ замѣтилъ на столѣ остатки трапезы. И съ страннымъ изумленіемъ любопытно, какъ будто первый разъ въ жизни увидѣлъ пищу, оглядѣлъ ее и медленно спросилъ:

— Что это?—вы ѣли? Быть можетъ, вы спали также?

— Я спалъ, — коротко, опустивъ голову, отвѣтилъ Петръ, уже чувствуя въ Іудѣ кого-то, кто можетъ приказывать.—Спалъ и ѣлъ.

Ѳома рѣшительно и твердо сказалъ:

— Это все невѣрно, Іуда. Подумай: если бы мы всѣ умерли, то кто бы разсказалъ объ Іисусѣ? Кто бы понесъ людямъ Его ученіе, если бы умерли всѣ: и Петръ, и Іоаннъ, и я?

— А что такое сама правда въ устахъ предателей? Развѣ не ложью становится она? Ѳома, Ѳома, развѣ ты не понимаешь, что только сторожъ ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпаетъ сторожъ, и приходитъ воръ, и уноситъ правду съ собою—скажи, гдѣ правда? Будь

же ты проклятъ, Ѳома! Безплоденъ и нищъ ты будешь во вѣки, и вы съ нимъ, проклятые!

— Будь самъ проклятъ, сатана!—крикнулъ Іоаннъ и повторили его возгласъ Іаковъ и Матвѣй и всѣ другіе ученики. Только Петръ молчалъ.

— Я иду къ Нему!—сказалъ Іуда, простирая вверхъ властную руку.—Кто за Искаріотомъ къ Іисусу?

— Я! Я съ тобою!—крикнулъ Петръ, вставая. Но Іоаннъ и другіе съ ужасомъ остановили его, говоря:

— Безумный! Ты забылъ, что онъ предалъ учителя въ руки враговъ!

Петръ ударилъ себя кулакомъ въ грудь и горько заплакалъ:

— Куда же мнѣ идти? Господи! Куда же мнѣ идти!

Іуда давно уже, во время своихъ одинокихъ прогулокъ, намѣтилъ то мѣсто, гдѣ онъ убьетъ себя послѣ смерти Іисуса. Это было на горѣ, высоко надъ Іерусалимомъ, и стояло тамъ только одно дерево, кривое, измученное вѣтромъ, рвущимъ его со всѣхъ сторонъ, полузасохшее. Одну изъ своихъ обломанныхъ кривыхъ вѣтвей оно протянуло къ Іерусалиму, какъ бы благословляя его или чѣмъ-то угрожая, и ее избралъ Іуда для того, чтобы сдѣлать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень усталъ Іуда изъ Каріота. Все тѣ же маленькіе острые камешки разсыпались у него подъ ногами, и точно тянули его назадъ, а гора была высока, обвѣяна вѣтромъ, угрюма и зла. И уже нѣсколько разъ присаживался Іуда отдохнуть, и дышалъ тяжело, а сзади, сквозь разсѣлины камней, холодомъ дышала въ его спину гора.

— Ты еще, проклятая!—говорилъ Іуда презрительно, и дышалъ тяжело, покачивая тяжелой головою, въ которой всѣ мысли теперь окаменѣли. Потомъ вдругъ поднималъ ее, широко раскрывалъ застывшіе глаза и гнѣвно бормоталъ:

— Нѣтъ, они слишкомъ плохи для Іуды. Ты слышишь, Іисусъ? Теперь Ты мнѣ повѣришь? Я иду къ Тебѣ. Встрѣть меня ласково, я усталъ. Я очень усталъ. Потомъ мы вмѣстѣ съ Тобою, обнявшись, какъ братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качалъ каменѣющей головою и опять широко раскрывалъ глаза, бормоча:

— Но можетъ быть Ты и тамъ будешь сердиться на Іуду изъ Каріота? И не повѣришь? И въ адъ меня пошлешь? Ну, что же! Я пойду въ адъ. И на огнѣ Твоего ада я буду ковать желѣзо, ковать желѣзо, и разрушу Твое небо. Хорошо? Тогда Ты повѣришь мнѣ? Тогда пойдешь со мною назадъ на землю, Іисусъ?

Наконецъ, добрался Іуда до вершины и до кривого дерева, и тутъ сталъ мучить его вѣтеръ. Но когда Іуда выбранилъ его, то началъ пѣть мягко и тихо,—улеталъ куда-то вѣтеръ и прощался.

— Хорошо, хорошо! А они—собаки!—отвѣтилъ ему Іуда, дѣлая петлю. И такъ какъ веревка могла обмануть его и оборваться, то повѣсилъ онъ ее надъ обрывомъ—если оборвется, то все равно на камняхъ найдетъ онъ смерть. И передъ тѣмъ, какъ оттолкнуться ногою отъ края и повиснуть, Іуда изъ Каріота еще разъ заботливо предупредилъ Іисуса:

— Такъ встрѣть же меня ласково, я очень усталъ, Іисусъ.

И прыгнулъ. Веревка натянулась, но выдержала; шея Іуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, какъ мокрыя. Умеръ. Такъ въ два дня, одинъ за другимъ, оставили землю Іисусъ Назорей и Іуда изъ Каріота, Предатель.

Всю ночь, какъ какой-то чудовищный плодъ, качался Іуда надъ Іерусалимомъ; и вѣтеръ поворачивалъ его то къ городу лицомъ, то къ пустынѣ—точно и городу и пустынѣ хотѣлъ онъ показать Іуду. Но куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо —

красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, какъ братья, неотступно смотрѣли въ небо. А на утро кто-то зоркій увидѣлъ надъ городомъ висящаго Іуду и закричалъ въ испугѣ. Пришли люди и сняли его и, узнавъ, кто это, бросили его въ глухой оврагъ, куда бросали дохлыхъ лошадей, кошекъ и другую падаль.

И въ тотъ вечеръ уже всѣ вѣрующіе узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узналъ о ней весь Іерусалимъ. Узнала о ней каменистая Іудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетѣла вѣсть о смерти Предателя. Ни быстрѣе, ни тише, но вмѣстѣ съ временемъ шла она, и какъ нѣтъ конца у времени, такъ не будетъ конца разсказамъ о предательствѣ Іуды и страшной смерти его. И всѣ—добрые и злые—одинаково предадутъ проклятію позорную память его; и у всѣхъ народовъ, какіе были, какіе есть, останется онъ одинокимъ въ жестокой участи своей—Іуда изъ Каріота, Предатель.

24 февраля 1907 г.

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 1 марта 1907 г. Цѣна.

Сборникъ т-ва «Знаніе»: Книги I—XV . . . . . по 1 р. — к.
„Нижегородскій сборникъ“ . . . . . 1 » — »
М. Горькій. Разсказы и Пьесы. Томы I—VII . . . . . по 1 » — »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 акт. *Только въ перепл.* . . 1 » — »
М. Горькій. На днѣ. Картины . . . . . — » 60 »
Л. Андреевъ. Разсказы и Пьесы. Томы I—IV . . . . . по 1 » — »
Скиталецъ. Разсказы и Пѣсни. Томы I—II . . . . . по 1 » — »
Е. Чириковъ. Разсказы и Пьесы. Томы I—VII . . . . . по 1 » — »
Ив. Бунинъ. Разсказы и Стихотворенія. Томы I—III. . . . по 1 » — »
Н. Телешовъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 » — »
А. Серафимовичъ. Разсказы. Томы I—II . . . . . по 1 » — »
А. Купринъ. Разсказы. Томы I—II . . . . . по 1 » — »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томы I—IV . . . . . по 1 » — »
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томы I—II. . . . . по 1 » — »
Н. Гаринъ. Дѣтство Тёмы . . . . . 1 » — »
Н. Гаринъ. Гимназисты. . . . . 1 » — »
Н. Гаринъ. Студенты. . . . . 1 » — »
Н. Гаринъ. По Кореѣ, Манчьжуріи и Ляод. полуострову . . 1 » — »
Н. Гаринъ. Корейскія сказки. . . . . — » 60 »
А. Яблоновскій. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 » — »
С. Елеонскій. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 » — »
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томы I—III . . . . . по 1 » — »
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I . . . . . 1 » — »
Д. Айзманъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 » — »
Эсхилъ. Скованный Прометей . . . . . — » 30 »
Софоклъ. Эдипъ-царь. . . . . — » 40 »
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ . . . . . — » 40 »
Софоклъ. Антигона. . . . . — » 40 »
Эврипидъ. Медея. . . . . — » 40 »
Эврипидъ. Ипполитъ . . . . . — » 40 »
Гёте. Фаустъ. . . . . 2 » — »
Байронъ. Манфредъ . . . . . — » 40 »
Шелли. Собраніе сочиненій. Томы I—III . . . . . по 2 » — »
Шелли. Освобожденный Прометей . . . . . — » 50 »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд. . . . . 2 » — »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Дешевое изданіе . . . . . — » 80 »
Т. Шевченко. Кобзарь . . . . . 1 » — »
Красинскій. Иридіонъ . . . . . — » 60 »
Имре-Мадачъ. Человѣческая трагедія . . . . . — » 50 »
Гауптманъ. Роза Берндтъ . . . . . — » 50 »
Бьернсонъ. Перчатка . . . . . — » 40 »
Э. Золя. Углекопы Изд. *3-е* . . . . . 1 » — »
Эркманъ-Шатріанъ. Гаспаръ Фиксъ . . . . . — » 65 »
П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи. Изд. *2-е* . 1 » 50 »
А. Петрищевъ. Замѣтки учителя. . . . . 1 » — »
Мертваго. Не по торному пути . . . . . 1 » 50 »
Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы. . . . . 1 » 20 »
Штёррингъ. Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи . 1 » 50 »

Списокъ отъ 1 марта 1907 г. Цѣна.

Куно Фишеръ. Исторія новой философіи. Т. IV: Кантъ. Ч. 1-я . 4 р. — к.
Куно Фишеръ. » » » Т. V: Кантъ. Ч. 2-я . 3 » 50 »
Гюйо. Исторія и критика совр. англ. ученій о нравственности. 2 » — »
Гюйо. Происхожденіе идеи о времени. Мораль Эпикура . . 2 » — »
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали . . . . 2 » — »
Гюйо. Воспитаніе и наслѣдственность. . . . . 1 » 50 »
Гюйо. Искусство съ соціологической точки зрѣнія . . . . . 2 » — »
Гюйо. Стихи философа. . . . . 1 » — »
Мутеръ. Исторія живописи (отъ среднихъ вѣковъ). Т. I—II. по 2 » 50 »
Мутеръ. » » » Т. III. . . 2 » — »
Мутеръ. Исторія живописи въ XIX вѣкѣ. Въ 4-хъ томахъ . 17 » — »
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. *3-е. Распродано* . . . 2 » — »
Клейнъ. Прошлое, настоящ. и будущ. вселенной. *Распродано.* 1 » 50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. *2-е. Распродано.* . . . . . 1 » 50 »
Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста . . . . . 2 » — »
Тиндаль. Звукъ. Изд. *второе* . . . . . 1 » 50 »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища . . . . . 1 » 20 »
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. *3-е.* . . . . . — » 80 »
Майръ. Статистика и обществовѣдѣніе. 2 тома. . . . . 6 » — »
Леклеркъ. Воспитаніе и общество въ Англіи . . . . . 3 » — »
Левассеръ. Народн. образов. въ цивилизованныхъ странахъ. 3 » — »
Фальборкъ и Чарнолускій. Народное образованіе въ Россіи. 1 » 50 »
» » Настольная книга по народ. образ. 3 т. . 8 » — »
» » Внѣ-школьное образованіе. . . . . 2 » — »
» » Учительскія семинаріи. . . . . 2 » — »
» » Испытанія на званія учит. и 1 кл. чинъ 1 » 20 »
Фальборкъ и Чарнолускій. Справочныя изданія по народному образованію. *Поступило въ продажу 20 книжекъ* . . — » — »
В. Чарнолускій. Итоги обществ. мысли въ обл. нар. образ. . — » 50 »
Сеньобосъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. *Печат.* 4 » — »
Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи . . . . . 1 » 20 »
Инсаровъ. Современная Франція . . . . . 2 » 50 »
Куртн. Исторія народн. законодат. и демократіи въ Швейцаріи. 1 » — »
Л. Новгородцевъ. Германія и ея политическая жизнь. . . . 1 » 20 »
Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ . . . . . 1 » 50 »
Люксембургъ. Промышленное развитіе Польши . . . . . — » 50 »
Финляндія . . . . . 3 » 50 »
Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйствѣ. 1 » 50 »
Гобсонъ. Общественные идеалы Дж. Рёскина . . . . . 1 » 50 »
Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни. . . . . 1 » 20 »
Штраусъ. Вольтеръ . . . . . 1 » — »
П. Кропоткинъ. Записки революціонера . . . . . 1 » — »
П. Кропоткинъ. Въ русскихъ и французскихъ тюрьмахъ . . 1 » — »
П. Кропоткинъ. Идеалы и дѣйствительность въ Русской Литературѣ . . . . . 1 » — »
Дешевая библіотека беллетристическая. (*Особый списокъ*) . . — » — »
Дешевая библіотека по общественнымъ вопросамъ (*Особый списокъ*) . . . . . — » — »

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“.

М. Горькій:

1. Пѣсня о соколѣ . . . . . 2 к.
2. Человѣкъ . . . . . 2 »
3. Макаръ Чудра. . . . . 3 »
4. О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины . 2 »
5. Емельянъ Пиляй. . . . . 3 »
6. Дѣдъ Архипъ и Ленька . . 5 »
7. Челкашъ . . . . . 7 »
8. Старуха Изергиль . . . . . 5 »
9. Однажды осенью. . . . . 3 »
10. Мой спутникъ. . . . . 6 »
11. Дѣло съ застежками . . . 3 »
12. На плотахъ . . . . . 3 »
13. Болесь . . . . . 2 »
14. Тоска. . . . . 10 »
15. Коноваловъ . . . . . 10 »
16. Ханъ и его сынъ . . . . . 2 »
17. Супруги Орловы . . . . . 12 »
18. Бывшіе люди . . . . . 12 »
19. Озорникъ. . . . . 5 »
20. Варенька Олесова . . . . . — »
21. Товарищи. . . . . 4 »
22. Въ степи . . . . . 3 »
23. Мальва . . . . . 10 »
24. Ярмарка въ Голтвѣ. . . . . 3 »
25. Зазубрина. . . . . 3 »
26. Скуки ради . . . . . 5 »
27. Каинъ и Артемъ. . . . . 6 »
28. Дружки. . . . . 4 »
29. Проходимецъ. . . . . 7 »
30. Кирилка . . . . . 3 »
31. Васька Красный . . . . . 5 »
32. Двадцать шесть и одна . . 5 »
33. Разсказъ Филиппа Васильев. 5 »
34. Тюрьма . . . . . 8 »

Скиталецъ:

41. Стихотворенія Книга I. . . 5 »
42. Стихотворенія Книга II. . . 6 »
43. Сквозь строй . . . . . 12 »
44. За тюремной стѣной . . . . 5 »
45. Октава. . . . . 12 »
46. Ранняя обѣдня . . . . . 3 »
47. Полевой судъ . . . . . 5 »

Л. Андреевъ:

51. Набатъ . . . . . 2 »
52. Ангелочекъ . . . . . 3 »
53. Молчаніе . . . . . 3 »
54. Валя. . . . . 3 »
55. На рѣкѣ . . . . . 4 »
56. Въ подвалѣ . . . . . 3 »
57. Петька на дачѣ. . . . . 3 »
58. У окна. . . . . 5 »
59. Жили-были . . . . . 5 »
60. Въ темную даль . . . . . 4 »

С. Гусевъ-Оренбургскій:

61. Ометъ . . . . . 8 к.
62. Конокрадъ. . . . . 2 »
63. Миша. . . . . 2 »
64. Послѣдній часъ . . . . . 6 »
65. На родину . . . . . 4 »
66. Сквозь преграды . . . . . 2 »
67. Кахетинка. . . . . 3 »
68. Бѣдный приходъ. . . . . 2 »
69. Злой духъ. . . . . 4 »
70. Жалоба . . . . . 5 »

А. Серафимовичъ:

71. Въ камышахъ . . . . . 3 »
72. Месть. . . . . 4 »
73. На льдинѣ . . . . . 4 »
74. Степные люди . . . . . 5 »
75. Ночью . . . . . 3 »
76. Сцѣпщикъ. . . . . 3 »
77. На заводѣ . . . . . 5 »
78. Подъ землей. . . . . 6 »
79. Подъ уклонъ. . . . . 3 »

А. Купринъ:

81. Дознаніе . . . . . 3 »

Н. Телешовъ:

82. Пѣснь о трехъ юношахъ. . 3 »
83. Противъ обычая . . . . . 3 »
84. Домой. . . . . 3 »
85. Хлѣбъ-соль . . . . . 3 »

С. Елпатьевскій:

86. Спирька. . . . . 8 »
87. Пожалѣй меня. . . . . 2 »
88. Присяжнымъ засѣдателемъ . 3 »

Ив. Бунинъ:

89. Стихотворенія. . . . . 4 »

К. Бальмонтъ:

90. Стихотворенія. . . . . 3 »

С. Юшкевичъ:

91. Невинные. . . . . 4 »
92. Убійца . . . . . 3 »
93. Кабатчикъ Гейманъ. . . . . 7 »
94. Ита Гайне. . . . . —
95. Человѣкъ . . . . . 30 »
96. Евреи. . . . . 30 »

А. Черемновъ:

98. Стихотворенія. Книга I . . . —
99. Стихотворенія. Книга II. . . —

Е. Чириковъ:

100. Евреи. . . . . 12 »

С. Гусевъ-Оренбургскій:

111. Въ приходѣ. 1

201. **Марксъ и Энгельсъ.** Коммунистическій манифестъ 12
202. **Каутскій.** Эрфуртск. программа —
203. **Бебель.** Женщина и соціализмъ —
204. **Бебель.** Интеллиг. и соціализмъ. 5
205. **Бебель.** Постоянн. армія и народная милиція 15
206. **Каутскій.** Индивид., классовые и общественные интересы... —
207. **Г. Роландъ-Гольстъ.** Всеобщая стачка и соціалъ-демократія. 70
208. **Вандервельде.** Промышленное развитіе и коллективизмъ . 30
209. **Жюль Гедъ.** Общественная служба и соціализмъ 5
210. **Марксъ.** Къ еврейскому вопросу 10
211. **Бебель.** Профессіон. движеніе и политическія партіи. . . . 5
212. **Каутскій.** Нейтрализація профессіональныхъ союзовъ. . . . 10
213. **Штернъ.** Государство будущаго. 8
214. **Паннекэкъ.** Соціализмъ и религія. 5
215. **Атлантикусъ.** Государство будущаго 35
216. **Каутскій.** Революціонныя перспективы . . . . . —
217. **Чикотти.** Психологія соціалистическаго движенія 30
218. **Каутскій и Шёнланкъ.** Основные принципы и требованія соціалъ-демократіи 15
219. **Э. Ферри.** Развитіе экономическое и соціальное 6
220. **Ф. Мерингъ.** Теорія и практика марксизма. . . . . —
221. **П. Лафаргъ и Ж. Гедъ.** Программа рабочей партіи 15
222. **Ф. Энгельсъ.** Теорія научнаго соціализма (Anti-Düring) . . —
231. **Фаньо.** Профессіональное рабочее движеніе въ Англіи . . 12
232. **Г. Фюртъ.** Фабричный трудъ замужней женщины. . . . . —
233. **Кампфмейеръ.** Проституція, какъ общественно-классовое явленіе, и борьба съ нею . . . 20
234. **Энгельсъ.** Къ жилищн. вопросу —
235. **Каутскій.** Американскій и русскій рабочій 15
236. **Смайлз.** Куда ведетъ экономическое развитіе 12
237. **Бакъ и Квелчъ.** Новый катехизисъ соціализма 12
238. **Ванъ-Коль.** Колоніальная политика и соціалъ-демократія . 5
261. **Лафаргъ.** Аграрная программа. 5
262. **Каутскій.** Соціализмъ и сельское хозяйство 15
263. **Кржижановскій.** Аграрный вопросъ. 70
271. **Энгельсъ.** Статьи. 12
272. **Марксъ.** Либералы у власти . 8
273. Марксъ передъ судомъ присяжныхъ 10
274. **Лиссагарэ.** Исторія парижской коммуны 70
275. **Г. Іэнкъ.** Интернаціоналъ . . . 80
276. Взятіе Бастиліи (по Мармонтелю) —
277. Начало нѣмецкой соціалъ-демократіи. 20
278. **Каутскій.** Карлъ Марксъ . . . 5
279. Икарійцы въ Америкѣ. . . . 10
280. **Тюрлэнъ.** Популярная исторія парижской коммуны 1871 г. 12
286. **Бебель.** Фурье и его ученіе. . 50
287. **Каутскій.** Этика и экономическое пониманіе исторіи. 20
288. **Мерингъ.** Легенда о Лессингѣ . 80
301. **Ольминскій.** Свобода печати. . 12
302. **Ольминскій.** Права Государственной Думы. 5
303. **С. Михайловичъ.** Что такое рабочая партія. 3
304. **Клейнбортъ.** О партіяхъ и партійности. 5
305. **Финнъ.** Къ аграрному вопросу. —
306. **Сомовъ.** Справедливый налогъ. 12
307. **Сомовъ.** Нужна ли постоянная армія . . . . . —
308. **Рейснеръ.** О царской власти . —
309. **Клейнбортъ.** Русскій имперіализмъ въ Азіи. 8
310. **Клейнбортъ.** Капитализмъ и еврейскій вопросъ 8
311. **Степановъ.** Издалека . . . . . —
312. **Гуревичъ.** Радикальная буржуазія и профессіональные союзы —
313. **Клейнбортъ.** Проекты подоходнаго налога 10

Книги, при которыхъ поставлена цѣна, поступили въ продажу.

П. Кропоткинъ. ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦІОНЕРА.

Единственное изданіе, разрѣшенное для Россіи авторомъ, пересмотрѣнное и дополненное имъ. **Цѣна 1 рубль.**

П. Кропоткинъ. Въ русскихъ и французскихъ тюрьмахъ.

Единственное изданіе, разрѣшенное авторомъ. **Цѣна 1 рубль.**

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

СБОРНИКЪ ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“

Книга I:—Л. Андреевъ. Жизнь Василя Фивейскаго. — Ив. Бунинъ. Стихотворенія. Черноземъ.—В. Вересаевъ. Передъ завѣсой. —Н. Гаринъ. Деревенская драма.—М. Горькій. Человѣкъ.—С. Гусевъ-Оренбургскій. Въ приходѣ.—А. Серафимовичъ. Въ пути. —Н. Телешовъ. Между двухъ береговъ.— *Цѣна 1 руб.*

Книга II:—А. Купринъ. Мирное житіе. —Скиталецъ. Стихотворенія.—А. Чеховъ. Вишневый садъ.—Е. Чириковъ. На порукахъ. —С. Юшкевичъ. Евреи.— *Цѣна 1 руб.*

Книга III:—Л. Андреевъ. Красный смѣхъ. —И в. Бунинъ. Памяти Чехова.—М. Горькій. Дачники.—А. Купринъ. Памяти Чехова.—Скиталецъ. Памяти Чехова.— *Цѣна 1 руб.*

Книга IV:—М. Горькій. Тюрьма. — С. Гусевъ-Оренбургскій. Страна отцовъ.—А. Лукьяновъ. Кузнецъ.—С. Найденовъ. Авдотьина жизнь.—*Цѣна 1 руб.*

Книга V:—Д. Айзманъ. Ледоходъ.— Л. Андреевъ. Воръ.—М. Горькій. Разсказъ Филиппа Васильевича.—Н. Телешовъ. Черною ночью.—А. Серафимовичъ. Заяцъ.—Скиталецъ. Кандалы.—Е. Чириковъ. Иванъ Миронычъ.— *Цѣна 1 руб.*

Книга VI:—Ив. Бунинъ. Стихотворенія. —М. Горькій. Букоемовъ, Карпъ Ивановичъ.—А. Купринъ. Поединокъ.—Скиталецъ. Стихотворенія.— *Цѣна 1 руб.*

Книга VII:—Ив. Бунинъ. Востокъ.— М. Горькій. Дѣти солнца.—Г. Даниловскій. На островѣ.—А. Кипенъ. Бирючій островъ.—Ив. Рукавишниковъ. Стихотвореніе.—Скиталецъ. Полевой судъ.— *Цѣна 1 руб.*

Книга VIII:—А. Лукьяновъ. Мечъ враговъ.—Маріо Раписарди. Рудокопы. —Ив. Рукавишниковъ. Три знамени. —Е. Чириковъ. Мужики.—Скиталецъ. Лѣсъ разгорался.—С. Юшкевичъ. Голодъ.— *Цѣна 1 руб.*

Книга IX:—Ив. Бунинъ. Стихотворенія. М. Горькій. Варвары.—Н. Телешовъ. Надзиратель. -А. Серафимовичъ. Среди ночи. Похоронный маршъ.—Л. Сулержицкій. Путь.—Скиталецъ. Стихотворенія.— *Цѣна 1 руб.*

Книга X:—Л. Андреевъ Къ звѣздамъ. —Э. Верхарнъ. Возстаніе.—А. Лукьяновъ. Слѣпцы и безумцы.—Луиджи Меркантини. Гимнъ гарибальдійцевъ.— А. Серафимовичъ. На Прѣснѣ.—Скиталецъ. Огарки.— *Цѣна 1 руб.*

Книга XI:—Л. Андреевъ. Савва.— Э. Верхарнъ. Зори.—М. Горькій. Городъ Желтаго Дьявола.—А. Кипенъ. Въ октябрѣ.— *Цѣна 1 руб.*

Книга XII:—Э. Верхарнъ. Въ деревнѣ.—М. Горькій. Царство скуки. «Мобъ». Чарли Мэнъ.—М. Новорусскій. Въ Шлиссельбургѣ.—Зиновій Пэ. Домъ.—А. Серафимовичъ. Въ семьѣ.—Скиталецъ. Стихотвореніе.—Е. Тарасовъ. Стихотворенія.—Уольтъ Уитманъ. Громче ударь барабанъ.—Е. Чириковъ. Въ тюрьмѣ.— С. Юшкевичъ. Въ городѣ.—*Цѣна 1 р.*

Книга XIII:—М. Горькій. Король, который высоко держитъ свое знамя. Прекрасная Франція. Одинъ изъ королей республики. Товарищъ.—Уольтъ Уитманъ. Стихотворенія.—Г. Эрастовъ. Отступленіе.— *Цѣна 1 руб.*

Книга XIV:—Ив. Бунинъ. Стихотворенія.—М. Горькій. Враги.—Е. Тарасовъ. Черный судъ.—А. Теннисонъ Годива.—В. Фигнеръ. Моя няня.—С. Юшкевичъ. Король.— *Цѣна 1 руб.*

Книга XV:—Ив. Бунинъ. Стихотворенія.—М. Горькій. Жрецъ морали.—С. Найденовъ. Стѣны.—А. Серафимовичъ. Онъ пришелъ.—Скиталецъ. На Волгѣ.— Н. Телешовъ. Крамола.—Е. Чириковъ. Легенда стараго замка.— *Цѣна 1 руб.*

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

Новое трехтомное переработанное изданіе.

Вышелъ **ТОМЪ ПЕРВЫЙ.** *Содержаніе:*

1. Лирика: 186 стихотвореній.
2. Царица Мабъ. Поэма.
3. Примѣчанія Шелли къ «Царицѣ Мабъ».
4. Демонъ міра. Поэма.
5. Аласторъ. Поэма.

Геліогравюра Дюжардена, изображающая Шелли.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ **ТОМЪ ВТОРОЙ.** *Содержаніе:*

1. Возмущеніе Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма.
2. Царевичъ Атанизъ. Отрывокъ.
3. Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.
4. Розалинда и Елена. Современная эклога.
5. Юліанъ и Маддало. Бесѣда.
6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
7. Ченчи. Трагедія.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ **ТОМЪ ТРЕТІЙ.** *Содержаніе:*

1. Маскарадъ анархіи. Поэма.
2. Письмо къ Маріи Джисборнъ. Въ стихахъ.
3. Волшебница Атласа. Поэма.
4. Эпипсихидіонъ. Поэма.
5. Адонаисъ. Элегія.
6. Элладa. Лирическая драма.
7. Отрывки неоконченной драмы.
8. Карлъ Первый. Драматическіе отрывки.
9. Торжество жизни. Поэма.
10. Ассассины. Отрывокъ изъ романа.
11. Колизей.
12. О любви.
13. Размышленія о метафизикѣ
14. Размышленія о морали.
15. О будущемъ состояніи.
16. О литературѣ, искусствахъ и нравахъ аѳинянъ.
17. Объ одномъ мѣстѣ въ Критонѣ.
18. Критическія замѣчанія о скульптурѣ флорентинской галлереи.
19. Арка Тита.
20. О возрожденіи литературы.
21. О смертной казни.
22. О жизни.
23. Въ защиту поэзіи.

— Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

— Къ третьему тому приложена статья «*Эдуардъ Даудэнъ*. Очеркъ жизни Шелли».

Цѣна 2 р.

Съ выходомъ третьяго тома изданіе закончено.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спб., Невскій, 92.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

П. Кропоткинъ

I. ТОМЪ ПЕРВЫЙ:

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦІОНЕРА.

Съ предисловіемъ *Георга Брандеса*. Съ англійскаго. Переводъ *Діонео* подъ редакціей *автора*. *Цѣна 1 р.*

Единственное изданіе, разрѣшенное для Россіи авторомъ, пересмотрѣнное и дополненное имъ.

IV. ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ:

ВЪ РУССКИХЪ И ФРАНЦУЗСКИХЪ ТЮРЬМАХЪ.

Съ англійскаго. Переводъ *В. Батуринскаго* подъ редакціей *автора*. *Цѣна 1 р.*

Единственное изданіе, разрѣшенное для Россіи авторомъ. пересмотрѣнное и дополненное имъ.

V. ТОМЪ ПЯТЫЙ:

ИДЕАЛЫ и ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Съ англійскаго. Переводъ *В. Батуринскаго* подъ редакціей *автора*. *Цѣна 1 р.*

Единственное изданіе, разрѣшенное для Россіи авторомъ, пересмотрѣнное и дополненное имъ.

ТОМЫ II, III, VI и VII *печатаются.*

Исключительное право выпустить эти томы въ Россіи пріобрѣтено у автора т-вомъ «ЗНАНІЕ». Всѣ другія ихъ изданія, о которыхъ объявлялось въ газетахъ, предприняты *безъ* разрѣшенія автора.

---

*Лица, выписывающія книги изъ склада т-ва „Знаніе“ (С.-Петербургъ, Невскій, 92), **за пересылку не платятъ.***

*Книги **дешевой библіотеки** высылаются безплатно **только при заказѣ на сумму не менѣе одного рубля.***

Послѣднія изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

СБОРНИКЪ Т-ВА „ЗНАНІЕ“. Книга XV:—С. Найденовъ. Стѣны.—А. Серафимовичъ. Онъ пришелъ.—Скиталецъ. На Волгѣ.—Н. Телешовъ. Крамола.—Ив. Бунинъ. Стихотворенія.—М. Горькій. Жрецъ морали. — Е. Чириковъ. Легенда стараго замка. — *Цѣна 1 руб.*

ШЕЛЛИ. Собраніе сочиненій III т.—Маскарадъ анархіи.—Письмо къ Маріи Джисборнъ. – Волшебница Атласа. — Эпипсихидіонъ. — Адонаисъ.—Эллада.—Отрывки неоконченной драмы.—Карлъ Первый.—Торжество жизни.—Повѣствовательные отрывки.—Статьи.—Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта. Съ приложеніемъ статьи „*Эдуардъ Даудэнъ*. Очеркъ жизни Шелли“.—*Цѣна 2 руб.*

П. КРОПОТКИНЪ. Идеалы и дѣйствительность въ Русской Литературѣ. Съ англійскаго. Переводъ *В. Бутурлинскаго* подъ редекціей *автора. Единственное изданіе, разрѣшенное для Россіи авторомъ пересмотрѣнное и исправленное имъ. Цѣна 1 руб.*

С. ГУСЕВЪ-ОРЕНБУРГСКІЙ. Разсказы. II т.—Страна отцовъ.—Илья.—Въ приходѣ.—*Цѣна 1 руб.*

М. ГОРЬКІЙ. Пьесы. VII т.—Дачники.—Дѣти солнца.—*Цѣна 1 руб.*

Е. ЧИРИКОВЪ. Разсказы. VI т.—Мятежники.—Тайна.—На антресоляхъ.—Романъ въ клѣткѣ.—Испортилась.—Коля и Колька.—Маленькій грѣшникъ.—Миражъ.—Единица.—Баринъ.—Въ сугробахъ.—Недородъ.—Собственность.—*Цѣна 1 руб.*

Е. ЧИРИКОВЪ. Пьесы. VII т.—Иванъ Мироничъ.—Мужики.—Красные огни.—*Цѣна 1 руб.*

СКИТАЛЕЦЪ. Разсказы и Пѣсни. II т.— Огарки.—Атаманъ. — Въ дорогѣ.—Кандалы.—Полевой судъ.—Лѣсъ разгорался.—Пѣсни.— *Цѣна 1 р.*

СЕМЕНЪ ЮШКЕВИЧЪ. Очерки дѣтства. IV т.—Гора.—Плѣнница изъ бѣлаго домика.—Злой мельникъ.—Кто-то на скалѣ.—Странный мальчикъ.—Поѣздка на Волнорѣзъ.—Новые друзья.—Тревоги души.—Саша.—Красный монахъ.—Осень.—Сумерки.—*Цѣна 1 руб.*

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. Разсказы. II т.—Лихорадка. — Заяцъ. — На берегу.—Въ пути.—Среди ночи.—Похоронный маршъ.—На Преснѣ.—Мать.—Въ баракѣ.—Дома.—Епишка.—Наденька.—Случай.—Вечеринка.—Сережа.—Въ семьѣ.—*Цѣна 1 руб.*

Т. Г. ШЕВЧЕНКО. Кобзарь. Въ переводѣ на русскій языкъ. Съ портретомъ и біографіей автора.—*Цѣна 1 руб.*

В. ЧАРНОЛУСКІЙ. Итоги обществ. мысли въ области народнаго образованія.—*Цѣна 50 к.*